



А. Яцевич



ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ



А. Яцевич

ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

А. Яцевич

ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЕТРОПОЛЬ

1993

Научный редактор *Владимир* *ШУБИН*

Редактор *Алла* *БЕЛЯКОВА*

Оформление *Леонида* *ЯЦЕНКО*

В книге использованы иллюстрации
к изданиям 1931 и 1935 годов
А. ОБЕРМИЛЛЕРА и И. ВАУЛИНА

ISBN 5-88569-066-X

© Н. Попова, В. Шубин, послесловие, примечания, 1993

© Л. Яценко оформление, 1993

ОТ АВТОРА

Тот век прошел и люди те прошли.

Лермонтов

«У каждого здания, — сказал Франс, — своя история, каждое несет через столетия рассказ о жизни своих обитателей и о происшествиях того времени. В них стиль, вкус и характер эпохи дней прошлого». О чем же говорят нам эти безмолвные свидетели минувшего?

Александровское время и первое десятилетие царствования Николая — это эпоха расцвета петербургского строительства. Волею самодержавных властителей творчество великих художников призвано было служить идее прославления монархии. Не только величественная арка Главного Штаба, Адмиралтейство и Сенат должны были являться памятниками могущественной империи. Стасов строит прекрасные Павловские казармы для забитых шпицрутенами солдат, а Шарлемань отделывает для несчастных узников грандиозный Литовский замок. «Самодержавные цари, — сказал современник, — любят оставлять потомству огромные памятники своего царствования; и замечательно, что чем более народ был угнетен, унижен, тем выше они воздвигались».

Но не для одного зодчества начало XIX столетия является золотым веком. Это была также эпоха расцвета русской литературы, и целый ряд великих людей нашел себе тогда приют в Петербурге.

Тут на Мойке умирал Пушкин. В этом небольшом доме на Торговой Грибоедов переписывал свое «Горе от ума». Здесь в стенах и поныне стоящего дома на Морской горьким смехом своим смеялся Гоголь. Тут у Синего моста последнюю ночь пред арестом провел Рылеев. В обветшавшем ныне доме на Гагаринской улице прощался с Петербургом Лермонтов.

Но к сороковым годам ни одного из них уже не было в Петербурге. Эти годы знаменуют собой также конец эпохи расцвета архитектуры. Кваренги, Захаров и Росси не находят себе последователей. Петербург вступает в новый период своей истории.

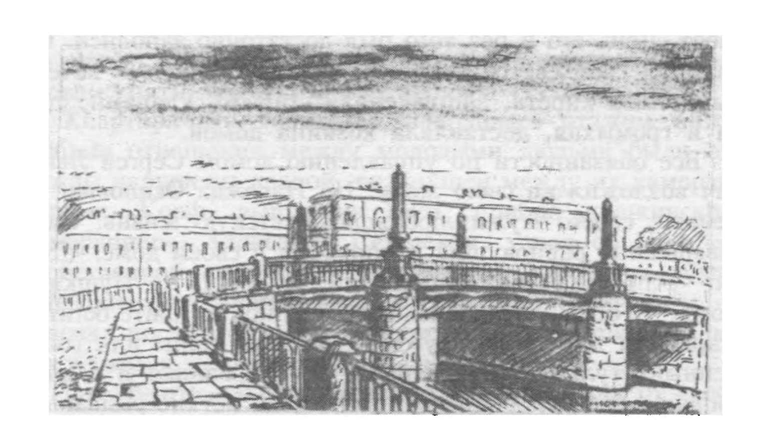
Ряд выдающихся памятников Петербурга, его дворцы, соборы и замки, давно нашли себе историков. Но есть еще множество интересных домов, связанных с именами великих людей, их современниками и событиями той эпохи. Они не нашли себе еще исследователя, и настоящая работа является первой попыткой этого рода.

При ее составлении автор пользовался рядом планов, атласов, табелей, указателей и справочников города. Однако для настоящей книги этот материал оказался недостаточен. В основу работы положены весьма ценные документы бывшего архива Петербургской городской управы, систематически до сего времени никем не исследованные и дополняющие историю застройки города новыми данными. Чтобы не перегружать текста книги излишними ссылками, автор не делает указаний ни на архивный, ни на справочный и плановый материал. Все же остальные источники особо оговорены в примечаниях.

Считаю своим долгом выразить искреннюю признательность К. А. Костенко за добрую помощь, оказанную мне при составлении настоящей работы. Вместе с тем должен поблагодарить П. Н. Столпянского за несколько ценных указаний и А. А. Савельева так же, как и весь нынешний состав сотрудников Центрального архива Лен. отдела ком. хозяйства, за содействие работе в архиве. Не могу также не указать на большую помощь, оказанную мне А. И. Колотушкиным при печатании этой книги.

Наконец, полагаю необходимым отметить ряд оригинальных рисунков с натуры члена Общества И. И. Ваулина, зарисовавшего по поручению Общества, ряд зданий города, в большинстве своем, совершенно неизвестных и воспроизводящихся в печати впервые.

[1931]



Глава первая

У Покрова колокол ударил шесть раз. Старик фонарщик приставил лестницу к мостовым фонарям и потушил лампы. Петербург просыпался. Степенный дворецкий повел молодого конюха в часть «наказывать». Барин был нервический и не выносил на дворе криков. Двое полицейских солдат провели сданного в рекруты дворового. За ними шли, причитая, три женщины. Старуха в рваном салопе вынула из платочка копейку и подала парню.

На набережной Фонтанки показались дрожки. Старая лошадь еле передвигала ноги. Извозчик остановился у небольшого каменного дома вице-адмирала Клокачева. Молодой человек в плаще и высокой шляпе легко соскочил с дрожек и исчез в воротах. Это был юный Пушкин, возвращавшийся домой с заседания «Зеленой Лампы». Здесь, в доме Клокачева, в старой Коломне, жили его родители.

Переехав в Петербург, отец поэта, Сергей Львович, окончательно устранился от каких-либо хозяйственных

забот. День его и без того был достаточно заполнен. Он начинал свои светские визиты с утра, и лишь к вечеру выцветшая карета, запряженная старыми клячами, стуча и громыхая, доставляла хозяина домой.

Все обязанности по управлению домом Сергей Львович возложил на свою жену. Но Надежда Осиповна, не меньше своего мужа любившая светскую жизнь, была совершенно равнодушна к порядкам в своем доме. «Дом их, — рассказывал лицейский товарищ А. Пушкина Корф, — всегда был наизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословной неопрятностью; ветхие рыдваны с тощими клячами и вечным недостатком во всем, начиная от денег до последнего стакана». Действительно, когда у Пушкиных обедало двое-трое посторонних, за посудой приходилось посылать к соседям. Парадные комнаты освещались канделябрами, а в комнате молодой Ольги Сергеевны горела сальная свеча, купленная на сбереженные ею деньги.

К сожалению, сохранилось немного сведений о жизни юного поэта в доме родителей на Фонтанке. Один из современников оставил следующее описание обстановки жизни Пушкина в доме Клокачева: «Мы взошли на лестницу; слуга отворил двери, и мы вступили в комнату П. У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате, с ермолкою на голове. Возле постели, на столе, лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого».

«Мой угол тесный и простой», — так назвал Александр Сергеевич в послании к Энгельгардту свою скромную комнатку в доме Клокачева. Много друзей перебывало у Пушкина в стенах этого дома. Но самыми частыми гостями здесь были, конечно, товарищи поэта

по лицею. Один из них, Модест Корф, прожил, по его словам, пять лет под одной кровлей с Пушкиным[1].

Квартира его родителей находилась этажом ниже. Добрые отношения между молодыми людьми были однажды нарушены дракой, возникшей между их камердинерами. Корф, выйдя на шум, прибил пушкинского камердинера. Александр Сергеевич, узнав об этом, со свойственной ему пылкостью вызвал Корфа на дуэль. «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы, — отвечал последний, — не потому что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер».

Горячность натуры юный поэт унаследовал от своей матери, урожденной Ганнибал. Надежда Осиповна была резка и нетерпима. В семье Ганнибал она привыкла к тому, что «людей выносили на простынях» в результате барского гнева. Надежда Осиповна не терпела «бородачей». Поэтому в доме Пушкиных прислуга носила только бакенбарды. Не допускалось также курение. Даже Сергей Львович до самой смерти жены курил украдкой. Среди слуг в доме выделялся безотлучный камердинер при особе Сергея Львовича красавец Гавриил Калашников. С его сестрой Ольгой Александр Сергеевич был близок. У нее был от него ребенок[2]. Тут же в клокачевском доме жила няня поэта Арина Родионовна, а также его дядька Никита Козлов, любитель литературы и поэт, пестовавший Александра Сергеевича с детства. Он оставался при нем в ссылке и после женитьбы. Он же проводил тело своего барина из Петербурга в Святогорский монастырь. Козлов в полном смысле слова не покидал его от колыбели до могилы.

Годы пребывания Пушкина в доме Клокачева связаны с периодом подъема в русской общественной жизни после испытаний 1812—1815 гг. Молодое поколение, приобщившись к либеральным идеям Запада, возвратилось из похода окрыленное мечтами о «свободе». Повсю-

ду с жаром обсуждались смелые проекты конституции и крестьянских реформ. В эту жизнь, заполненную свободолюбивыми беседами, театром, вином и любовью, окунулся только что вышедший из лицея Пушкин.

Здесь в клокачевском доме юный Пушкин дал волю своей музе, дерзновенные песни которой привлекли внимание властей. Над головой поэта повисли грозные тучи. Когда же он осмелился показать в театре портрет Лувеля, убийцы французского принца, с подписью «урок царям», Пушкин был отправлен в ссылку на юг. 6 мая 1820 г. он надолго простился с Петербургом. Лицейские друзья, Дельвиг и Яковлев, провожали его до Царского Села[3]. В этот день опустилась завеса над бурной юностью поэта.

Какова же история этого дома, в котором расправил крылья его гений? Дом Клокачева стоял в старой Коломне, где жили скромные ремесленники и торговцы[4]. Тут селились из-за дешевизны квартир и мелкопоместные дворяне, приезжавшие в столицу хлопотать по тяжебным делам, и бедные вдовы, привозившие в Петербург дочерей на выданье. В начале XIX века Коломна была одной из самых бедных частей города. «Здесь, — писал современник, — при свете сальной свечи, согнувшись, сидит трудолюбие; в тесной квартирке, обращенной во двор окнами, скрывается огромный талант; в бельэтажах здешних домов не бывает раутов; есть лавки, но нет магазинов; по улицам не только гуляют, но и ходят пешком; здесь встают, когда там еще спят, и ложатся спать, когда там только собираются к вечерним выездам».

Тут стояли небольшие деревянные домики кузнеца Димшукова, трубача Тячькина, унтера Шумарева. Единственной значительной постройкой был каменный дом генерал-майорши Игнатьевой (согласно сенатскому атласу 1798 г. участок этот значился тогда еще ведомства СПб полиции). Он вскоре перешел во владение ви-

це-адмирала Клокачева, архангельского генерал-губернатора.

Клокачевский дом стоял на правом берегу Фонтанки, в конце ее, у Калинкина моста; это был второй дом за нынешним небольшим Калинкиным переулком. Теперь это участок № 185 по Фонтанке. В то время это был трехэтажный дом (с очень низким первым этажом), в 10 окон, с небольшим садом в глубине двора. До нас дошли планы дома, и, насколько можно судить по ним, в квартире С. Л. Пушкина, довольно поместительной, было семь комнат, из них три на улицу; службы выходили во двор[5]. От прошлого в этом доме уцелели до нашего времени лишь интересные дворовые лестницы. В средней же, наиболее старой части дома, почти ничего не сохранилось от прежней отделки. Лишь во втором этаже, в двух комнатах уцелели от пушкинского времени карнизы. Но печи уже везде новые. Именно здесь, вероятно, и жили Пушкины, так как П. Бартенев указывает, что они занимал в клокачевском доме второй этаж[6]. Известно, что Пушкины жили над квартирою Корфа, то есть во втором или третьем этаже.

Владелец этого дома, адмирал Клокачев, принадлежал к старинной морской семье. Участник шведской войны, он прославился в 1798 г. спасением команды погибшего в Немецком море флагманского корабля «Принц Георг». Командир придворной флотилии при Александре I, он впоследствии занимал губернаторские должности и умер в 1823 г. в Вологде на посту генерал-губернатора[7]. «Лицо любопытное по его отношениям к императрице Марии Федоровне», жене Павла I, — сказал о Клокачеве П. Бартенев, отметивший, что после смерти адмирала экстренно командированный из Петербурга особый чиновник забрал, по распоряжению императрицы, все клокачевские бумаги. По свидетельству декабриста Фонвизина, «флотский капитан-командор» Клокачев был

участником убийства Павла I. В связи с этим при дворе естественно могли возникнуть опасения, что среди бумаг Клокачева находятся мемуары или дневники с нежелательными подробностями событий 11 марта 1801 г.

Свой дом в Петербурге Клокачев подарил племяннице, Александре Васильевне Путятиной. Ее муж, статский советник Михаил Петрович Путятин, был двоюродным братом Александра и Николая Тургеневых, живших в Петербурге в 1816 г. в доме Путятиных, в «Итальянской слободке»[8]. Возможно, что квартира в старой Коломне, на Фонтанке, где поселились по переезде из Москвы старики Пушкины, была им указана А. И. Тургеневым, состоявшим в ближайшем родстве с Путятиными и Клокачевыми[9].

Следующим владельцем этого дома был сенатор П. Д. Трофимов, увеличивший дом пристройками по фасаду: с правой стороны — в восемь окон, с левой — в три окна (внизу ворота). В 1856 г. сын сенатора, капитан Трофимов, в целях увеличения доходности, надстроил по всему фасаду четвертый этаж. В 70-х годах уничтожили старый сад. Когда же дом перешел во владение купца Урусова, последний совершенно перестроил его в 1903 г., надстроив пятый этаж и окончательно изменив внешний вид дома, превратил его в обычное, доходное строение. Клокачевский дом перестал существовать.

В этом же доме, связанном с именем Пушкина, жил также в 40-х годах, «почив от дел своих», архитектор Карло Росси[10].

Его мать, знаменитая танцовщица своего времени Гертруда Росси, пользовалась в Петербурге большой известностью. Отца своего он не знал[11]. Близость юного Росси к архитектору Бренне благотворно отразилась на его творчестве. Имя Росси быстро приобрело широкую известность. Это была эпоха расцвета грандиозного стро-

ительства. Российская крепостническая монархия стремилась создать в столице памятники, которые увенчали бы северную столицу ореолом славы в глазах всего мира. И Росси, «последний русский классик», в своих творениях воплотил в жизнь горделивые устремления русских «венценосцев» и их феодалов. Арка Главного Штаба, Александринский театр и Михайловский дворец являются достойными памятниками его высокого таланта.

Но несмотря на необычайную щедрость к нему Николая I, материальное положение Росси к концу его жизни оказалось крайне тяжелым. Продолжительная болезнь Росси и его жены поглотила все средства. В эту эпоху постоянных злоупотреблений при крупных постройках (известны неблаговидные поступки некоторых виднейших русских архитекторов) Росси, через руки которого прошло за период его зодчества свыше 60 миллионов руб., когда умерла его жена, не имел даже денег на ее похороны. Состарившийся, больной, огорченный интригами, вследствие которых были отклонены его новые проекты, Карло Росси вынужден был отойти от работы. За последние десять лет своей жизни он не построил ни одного здания. Он умер 6 апреля 1849 г. от холеры. Но ни одна газета того времени, за исключением краткой заметки о его смерти, не упомянула об этом замечательном художнике. Росси вовремя ушел с жизненной сцены. Позорная для империи Крымская война положила конец славе «непобедимой николаевской России». С нею умер и ее стиль.

Замечательна судьба клокачевского дома, служившего приютом двум величайшим представителям поэзии и архитектуры. С ним связано имя певца Петербурга. Пушкина, творца «Медного Всадника», «Пиковой Дамы» и «Онегина». С ним соединено также и имя великого зодчего, обогатившего северную столицу рядом своих прекрасных творений. Как различна была, однако,

жизнь двух великих людей в стенах этого скромного дома. Один жил тут на заре жизни, в ореоле нарождающейся славы. Другой познал здесь печаль заката жизни и забвения. Пушкин горделиво мечтал тут о будущем, Росси здесь с горечью думал о прошлом[12].

Расставшись со старой Коломной в 1820 г., Пушкин, десять лет спустя, вспомнил в своем «Домике в Коломне» те места, где он провел дни своей юности:

Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

И в памяти поэта воскресали образы прошлого.

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право),
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).

Но сквозь эту гордость поэт прочел в ее глазах иную повесть: «долгие печали, смиренье жалоб»...

Она страдала, хоть была прекрасна
И молода, хоть жизнь ее текла
В роскошной неге; хоть была подвластна
Фортуна ей; хоть мода ей несла
Свой фимиам, — она была несчастна...

Плетнев в своей переписке с Гротом называет имя молодой графини[13]. Это была Стройновская, дочь генерала Буткевича, навеявшая поэту, по некоторым данным, образ Татьяны — «неприступной богини роскошной царственной Невы». Посещение Стройновской отдаленной церкви у Покрова говорит о том, что она жила в Коломне. Действительно, по той же стороне Фонтанки, где стоит бывший дом Клокачева, отделенный от него всего лишь пятью домами, стоял в те времена трехэтаж-

ный дом участника восточных войн генерала Буткевича. Большой участок этот у Калинкина моста, на углу Фонтанки и Садовой улицы, числится теперь по Фонтанке под № 199.

Из многочисленной семьи Буткевича своей редкой красотой выделялась дочь Екатерина. Короткие годы своего детства она провела здесь, на Фонтанке, в доме отца, человека замкнутого и сурового. Он занимал первый этаж, семья же его помещалась во втором. Однако безрассудные траты старика скоро привели его к разорению. Единственным спасением для семьи мог быть удачный брак красивой дочери. Вскоре Екатерина Буткевич вышла замуж за семидесятилетнего гр. Стройновского, известного польского ученого и писателя. Книга Стройновского «Об условиях помещиков с крестьянами», весьма либеральная для своего времени, вызвала яростные нападки крепостников, с негодованием указывавших, что «сия книга ходит по рукам», что ее «даже читают лакеи». Крайний реакционер кн. Владимир Волконский назвал книгу польского графа «порождением царствия разума во Франции».

Женясь на юной красавице, Стройновский имел уже внучку, ровесницу его невесты. Их венчали поблизости от дома невесты, у Покрова, в той церкви, где Пушкин встречал ее впоследствии.

Стройновский купил для своей жены недалеко от дома Буткевичей небольшой особняк, ныне стоящий на Фонтанке под № 167. Он украсил его прекрасно подобранной картинной галереей и привезенными из Италии статуями Кановы. В первую зиму после свадьбы Сройновский вывез свою жену в свет. Первый контрданс на балу она танцевала с Александром I, а затем от нее весь вечер не отходил известный красавец Чернышев, впоследствии светлейший князь и фаворит Николая I. Этот столь блестящий первый выезд оказался и последним для

юной Стройновской. По воле мужа она стала пленницей в своем роскошном доме, двери которого закрылись для посторонних глаз. Грустной чередой потекли ее дни. Не внесло отрады и рождение в 1823 г. дочери, с первых дней жизни носившей яркий отпечаток старческой дряхлости.

Жизнь в золотой клетке закончилась неожиданной катастрофой.

Состоя сенатором, Стройновский, вместе с тем, негласно вел в Сенате судебные дела частных лиц. При проигрыше им одного дела обнаружилось, что он играл неблаговидную роль, совмещая обязанности судьи и защитника. Действительный тайный советник гр. Стройновский был немедленно уволен со службы. Ему пришлось при этом уплатить своему бывшему доверителю миллионную сумму, что повлекло за собой полное разорение Стройновского. Он вынужден был продать свой дом на Фонтанке, со всеми его ценностями, и переехать в деревню, где вскоре и умер в 1834 г. Через год его вдова вышла замуж за генерала Зурова, «страшного урода», по выражению Смирновой-Россет. Герцен в «Былом и Думах» упоминает о Зурове, любившем рассуждать о своей «высокой честности и робеспьеровской неподкупности»[14].

Дом Стройновских сохранился до наших дней. Это небольшое трехэтажное здание в 11 окон простояло без изменений до 1888 г.[15] Его новый владелец, купец Карякин, увеличил окна третьего этажа, уничтожил старый карниз и украсил вход целующимися амурами.

Как было сказано выше, тут на Фонтанке стоял дом, где Екатерина Буткевич провела свою юность. По смерти ее отца этот дом перешел к «генерал-лейтенантше Буткевичевой», а затем к ее наследникам. В царствование Александра II он принадлежал внуку Буткевичей — Зурову, владевшему домом еще в начале XX века. Так

простоял он без особых изменений до 1911 г., когда следующей владелице, вдове ротмистра Кудрявцевой, было разрешено выстроить на этом участке новый дом. Она построила на свободном месте многоэтажное здание и, надстроив старый дом Буткевичей, объединила все в одно новое громадное здание. Но и теперь с правой стороны здесь выделяется инкорпорированная трехэтажная постройка.

Ближайшим соседом семьи Буткевичей был генерал гр. Ивелич, владевший домом рядом по набережной Фонтанки (ныне № 197). Это был хитрый и ловкий черногорец по фамилии будто бы Графивелич, ставший в России графом Ивеличем. Он, не стесняясь, открыто говорил о том, что его дом куплен за счет «экономии», сделанной им при передаче денежной помощи, пожалованной Екатериной II восставшим против турок албанцам и черногорцам. Его старшая дочь, Екатерина Марковна, чрезвычайно некрасивая девица, отличалась блестящим остроумием. Ее эпиграммы были подобны ядовитым стрелам. Она состояла в доброй дружбе со своими соседями Пушкиными, называвшими ее «милой кузиной» и «добрейшей нашей графинюшкой». Частым гостем дома Ивеличей бывал и А. С. Пушкин.

После Ивеличей домом этим владели последовательно генерал-штаб-доктор Гаевский и жена генерал-лейтенанта Арбузова. Но старая Коломна осталась близка сердцу бывшей гр. Стройновской, и она купила вскоре этот дом, стоявший рядом с тем, в котором она провела свое дет-ство. Участок этот под № 197 по Фонтанке является теперь пустопорожним местом — стоявший тут старый дом недавно снесен[16].

Говоря об этих трех домах Буткевичей, Ивеличей и Стройновских, хозяева которых были связаны между собой дружбой и родственными отношениями, нельзя не

упомянуть неизменного посетителя этих домов, капитана Мерлини. Он жил тут же, против Буткевичей, в собственном маленьком деревянном доме по другую сторону Фонтанки. Откуда был родом этот капитан и точно ли был он Мерлини, об этом никто не знал, да и не заботился. Прошлое Мерлини было покрыто мраком. В настоящем же он владел деревянным домиком и четверкой лошадей, беспрестанно возивших его по городу. Составленное капитаном подробное расписание всех знакомых домов указывало точно, где ему надлежит завтракать, обедать и ужинать. Апломб у него был изумительный. В продолжение двух десятков лет он аккуратно являлся два раза в неделю к Буткевичам. И каждый раз при виде протянутой руки гостя, Буткевич, не отвечая на его приветствие, засовывал руки в карманы. Ивелич, при появлении Мерлини, осыпал его бранью, но ничто не могло изменить приятной улыбки капитана, а тем более повлиять на его отличный аппетит.

Однако раз в год Мерлини давал роскошный обед всем своим кормильцам. И тогда вся набережная, чуть ли не до Египетского моста, была запружена экипажами. Амфитриона приветствовали, чествовали. А наутро он отправлялся в свой обычный путь.

В своем столь ценном труде, посвященном архитектуре Петербурга, В. Я. Курбатов, относительно трех старинных домов у Семеновского моста на Фонтанке (№№ 97, 99 и 101), лишь вскользь отметил, что это — «дома конца XVIII века. За ними остатки знаменитой Вяземской Лавры»[17]. Между тем эти три дома связаны с людьми и событиями, не прошедшими бесследно.

Громадное место это, включавшее четыре нынешних участка по Фонтанке и тянувшееся вглубь до самой Сенной площади, принадлежало в конце XVIII в. известной Агафоклее Александровне Полторацкой. С ее портрета

работы Левицкого смотрит блестящая красавица с улыбкой на устах. Кто бы в ней узнал знаменитую своей жестокостью тиранку «Полторачиху»!

Муж ее, ловкий украинец, владевший прекрасным голосом, получил в Петербурге должность «уставщика Певческой капеллы», то есть ее директора. Второй женой его была «Полторачиха», так широко прославившая свое имя. Исключительная энергия Полторацкой способствовала тому, что к концу жизни ее состояние исчислялось в 13 000 душ. Одинаково жестокая и с крепостными и со своими детьми, она приказала однажды высечь провинившегося пред нею сына-офицера. Страдая бессонницей и тщетно испробовав все средства, Полторачиха приказывала собирать своих крестьян и сечь их перед окнами своей спальни. Как передавали современники, «стоны и крики избиваемых действовали на нее, как морфий, и она тотчас засыпала». Несчастные жертвы Полторачихи нашли, наконец, способ ее обманывать. Сговорившись с дворней, приставленной «для сечения», они поднимали неистовый крик, якобы от боли, навевая таким образом желанный сон на свою госпожу.

Сохранился любопытный рассказ доктора Синицына о том, как однажды, приехав из имения в свой петербургский дом, Полторачиха увидела из окон толпу людей, бежавших мимо ее дома на Сенную. Распространился нелепый слух, будто бы в наказание за все жестокости Полторачиху будут всенародно бить плетьми тут же на площади. Узнав об этом, Полторацкая пришла в неописуемую ярость и, тотчас приказав заложить коляску, вихрем понеслась по площади на четверке своих коней. «Подлецы! — кричала она в исступлении, — прежде чем меня выпорют, я вас половину передавлю». Испуганная толпа тотчас же разбежалась. «И такого дикого зверя, — заканчивает свой рассказ доктор, — не только не посадили в клетку за железные запоры, а, напротив, высо-

копоставленные лица искали чести быть с ней знакомы и пользовались ее вниманием». Интересно отметить, что эта женщина, столь самовластно правившая своими имениями, никогда ничего сама не подписывала, имея для этого особого секретаря. Объяснялось это составленным ею в молодости подложным завещанием, из-за которого Полторацкая едва не попала под суд. Замяв дело, она дала зарок никогда не брать пера в руки и выполнила его так добросовестно, что не только посторонние, но и все домашние считали ее неграмотной.

Полторацкая умерла в 1822 г., но еще задолго до смерти она была однажды опрокинута в коляске и так изувечена, «что все кости ее были поломаны в куски и болтались, как орехи в мешке». Прикованная навсегда к постели, она все же продолжала распоряжаться своими имениями. Почувствовав приближение смерти и жестоко страдая, она приказала собрать в большом зале ее дома, близ Торжка, всю округу. Здесь, при большом стечении крестьян и соседей, неукротимая Полторачиха во всеуслышание лицемерно «покаялась» в своих грехах.

Принадлежавшие ей упомянутые участки на Фонтанке розданы были ею в приданое дочерям, в замужестве Мертваго, Сухаревой и Олениной. Чрезвычайно схожие между собой постройки отличались друг от друга лишь раскраской. Дом Мертваго, ныне № 99, с большим фронтоном и колоннами, поддерживающими балкон (колонны добавлены впоследствии), был выкрашен в палевый цвет. Малодоходный дом этот бы продан купеческой жене Зверковой за 35 000 руб.[18]

Другая дочь Полторацкой, Елизавета Марковна, в 1790 г. вышла замуж за Алексея Николаевича Оленина, впоследствии президента Академии Художеств и директора Публичной библиотеки. Олениной принадлежали в начале XIX века два дома на набережной Фонтанки. Первый (ныне № 97) вскоре перешел к старшей дочери

Олениных, Варваре, вышедшей замуж за своего дальнего родственника Г. Н. Оленина, убитого впоследствии своими крепостными за жестокость.

Старики же Оленины жили через дом отсюда, в здании, стоящем ныне по набережной Фонтанки под № 101. В первые годы XIX века Оленин, тогда еще управляющий юнкерской школой при Сенате, жил тут во дворе, в специально им построенном отдельном флигеле. Греч вспоминает в своих записках этот дом, украшенный итальянскими окнами, куда вела тесная лестница с «забегами». Впоследствии Оленины перешли в лицевой флигель участка[19].

Оленин, человек всесторонне образованный, тонкий ценитель искусства, «как старший брат», по выражению Аксакова, объединял вокруг себя русские таланты. Но и чиновный Петербург любил посещать гостиную этого влиятельного сановника, прозванного Александром I «Тысячеискусником».

Ранней весной 1819 г. у Олениных собрались гости. В зале, близ дверей, стоял в синем академическом вицмундире хозяин, маленький человек с торчащими ушами. Его хитрые глазки с особым умилением останавливались на гостях, мундиры которых были украшены звездами. А таких здесь было немало. У окна оживленно беседовала группа блестящих гвардейцев. В углу сидел Пушкин, со скучающим видом слушавший Крылова, нараспев читавшего молодежи какую-то басню. Из столовой выбежали две девочки. Меньшая, черноглазая, подбежала к Пушкину. — «Скорей! — закричала она, — начинаются фанты». — Это была Аннет Оленина, которой десять лет спустя поэт делал предложение.

В дверях гостиной появилась дама в сопровождении приятеля Пушкина — Александра Полторацкого. «Трогательная томность» была в ее улыбке, в ее прекрасных

глазах. «Кто это?» — спросил Пушкин Полторацкого. — «Аннет Керн, моя кузина». Началась игра в фанты. Керн по ходу игры оказалась Клеопатрой. Когда она, в сопровождении своего кузена, проходила мимо Пушкина, держа в руках корзину с цветами, он ядовито бросил Полторацкому: «Et c'est sans doute monsieur qui fera l'aspic?»* Весь вечер Пушкин сидел, как зачарованный. Юная красавица властно овладела его пылким воображением. Настало время разъезжаться. В последний раз перед Пушкиным мелькнул в окне кареты ее профиль... и он остался один на опустевшей набережной.

Прошли годы, и потускнел в душе поэта образ прекрасной гостьи оленинского дома. Но случай соединил их снова в глуши Псковской губернии, и вновь зажглось ярким пламенем в душе поэта угаснувшее чувство.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Но дом на Фонтанке, где впервые встретились Пушкин и Керн, уже тогда не принадлежал больше Олениным. Крупные расходы по его содержанию, а также общее расстройство дел заставили Олениных продать этот дом и переехать на Мойку, к Красному мосту.

27 апреля 1823 г. в «СПб Ведомостях» появилось уже объявление о сдаче внаем «бывшего оленинского дома». Его новой владелицей была Серафима Ивановна Штерич. Внешне тут мало что изменилось. Многие из тех, кто посещал когда-то Олениных, были теперь гостями Штерич. Здесь бывала и А. П. Керн, поселившаяся в доме Штерич весной 1827 г.

---

* А роль змеи, как видно, предназначается этому господину? (*фр.*) — Ред.

А. В. Никитенко, наставник сына С. И. Штерич, так описал свою встречу с Пушкиным у Керн: «Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий из себя ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем, до самых глаз, выражения поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас: в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи — прекрасные, как букет свежих весенних роз, звучные, полные сил и чувства».

В стенах бывшего оленинского дома появились и новые лица. Часть дома с начала 1829 г. заняло правление Петербургского университета с его канцелярией*. И на лестнице дома встречались теперь сгорбленные фигуры профессоров в потертых вицмундирах, раздавались звонкие голоса студентов.

Тут же помещалась квартира ректора университета Дегурова. К удивлению являвшихся на прием студентов, ректор обращался к пришедшим по-французски. Объяснялось это тем, что Дегуров (Du Gour) не знал русского языка.

С предоставлением университету в конце 30-х годов помещения бывших 12-ти коллегий на Васильевском острове, правление университета оставило бывший оленинский дом. Вскоре умерла и его хозяйка, С. И. Штерич, завещавшая дом своей внучке Марии Алексеевне.

С новой владелицей дома связано имя Лермонтова. Мария Алесеевна Штерич была замужем за кн. Щербатовым, но скоро овдовела. Это была одна из наиболее образованных и интересных женщин Петербурга 40-х годов. Увлеченный Щербатовой поэт, описывая ее красоту своему приятелю Шан-Гирею, выразился, что она «такая,

---

* Студенческие аудитории, учебные кабинеты, музеи, камеры для казенных студентов и т. д. помещались тогда на Кабинетской улице, в длинном двухэтажном здании, впоследствии занятом синодальным подворьем.

что ни в сказке сказать, ни пером описать». Лермонтов посвятил Щербатовой свое известное стихотворение «На светские цепи»:

На светские цепи,
На блеск упоительный бала
Цветущие степи Украйны она променяла...
От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.

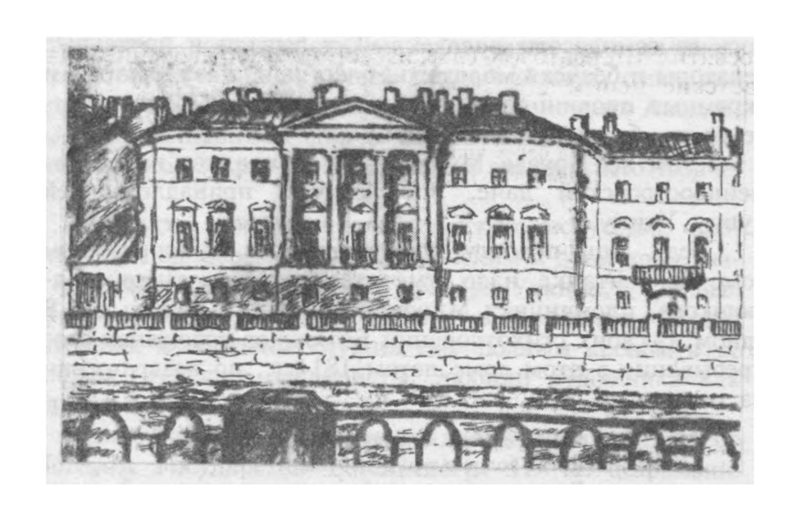
На Щербатову им была написана также известная эпиграмма:

Ах, как мила моя княгиня!
За ней волочится француз...[20]

Этот «француз» был сыном французского посланника де Баранта. Дуэль, состоявшаяся между ними из-за Щербатовой, послужила причиною ссылки Лермонтова на Кавказ.

А год спустя, на второй дуэли, решилась судьба мятежного поэта. Щербатова вскоре вышла замуж за генерала Лутковского, продолжая владеть своим домом до конца 50-х годов.

Связанный с именами Керн и Щербатовой, воскрешающий в памяти образы двух величайших наших поэтов, дом этот и поныне стоит на набережной Фонтанки.



Глава вторая

От сожженной Пушкиным десятой главы «Евгения Онегина» сохранилось лишь несколько строк, посвященных тем, кто связал свои имена с декабрьскими событиями 1825 г.

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

Дом, в котором собирались у Никиты Муравьева члены Тайного Общества (ныне № 25 по набережной Фонтанки), был выстроен в последние годы XVIII века купцом Андреем Кружевниковым. Мать декабриста, Катерина Федоровна Муравьева, приобрела его в октябре 1814 г., вскоре после своего переезда из Москвы[21]. Отделав дом, Муравьева широко раскрыла его двери многочисленным друзьям и родным. По воскресеньям здесь бывали семейные обеды и случалось, что за стол сади-

лось до семидесяти человек. «Тут бывали и почтенные сенаторы и безусая молодежь, блестящие кавалергарды и скромные провинциалы — и все это были лишь родственники, близкие и дальние».

Летом все друзья Муравьевых собирались на их каменноостровской даче, впоследствии принадлежавшей купцу Утину.

Среди лиц, подолгу проживавших в гостеприимном доме на Фонтанке, надо отметить поэта Константина Батюшкова, племянника Михаила Никитича Муравьева. В одном из своих стихотворений Батюшков вспоминал свое пребывание в этом доме летом 1814 г., по возвращении из похода:

Я сам, друзья мои, дань сердца заплатил,
Когда волненьями судьбины
В отчизну брошенный из дальних стран чужбины,
Увидел наконец Адмиралтейский шпиц,
Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц,
Для сердца моего единственных на свете!

Но этот дом на Фонтанке, видевший поэта в лучшие дни его жизни, раскрыл перед ним свои двери и в печальный май 1823 г., когда Батюшков, потеряв рассудок (это была наследственная фамильная болезнь), был привезен в тяжелом состоянии к Катерине Федоровне, принявшей его с материнской нежностью. Относившийся к ней, в свои светлые дни, с сыновьей преданностью, больной Батюшков теперь возненавидел и Муравьеву и всех своих прежних друзей. Для него пришлось нанять особую дачу (Аллера) на Черной речке, где он и любил гулять в одиночестве по небольшому садику[22].

Здесь у Муравьевой некоторое время жил друг Батюшкова известный художник Кипренский, о портретах которого поэт сказал, что они полны такой жизни и истины, что «им не достает лишь речи». Но недолго оставался «несравненный Орест», «любимец моды легкокрылой», в доме Муравьевой. Он уехал в Рим. Там,

окруженный посредственными талантами, он стал рисовать по совету новых друзей сухие пейзажи, слащавых и приторных «девочек с плодами», бесконечных Аполлонов. Однако целая бездна отделяла новые произведения Кипренского от прекрасных образцов его прежнего творчества.

Из других представителей русского искусства, проживавших одновременно с Кипренским в этом доме, надо упомянуть известнейшего гравера Уткина[23]. Он был побочным сыном Михаила Никитича Муравьева, но дом Катерины Федоровны служил ему родным кровом и ее сыновья, будущие декабристы, любили художника как родного брата.

В этом же доме на Фонтанке долгое время жил автор «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзин. Связанный с Катериной Федоровной долголетней дружбой, Карамзин, переехав в 1816 г. из Москвы в Петербург, временно остановился в ее доме на Фонтанке. Отсюда он переехал в дом Баженова на Захарьевской улице. Когда же осенью 1818 г. у Муравьевой освободился верхний этаж, Карамзины переселились к ней. «Ищите нас мыслями в Петербурге не в Захарьевской улице, — писал 11 сентября 1818 г. Карамзин П. Вяземскому, — а на Фонтанке, в доме у Катерины Федоровны Муравьевой, где мы с вами жили. Там могу иметь уже большой кабинет. Но не без сожаления оставляю дом Баженовых: там мы жили благополучно»[24]. Карамзин прожил здесь пять лет, выехав отсюда в 1823 г. на Моховую улицу в дом Мижуева.

Его квартиру занял сын Катерины Федоровны, Никита Михайлович, один из организаторов и вождей Северного Тайного Общества. Своему блестяще одаренному сыну Муравьева постаралась дать всестороннее образование. Поход в Париж сблизил его с либеральными доктринами Запада, пробудившими в нем новые чувства и стремления. По возвращении из похода «временный жи-

тель трех столиц», Муравьев «с новым удовольствием увидел Петербург». Но теперь он предстал перед ним в новом свете, как центр порабощенной и униженной страны. Безмятежные занятия поэзией и чистой наукой показались ему уже недостойными звания «гражданина». Политическое равнодушие Батюшкова, его эпикурейство возбуждали в нем желчь. «Верноподданнические чувствования», изливаемые в газетах и журналах, лесть высоким особам стали ему невыносимы. Пора вспомнить о «прекрасных достоинствах человека» — «вере, добродетели и свободе» — воскликнул он. Между тем передовые круги русского дворянства уже частью объединялись в тайные общества. К ним примкнул и Никита Муравьев, приступивший к составлению проекта русской конституции, весьма ценного документа эпохи. Крупный землевладелец, представитель нарождающейся аграрной буржуазии, Муравьев выразил в своем проекте стремление к уничтожению сословных привилегий и введению замаскированного республиканского строя. Эти идеи дворянских передовых кругов должно было претворить в жизнь Северное Тайное Общество. Ему было противопоставлено Южное Общество с его радикально-демократическими тенденциями.

Среди друзей Никиты Муравьева, постоянно его посещавших, надо упомянуть Матвея и Сергея Муравьевых-Апостолов, Лунина, Николая Тургенева, Бриггена и Митькова. Здесь бывал и наезжавший в Петербург Пестель. Хозяин дома часто горячо спорил с Карамзиным. Их разделяла глубокая разница взглядов. Карамзин говорил: «История мирит с несовершенством мирного порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех вещах; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие и государство не разрушалось». Муравьев же резко отрицал карамзинскую идею «непротивления» и

призывал к борьбе. «Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом; — возражал он, — добродетельные граждане должны быть в вечном союзе противу заблуждений и пороков»[25].

К числу друзей Муравьева, бывавших часто в доме его матери на Фонтанке, принадлежали также Вяземский, Жуковский, Гнедич, Александр Тургенев. Бывал тут и недавно выпущенный из лицея Пушкин.

Шли годы, и Никита Муравьев стал постепенно охладевать к идеалам своей юности. В 1823 г. он женился на гр. А. Чернышевой, сестре декабриста. Декабрьские события застали Муравьева в обстановке тесного семейного круга, в орловском имении. Его имя, как одного из вождей тайной организации, стало известно властям из доносов предателей, и 20-го декабря явившийся к нему жандармский офицер повез его в Петербург. Заключенный в Петропавловскую крепость, Никита Муравьев, один из немногих арестованных, обнаружил большое присутствие духа. Он давал на следствии самые осторожные и уклончивые показания и, не отрицая своей вины, не запятнал себя предательством. Он был присужден к 20-летним каторжным работам. Его близкий родственник Сергей Муравьев-Апостол, боровшийся с оружием в руках на юге, был повешен на верках Петропавловской крепости. Брат Сергея Муравьева-Апостола, Ипполит, участник восстания Черниговского полка, давший клятву — победить или умереть, после поражения под Белой Церковью лишил себя жизни. Родной брат Никиты Муравьева, Александр, был присужден к 12 годам каторжных работ.

Но никто из осужденных не роптал на свою судьбу. Александр Муравьев, после долгих лет сибирской каторги, писал в своих записках, посвященных детям: «Читая эти строки, они узнают, что их изгнанный отец страдал

за прекрасное и благородное дело и что мужественно нес цепи за свободу своего отечества».

Для Никиты Муравьева ссылка в Сибирь была облегчена приездом жены, Александры Григорьевны, принадлежавшей к тем немногим «русским женщинам», которые взяли на себя подвиг разделить с мужьями тяжелую ссылку. «Дай бог хоть им искупить гнусность нашего века, — писал А. Тургеневу и Жуковскому Вяземский. — Вообразите, что 14-е и 13-е уже не в помине. Нет народа легкомысленнее и бесчеловечнее нашего». А. Г. Муравьева скончалась в расцвете сил, прожив в Сибири шесть лет. Ее смерть глубоко потрясла Муравьева.

Пленителен образ отважной жены,
Явившей душевную силу
И в снежных пустынях суровой страны
Сокрывшейся рано в могилу.

Так почтил ее память Некрасов.

Для Катерины Федоровны ссылка обоих сыновей, Никиты и Александра, была страшным ударом. Она едва не сошла с ума от горя, почти ослепнув от вечных слез. Желая быть ближе к своим сыновьям, она переехала в Москву, продав свой дом на Фонтанке[26]. Своими постоянными хлопотами и просьбами она чаще других матерей и жен декабристов напоминала Николаю I о его «друзьях 14 декабря».

Отправляя в Сибирь сыновьям целые обозы с продовольствием, вещами и книгами, она через них много помогала и другим ссыльным. Катерина Федоровна имела несчастье пережить смерть Никиты, скончавшегося на руках своего брата и дочери. Весть о его смерти была тяжелой утратой не только для его престарелой матери, но и для всех его товарищей по изгнанию. «Смерть моего дорогого Никиты огромная потеря для

нас, — написал Лунин, — этот человек один стоил целой академии».

В пушкинское время дом Муравьевой представлял собою небольшое трехэтажное здание со скромным фронтоном. Недавно произведенная неудачная надстройка совершенно изменила его внешний облик. Пострадала за долгие годы существования дома и его внутренняя отделка. Кое-где, однако, уцелели старинные переходы и розетки и сухарики на карнизах, свидетели дней «беспокойного» Никиты.

Из последующих владельцев этого дома следует отметить Марию Васильевну Шиловскую, по второму браку Бегичеву, восхищавшую в 40-х и 50-х годах своим голосом весь светский Петербург. Она написала ряд романсов на слова Тютчева, Лермонтова и Боратынского. Ее учителем музыки и одним из ближайших друзей был А. С. Даргомыжский. Но в бельэтаже этого дома, где некогда частыми гостями бывали Карамзин, Батюшков, Тургеневы, стали появляться новые лица. Теперь здесь можно было часто встретить скромного молодого человека, бледного, застенчивого, горячего поклонника таланта Бегичевой. Это был Мусоргский, отдавший, подобно многим другим, дань увлечению хозяйкой дома и посвятивший ей романс «Что вам слова любви...»

Стоящий тут же на Фонтанке недалеко от дома Муравьевой, по другую сторону реки, дом № 16 по набережной принадлежал в начале XIX века канцлеру И. А. Остерману. Об этом государственном деятеле Безбородко сказал: «Беда была, когда за руль брался — худо правил». Здание это, проданное канцлером в 1806 г. военно-сиротскому дому, перешло впоследствии к В. П. Кочубею, завершившему свою богатую почестями карьеру председателем Государственного совета. Пушкин в своем дневнике назвал Кочубея «ничтожным человеком». — «Но такова бедность России в го-

дарственных людях, — прибавил он, — что и Кочубея некем заменить».

Увеличивший свое состояние, по словам Вигеля, с двух до двадцати тысяч крестьян различными операциями, связанными с именами известных банкиров Перетца и Штиглица, Кочубей жил широко, устраивая у себя вечера и любительские спектакли. На масленицу 1827 г. здесь был разыгран на итальянском языке «Дон Жуан», причем все роли исполнялись мужчинами. М. И. Глинка в белом пудермантеле, в парике с распущенными волосами, прекрасно имитируя контральто, спел партию Донны Анны.

У Кочубея был очередной бал. Гремела музыка. Кареты подвозили все новых гостей. Внезапно в конце Фонтанки показалась мчавшаяся вскачь от Невы длинная вереница кибиток, замыкаемая жандармами. Некоторые из сидящих были в кандалах. Это отправляли в Сибирь партию участников декабрьского восстания. Кибитки неожиданно остановились. Кареты кочубеевских гостей преградили им путь. На одно мгновение яркие огни бального зала осветили бледные лица, и печальный кортеж исчез во мраке ночи.

И долго потом в далекой ссылке вспоминали осужденные ту минуту, когда на их пути случайно мелькнуло видение блестящего бала[27]. Молодой поэт А. И. Одоевский посвятил этому воспоминанию свое прекрасное стихотворение «Бал», заканчивавшееся словами:

Глаза мои в толпе терялись:
Я никого не видел в ней;
Все были сходны, все смешались:
Плясало сборище костей*.

---

* Герцен записал в «Былом и Думах»: «Быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплые слова о родных, друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь взяты. Напротив, являлись фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно».

Неизменной участницей кочубеевских приемов бывала старая Наталия Кирилловна Загряжская, одна из последних представительниц отживавшего свой век феодального барства XVIII столетия. Восседая на почетном месте в глубоких креслах, закутанная в шаль, в высоком чепце, она напоминала, по словам Вяземского, «старые семейные портреты, писанные кистью великих художников». Это была тетка хозяйки дома, занимавшая у Кочубеев в нижнем этаже несколько комнат на набережную. Загряжская держала хозяев дома в строгом повиновении. Сам Николай I побаивался ее. «Хочется мне заехать к Кочубеям, — сказал он однажды С. М. Голицыну, — какое бы было время поудобнее, а то Наталья Кирилловна меня, пожалуй, встретит».

У Загряжской было множество причуд. Так, например, Наталия Кирилловна ужасно боялась смерти. «А ты знаешь, — сказала она однажды Кочубею, — вот Александровская-то колонна ничем не прикреплена, так и стоит. Я кучеру своему запретила ездить мимо, неравно повалится и задавит...» Ей было в то время около 90 лет.

Частым гостем Загряжской был А. С. Пушкин, женатый на ее внучатой племяннице. Подолгу беседуя с Натальей Кирилловной, поэт, по словам Вяземского, «ловил в ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли... Некоторые драгоценные частички этих бесед им сохранены; но самое сокровище осталось почти непочатым».

Старая Загряжская пережила Пушкина, скончавшись несколько месяцев спустя после его смерти. А вскоре в 1838 г. кочубеевский дом был продан казне. Сюда, к Цепному мосту на Фонтанке перешли с Мойки III Отделение Собственной его величества канцелярии и Штаб отдельного корпуса жандармов, прославившие навсегда этот

На вид весьма красивый дом,
Своим известный праведным судом.

В 30-х годах, как об этом будет далее сказано, III Отделение помещалось на Мойке, в доме Таля. Поэтому дальнейшая история кочубеевского дома выходит из намеченных в настоящей работе рамок. Нельзя, однако, не отметить, что с этим домом на Фонтанке, в особенности с его надворными строениями, пришлось ознакомиться впоследствии ряду наших революционеров. Для содержания заключенных здесь были устроены специальные, снабженные решетками камеры, с проездом через особые ворота с Пантелеймоновской ул.

Герцен оставил следующее описание приема тут посетителей Бенкендорфом в 1840 г.: «Мрачно и озабоченно стояли они у стены, вздрагивали при каждом шуме, жались еще больше и кланялись всем проходящим адъютантам... Наконец, двери отворились нараспашку и вошел Бенкендорф... Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд... Он мало говорил с просителями, брал просьбу, бросал на нее взгляд, потом отдавал ее Дубельту, прекращая замечания просителя грациозно-снисходительной улыбкой. Месяцы целые эти люди обдумывали и приготовлялись к этому свиданию, от которого зависит честь, состояние, семья; сколько труда, усилий было употреблено ими прежде, чем их приняли, сколько раз стучались они в запертую дверь, отгоняемые жандармами или швейцаром. И как, должно быть, щемящи, велики нужды, которые привели их к начальнику тайной полиции; ведь предварительно были исчерпаны все законные пути... Когда Бенкендорф подошел к старику с медалями, тот стал на колени и вымолвил: «Ваше сиятельство, войдите в мое положение». — «Что за мерзость! — закричал граф, — вы позорите ваши медали» — и, полный благородного негодования, он прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся, его стеклянный взгляд выражал ужас и помешательство, нижняя губа дрожала, он что-то лепетал...»

После смерти Бенкендорфа на смену ему явился Алексей Орлов. Его крутой и необузданный нрав приводил в трепет всю столицу. Среди запуганных обывателей стали ходить слухи о специально устроенных в кабинете Орлова креслах, опускавшихся под пол, вместе с провинившимся, получавшим тут же «веское нравоучение». При этом агенты Орлова оставались невидимы для своих жертв[28]. Когда за пропуск одной «вредной» книжки сюда был вызван цензор Крылов, шеф жандармов любезно принял его, сказав: «Садитесь, сделайте одолжение, поговорим». — «А я, — рассказывал Крылов, — стою ни жив, ни мертв и думаю себе: что тут делать: не сесть нельзя, коли приглашает, а сядь у шефа жандармов, так, пожалуй, еще и высечен будешь...» Орлов снова приглашает и указывает на стоящее возле него кресло. «Вот, — продолжает Крылов, — я потихоньку и осторожно сажусь себе на самый краешек кресла. Вся душа ушла в пятки. Вот-вот и жду, что у меня под сидением подушка опустится и известно что... Что уж он мне там говорил, я от страха и трепета забыл. Слава богу, однако же, дело тем и кончилось». Если так трепетал перед шефом жандармов профессор и декан московского университета, то каков же был страх простого обывателя.

Когда III Отделение, наконец, было уничтожено, особняк на Фонтанке был отведен под квартиру министра внутренних дел. И в тех комнатах, где Пушкин и Загряжская некогда вели длинные беседы, теперь принимал посетителей министр Сипягин. Здесь же под председательством Горемыкина происходили в 1906 г. заседания Совета министров[29].

Только один дом отделяет бывшее III Отделение от красивого барского особняка, в котором несколько лет назад помещался Государственный Книжный фонд (Фонтанка, № 20).

2 Зак.№ 125

Дом этот с узкими колоннами несколько раз переделывался и утратил свой первоначальный облик после появления по обеим сторонам фасада пристроек. Правая пристройка произведена в первые годы существования здания и вновь образованный тогда проезд со стороны двора хорошо оформлен. Дом этот был куплен казною в 1804 г. у Вадковской за 85 000 руб. Сюда был переведен сначала департамент уделов; в 1812 г. дом был передан приближенному Александра I А. Н. Голицыну[30].

Обер-прокурор Синода и министр народного просвещения Голицын поставил себе задачей искоренение «вольнодумства, безбожия и своеволия революционной необузданности». Значение Голицына было очень велико благодаря его личным отношениям с царем. Как отметил Жозеф де Местр, пост обер-прокурора Синода делал Голицына «после императора настоящим главою здешней церкви, как бы папою». Декабрист Лунин назвал его царедворцем «старой школы, который при нескольких государях занимал с большим или меньшим успехом должность шута». Переехав на Фонтанку, Голицын тотчас же приступил к переделке дома. Вскоре в верхнем этаже, окнами на Фонтанку, поселился в казенной квартире любимец Голицына Александр Иванович Тургенев, директор департамента духовных дел иностранных исповеданий. Пушкин в письмах к своему другу величал Тургенева «его преосвященством» и «препоручал себя его молитвам». При пожаловании Тургеневу камергерского звания Пушкин обратился к нему с посланием, начинавшимся словами:

В себе все блага заключая,
Ты наконец к ключам от рая
Привяжешь камергерский ключ...

Имя А. И. Тургенева тесно связано с жизнью Пушкина. Он помог определению Пушкина в лицей. И он

же, четверть века спустя, сопровождал из Петербурга в Святогорский монастырь тело своего друга.

Тут же в доме Голицына вместе с Александром Тургеневым жил его младший брат Николай — «вера, добродетель и жизнь» для горячо любившего его старшего брата. Лагарп сказал, что Николай Тургенев «делает честь своей нации и правилами и редким просвещением». Квартира Тургеневых на Фонтанке нередко служила местом встреч членов литературного кружка «Арзамас». Здесь бывали Жуковский, В. Л. Пушкин, Вигель, Вяземский, Батюшков, Никита Муравьев и др. Все они носили тут шутливые прозвища: В. Л. Пушкин — «Вот я вас», Вигель — «Ивикова журавля», Александр Тургенев — «Эоловой арфы», Блудов — «Кассандры» и т. д.

Период русской общественной жизни после наполеоновских войн был ознаменован ростом либеральных течений в кругу среднепоместного дворянства. Передовой элемент его, в лице Тургеневых, Пушкина и др., противопоставлял деспотизму крепостнической аристократии идеи прогресса и просвещенный критицизм. Выразителем новых тенденций в литературе и политике явилось и вновь образовавшееся литературное общество «Арзамас». Беспросветная рутина Российской Академии, реакционная «Беседа» с ее пресловутым «гонителем новшеств» Шишковым подвергались беспощадной критике арзамасцев. По примеру всех других обществ, гласил устав «Арзамаса», каждому нововступающему члену «Арзамаса» надлежало было читать похвальную речь своему покойному предшественнику, но все члены нового «Арзамаса» бессмертны, — и так, за неимением собственных готовых покойников, новоарзамасцы положили брать напрокат покойников между халдеями «Беседы» и «Академии». «Беседа» сотворена на то, чтобы твердить и писать глупости, говорили арзамасцы, «Арзамас» на то, чтоб над нею смеяться[31].

Как писал Булгарин, «главная характеристическая черта членов Арзамасского общества, по которым и теперь можно отличить их между миллионами людей, есть: чрезвычайно надменный тон, резкость в суждениях, самонадеянность. Все, что не ими выдумано — дрянь; каждый человек, который не пристрастился безусловно к их мнению, — скотина; каждая мера правительства, в которой они не принимали участия — мерзкая; каждый человек, осмелившийся спорить с ними — дурак и смешон». Передовая часть «Арзамаса» противопоставляла невежеству старой феодальной Руси смелые идеи французской философии. И в то время, как на заседания к Шишкову приглашенные являлись в золотых мундирах, с «кавалериями» через плечо, председатель «Арзамаса» заседал в традиционном красном колпаке и, обращаясь к присутствующим, именовал их «согражданами». И каждый новый член кружка, выступая впервые с обязательной речью, надевал тот же красный колпак — эмблему якобинцев. В литературные занятия кружка входило чтение новых произведений Жуковского, Вяземского, Батюшкова и других «арзамасцев».

Тут в квартире Тургеневых 27 августа 1817 г. был принят в «Арзамас» под именем «Ахилла» поэт Батюшков. «Любезный Ахилл, любезный товарищ, давний и новый», — приветствовал его цветистой речью Д. Блудов. В одном из протоколов собраний кружка в августе того же года упоминается уже имя «Сверчка». Под этим прозвищем принят был в «Арзамас» А. С. Пушкин, обратившийся к «арзамасцам» со следующими стихами:

Венец желаниям! Итак, я вижу вас,
О други смелых муз, о дивный Арзамас!

Вступление в «Арзамас» будущих декабристов — М. Ф. Орлова, Н. И. Тургенева и Н. М. Муравьева придало собраниям политическую окраску. Вскоре в дневнике Н. Тургенева появляется уже следующая запись:

«Третьего дня был у нас «Арзамас». Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство...» Однако, в то время как Н. Тургенев, Орлов и Муравьев имели в виду переход к революционному действию, ядро «Арзамаса» не склонно было идти дальше вольнодумных речей и «якобинской» обрядности. Эти разногласия вскоре привели к распаду «Арзамаса».

Вигель сообщает, что в квартире Тургеневых Пушкин написал свою оду «Вольность». «Из людей, которые были его старее, — пишет Вигель, — всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых; они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то есть к меньшому, Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя, предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от арапа генерала Ганнибала и гибкостию членов, быстротой телодвижений несколько походил на негров и человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать».

Так, по рассказу Вигеля, вылились из-под пера Пушкина известные стихи:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу...

Из двух братьев Тургеневых — Александр был очень общителен. Он всюду бывал и всех знал. По утрам у него на Фонтанке начинался, по словам А. Я. Булгакова, «волшебный фонарь или кукольная комедия: то один, то другой, то поп, то солдат, то нищий, то мамзель». В про-

тивоположность ему Николай Тургенев был замкнут и недоступен. В десятой (сожженной) главе «Евгения Онегина» Пушкин посвятил ему несколько строк:

Одну Россию в мире видя,
Ласкает в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал.
И слово «рабство» ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян[32].

Один из виднейших, как теперь установлено, членов Тайного Общества, принадлежавший к числу его идейных руководителей, Николай Тургенев в период декабрьских событий 1825 г. случайно оказался за границей, где он лечился. Обвиненный в «умысле ввести Республиканское Правление» и в том, что он, «удалясь за границу... по призыву Правительства к оправданию не явился», Тургенев был заочно присужден к вечным каторжным работам. Царское правительство потребовало у Англии его выдачи, однако требование это удовлетворено не было. Между тем в России уже распространился слух, будто бы Тургенева везут морем в Петербург. Под этим впечатлением Пушкин из ссылки написал в Ревель Вяземскому по поводу его стихов, посвященных морю:

Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Тургенев пробыл в изгнании 30 лет, и только смерть Николая позволила ему увидеть родину.

Среди молодых «вольнодумцев», собиравшихся у Тургеневых, много шуток вызывало церковное пение, доносившееся из домовой церкви Голицына. Она была устроена в 1812 г., и в постройке ее приняли участие выдающиеся русские художники. Общая композиция церкви и ее убранства принадлежала Воронихину, живо-

пись иконостаса — Боровиковскому и окончательное завершение деталей церкви архитектору Витбергу. Мрачный притвор служил символом тьмы павшего человека; он соединялся с церковью лестницей из семи ступеней, в память принятой масонами от древних алхимиков мистической лестницы из свинца, латуни, меди, железа, бронзы, серебра и золота. Такой же скрытый мистический характер был придан Витбергом каждой детали храма. Рядом с ним была устроена личная молельня Голицына. Это были две маленькие комнатки, совершенно темные, с наглухо заложенными окнами, куда не проникал ни один посторонний звук. Посредине стояло подобие гроба, покрытое плащаницей. Молельня освещалась лампадой из красного стекла, сделанной в виде человеческого сердца. Это кровавое сердце казалось раскаленным и жутко светило в темноте. Здесь, вместе с Голицыным, часто молился Александр I.

Весь петербургский свет и крупное чиновничество собирались к обедне в голицынской церкви. Сюда же неизменно являлись известные обскуранты Магницкий и Красовский, в надежде привлечь усердными поклонами внимание могущественного министра.

Немного сведений сохранилось у нас о домах, связанных в Петербурге с именами декабристов. Тщетны были до настоящего времени поиски зданий, служивших местожительством П. И. Пестеля, жившего, как известно, постоянно на юге и в Петербурге бывавшего лишь наездами. Приезжая сюда, он останавливался, как об этом будет сказано дальше, в Демутовом трактире. Имеются также указания, что Пестель проживал в Петербурге у своих родителей.

Отец декабриста, Иван Борисович Пестель, сибирский генерал-губернатор, безвыездно жил в Петербурге, управляя отсюда сибирским краем. Это обстоятельство служило постоянным поводом для насмешек современни-

ков. Однажды Александр I, стоя у окна Зимнего дворца с Пестелем и Ростопчиным, спросил: «Что это там на церкви, на кресте, черное?» «Я не могу разглядеть, ваше величество, — ответил Ростопчин, — это надобно спросить у Ивана Борисовича, у него чудесные глаза: он видит отсюда, что делается в Сибири».

Где же жил в Петербурге этот «тиран Сибири», о жестокости которого ходили целые легенды? Греч отметил в своих записках, что старик Пестель «жил на одном крыльце с Пукаловой, любовницей Аракчеева, и через нее держался у него в милости». Муж Пукаловой, синодский обер-секретарь, пользуясь близостью своей жены к Аракчееву, открыто торговал милостями всесильного временщика. В архивах сохранилась весьма любопытная переписка Пукалова с Аракчеевым, где «без лести преданный» Пукалов заверяет Аракчеева в том, что «во мнении людей умных и благонамеренных» Аракчеев заслуживает «общей признательности по примерным поступкам». Составивший себе состояние крупным взяточничеством, Пукалов владел в Петербурге, в середине 20-х годов, домом на Торговой улице, но каких-либо указаний на его жительство на Фонтанке обнаружить не удавалось.

Недавно, однако, мне встретилось в «СПб Ведомостях» за 1821 г. (стр. 547) объявление об отъезде за границу И. А. Пукалова из дома № 101 Литейной части. Как оказывается, это нынешней участок № 24 на Фонтанке, расположенный напротив Михайловского замка, как указал Греч. Тут, на Фонтанке, следовательно, и жил в одном доме с Пукаловыми старик Пестель[33].

Родители Пестеля, горячо любившие своего старшего сына, гордились его служебными успехами и очень тосковали, подолгу его не видя. « Со времени твоего отъезда, — писал Пестелю отец в 1820 г., — твоя мать и я мы говорили подолгу о тебе. Воспоминания о твоем прощании с нами останутся запечатленными в моем сер-

дце навсегда». В одном из своих писем родителям Пестель писал: «От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни одного государства, даже Англии и Турции, сих двух противоположностей, дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать». Поток событий вскоре унес с собой жизнь смелого заговорщика. Его мать, далекая от мысли, что ее сын мог стоять во главе тайной организации, наивно писала ему почти накануне декабрьского восстания: «Как была бы я огорчена, если бы узнала, что кто-либо из моих сыновей мог быть в числе так называемых либералов, которые вообще, и у нас в особенности, есть то же, что поджигатели».

К сожалению дом, связанный с памятью о Пестеле, не сохранился до нашего времени. Трехэтажный дом этот, принадлежавший в то время купеческой дочери Голашевской, в 1840 г. был совершенно видоизменен; его надстроили одним этажом и увеличили по сторонам пристройками, превратив в четырехэтажное здание. Впоследствии дом еще несколько раз переделывали.

До нас не дошло, таким образом, следов жилища П. И. Пестеля, «души Тайного Общества и главнейшей пружины его действий», как характеризуют его следственные документы. Образ этого выдающегося человека все еще не разгадан до конца. «Умный человек во всем смысле этого слова... один из самых оригинальных умов, которых я знаю...» — таков был отзыв Пушкина о Пестеле.

Рядом с домом Голашевской, ближе к Симеоновскому мосту, сохранилось от прошлого старинное эффектное здание (теперь № 26)[34]. Сто двадцать пять лет назад оно имело несколько иной вид, так как участок Голашевской, свободный тогда еще от строений, открывал боковой фасад здания, впоследствии измененный. Дом этот, переделывавшийся за свое долгое существование, сохра-

нил все же следы работы большого мастера, сумевшего построить редкое еще тогда четырехэтажное здание, хотя и доходного характера, но с тщательно разработанным фасадом, украшенным колоннадой[35].

Здание это сооружено в начале XIX века богатым лесопромышленником Мижуевым вскоре по переходе к нему этого участка от купца Лыкова. Точное время постройки мижуевского дома неизвестно, но писатель В. А. Соллогуб в своих воспоминаниях указывает, что он родился в этом доме на Фонтанке в 1813 г. Сюда к соллогубовскому подъезду ежедневно подавалась нарядная карета, украшенная гербом, с ливрейными лакеями на запятках. Швейцар предупредительно распахивал дверь, и появлялся Соллогуб (отец писателя), известный щеголь своего времени, в модной высокой шляпе и синем плаще на красном бархате; он первый ввел в моду эти плащи.

Соллогубы жили недолго в этом доме и переехали на Дворцовую набережную. В мижуевском доме поместился стаст-секретариат по делам Царства Польского. Здесь жили министр и почти все чиновники его канцелярии. Когда в 1831 г. разразилась холерная эпидемия, по городу распространился слух, будто народ отравляют поляки. Тут на набережной стали собираться толпы народа, ждавшего случая ворваться в дом. Успокоение наступило лишь когда выяснилось, что ни у кого из задержанных 700 подозреваемых лиц не было найдено никаких ядовитых веществ. К тому же среди них не оказалось ни одного поляка.

Участок Мижуева другой своей стороной выходил на Моховую улицу[36]. В этой части дома жил Карамзин, здесь была его последняя квартира.

Оставив гостеприимный дом Муравьевой, Карамзин занял тут в августе 1823 г. небольшую квартиру во дворе, за которую платил 5 000 рублей — характерное сви-

детельство цен того времени[37]. «Новая городская квартира не очень мне нравится, — писал он А. Ф. Малиновскому, — однако, и чиста и тепла и суха. — Жалко было только расстаться с нашей бывшей доброй хозяйкой».

Тихо текла в Петербурге жизнь Карамзина. «Живем так бережно, что никого не зовем к себе обедать», — сообщал он приятелю. Утро историка начиналось обычно в девять часов, и после недолгой прогулки с женой он уходил в свой кабинет[38]. В шесть часов его дверь отворялась для всех. Осторожными шажками входил Жуковский. Он усаживался в широких креслах всегда где-либо поблизости от Софьи Карамзиной, старшей дочери историка, к которой он питал нежную симпатию. Шумно здоровался А. И. Тургенев, приносивший последние новости. Появлялся Дашков, церемонно раскланивался Греч. Украшением общества была жена Карамзина, Катерина Андреевна. «Если бы в голове язычника Фидиаса, — пишет Вигель, — могла блеснуть христианская мысль, и он захотел бы изваять мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости».

С гостями Карамзин оставался до 11 часов, а потом снова уходил в кабинет работать над последними томами своей «Истории». Современник, зашедший во двор мижуевского дома, восторженно записал: «Заглянул к верху — и сердце у меня забилось: вот где он пишет свою „Русскую Историю“».

Тут в доме Мижуева были написаны Карамзиным 10-й и 11-й томы. Тут же в его квартире они и продавались. Тургенев писал Вяземскому 14 марта 1824 г.: «На Семеновском мосту только и встречаешь, что навьюченных томами Карамзина «Истории». Уж 900 экземпляров в три дни продано».

Так, деля свое время между семьей и работой, Карамзин «допивал по каплям сладкое бытие земное». В

начале 1826 г. у него внезапно открылась чахотка. Чтобы дать ему возможность дышать свежим воздухом, его перевезли в Таврический дворец[39]. Стали готовиться к поездке в Италию. Но приготовления к отъезду оказались напрасны. 22 мая Карамзин скончался. Его похоронили с большой пышностью на Александро-Невском кладбище, где и поныне покоится его прах.

Последние десять лет своей жизни Карамзин провел в Петербурге. Но он не любил его шума. Старая патриархальная Москва влекла его к себе. «Там, — писал он, — я провел молодость, начал стариться, там должно мне и умереть; там земля дружелюбнее откроет мне свои недра, как старому знакомому».

В дни юности Карамзин в «Письмах русского путешественника» выражал восхищение республиканскими идеями Лафатера. Но прошли годы и образ мыслей Карамзина приобрел солидную благонамеренность, приличествующую историографу его величества. «Я не люблю молодых людей, которые не любят вольности, — писал он Вяземскому, — но не люблю и пожилых людей, которые любят вольность». По отношению к своим крепостным Карамзин был исключительно требователен. Он находил способы взыскивать с них оброк всякими мерами, «почитая малые доходы злом, ужаснейшим смерти для русского дворянина». Самодержавие «должно быть так же крепко, как и помещичья власть», — говорил Карамзин. Идею конституции для России он считал столь же нелепой, как «нарядить какого-нибудь важного человека в гаерском платье». Принадлежа к числу наиболее образованных людей своего времени, Карамзин, тем не менее, придерживался убеждения, что от просвещения «более убытков для казны, нежели выгод для отечества». В декабрьских событиях он усмотрел лишь злую напасть, а в участниках восстания — «безумных преступников». «Бог спас нас 14 декабря от великой беды. Это стоило на-

шествия французов!» — патетически воскликнул Карамзин.

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Эту колкую эпиграмму приписывают Пушкину[40].

В том же доме на Моховой, связанном с именем Карамзина, жил его близкий друг, поэт и литератор П. А. Вяземский. Его отец, умирая, поручил заботам Карамзина своего четырнадцатилетнего сына. Брак Карамзина с сестрой Вяземского — Катериной Андреевной Колывановой — сблизил их еще теснее. «О, мой второй отец, — писал Вяземский, — любовью, делом, словом, ты был мне отеческим примером и покровом». Любящий приемный сын поселился даже впоследствии в доме Мижуева на Моховой, где все напоминало ему его «второго отца».

Вяземский был неизменным гостем Карамзиных в годы своего пребывания в Петербурге. У них он познакомился с Пушкиным, дружба с которым оборвалась только со смертью поэта[41]. Вяземскому Пушкин посвятил свои известные строки:

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие в язвительной улыбкой.

Здесь на Моховой была холостая квартира Вяземского[42]. Когда же в октябре 1832 г. семья его переехала в Петербург, Вяземским был дан здесь вечер, на котором собрались все его литературные друзья. Тут решено было положить конец журнальной монополии Греча и Булгарина. В связи с этим возник вопрос об основании серьезного политического журнала, который отвечал бы запросам просвещенного русского читателя.

Поселившись с семьей в доме Баташевых на Гагаринской набережной, Вяземский, уезжая в конце 1834 г. за границу, передал свою квартиру А. С. Пушкину*.

Дружба Вяземского с поэтом была всем известна. Он оказался в числе тех друзей Пушкина, которым был разослан злостный анонимный пасквиль.

Тем не менее Вяземский никогда не был так близок к поэту, как Дельвиг, Нащокин или Жуковский. Их разделяла и разница материального положения, и различие во взглядах. Вяземский, крупный землевладелец, служил лишь «из чести», в то время как Пушкин литературу считал свой профессией, открыто заявляя, что ему «должно смотреть на поэзию, как на ремесло». «Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне», — писал он Вяземскому[44].

Потомок древнего, когда-то влиятельного рода, Вяземский с горечью видел, как некогда всесильное столбовое дворянство постепенно теряло свой престиж, оттесненное новой «безродной» аристократией. Сторонник конституционных идей, Вяземский принадлежал к тому кругу дворянства, которое стремилось к преобразованиям России «по западным примерам» Под влиянием французских просветительных идей он стал приверженцем культа «свободы».

Свобода! пылким вдохновеньем,
Я первый русский песнопеньем
Тебя приветствовать дерзал...
. . . .
Ты снимешь роковую клятву
С чела, поникшего земле,
И пахарю осветишь жатву,
Темнеющую в рабской мгле.

---

* Впоследствии Вяземский снова вернулся в дом Мижуева на Моховой улице[43].

В пафосе «Негодования» из-под пера Вяземского вылились вдохновенные строфы:

Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники природы,
Вам, притеснители! вам, низкие льстецы!

Сторонник идей декабристов, он, тем не менее, никогда не был и не выражал желания быть членом Тайного Общества. «Мое имя не вписано в его роковые скрижали», — отметил сам Вяземский. Его биограф Кутанов назвал Вяземского декабристом, «но без 14 декабря». «Морозный воздух в один из дней декабря на Сенатской площади оказался слишком резким для его легких, изнеженных кабинетным теплом остафьевского камина и он не был на площади», — отметил Кутанов.

Вяземский резко порицал жестокость «победителей», видя в судьях над декабристами не «слуг закона», а палачей. Но приподымая завесу будущего, он выражал твердую уверенность в том, что «из-под земли, в коей оно теперь невидимо, но ощутительно зреет, пробьется грядущее поколение во всеоружии мнений и неминуемости, которое не будет подлежать Следственной комиссии Левашевых, Чернышевых и Татищевых, тогда что сделает правительство, опереженное временем и заснувшее на старом календаре?»

Он прожил длинную жизнь, пережив Пушкина более чем на сорок лет. Среди новых поколений он был уже лишь «докучный гость, и лишний, и чужой».

В 30-х годах на Моховой улице в доме Мижуева, в ближайшем соседстве с Вяземским, жил неизменный друг Пушкина — Элиза Хитрово. Любимая дочь фельдмаршала Кутузова, Элиза вышла замуж за гвардейского офицера гр. Тизенгаузена. Три года спустя он погиб в битве под Аустерлицем. Через несколько лет его вдова

вышла замуж за генерала Хитрово, назначенного посланником во Флоренцию, и, потеряв второго мужа, возвратилась в Петербург.

Она поселилась на Моховой вместе со своей старшей дочерью Екатериной Тизенгаузен, для которой Пушкин написал в 1830 г., по случаю одного маскарада, известные стихи:

Язык и ум теряя разом,
Гляжу на вас единым глазом:
Единый глаз в главе моей.
Когда б судьбы того хотели,
Когда б имел я сто очей,
То все бы сто на вас глядели[45].

Элиза Хитрово широко раскрыла двери своего гостеприимного дома на Моховой для всех своих многочисленных друзей и поклонников. Ее гостиную посещали самые блестящие представители литературы и высшего света. «Лиза-голенькая», прозванная так за сохраненную ею до старости привычку показывать свои открытые плечи, поздно просыпаясь, принимала своих близких друзей, лежа в постели. Когда гость, допущенный в спальню, собирался, поздоровавшись с хозяйкой, сесть в кресло, Хитрово, как рассказывает В. Соллогуб, останавливала его: «Нет, не садитесь на это кресло, это Пушкина... нет, не на диван — это место Жуковского, нет, не на этот стул — это стул Гоголя — садитесь ко мне на кровать: это место всех!»

Хитрово была в полном смысле слова «другом друзей своих». Как отметил современник, в ней дружба «возвышалась до степени доблести» Н. М. Смирнов говорил, что Элиза возымела страсть к гению Пушкина и преследовала его несколько лет. Она надоела ему несказанно, но он никогда не мог решиться огорчить ее, оттолкнув от себя, хотя, смеясь, бросал в огонь, не читая, ее ежедневные записки; но, чтобы не обидеть ее самолюбия, он

не переставал часто навещать ее в приемные часы ее перед обедом».

Однако недавно обнаруженные в архиве Юсуповых письма Пушкина к Елизавете Михайловне свидетельствуют о том, что в жизни поэта она играла значительно большую роль, чем до сих пор предполагали. Их соединяла общность литературных интересов. Как оказывается, из рук Хитрово Пушкин обычно получал все новинки иностранной литературы — романы Виктора Гюго, Сент-Бева, А. Дюма, Бальзака и Стендаля, служившие затем предметом их переписки. Она же доставала для поэта интересовавшие его книги Тьера и Минье о французской революции, запрещенные в России.

В письмах к Хитрово Пушкин откровенно поверял ей свои взгляды на события в Европе, критиковал правительственные мероприятия. Он делился с нею своими мыслями о смерти Дельвига, об успехе «Бориса Годунова». Когда до нее дошла весть о женитьбе Пушкина, уже стареющая Элиза Хитрово сумела подчинить свои чувства голосу благоразумия. «Благодаря бога, у меня в сердце вовсе нет эгоизма, — писала она Пушкину в своем прощальном письме. — Я размышляла, я боролась, страдала и наконец достигла того, что сама желаю, чтобы вы поскорее женились... Отныне навсегда мое сердце, мои задушевные мысли останутся для вас непроницаемой тайной, а мои письма будут такими, какими они должны быть. Океан будет между мною и вами. Но рано или поздно — вы всегда найдете во мне и для вас и для вашей жены и для друзей — друга, непоколебимого, как скала, о которую все разбивается. Рассчитывайте на меня на жизнь и на смерть. Располагайте мною во всем и без стеснения. Я создана природою, чтобы на все идти для других и являюсь драгоценным созданием для моих друзей. Мне ничто не трудно, я иду говорить с влиятельными лицами, ни перед чем не отступаю и снова возвра-

щаюсь. Ни время, ни обстоятельства — ничто не может лишить меня бодрости; на тело мое не действует утомление сердца... когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, я все-таки останусь тем же существом — страстным, кротким и безобидным, которое за вами готово идти в огонь и воду, потому что так я люблю даже тех, кого люблю немного».

Свою горячую привязанность к поэту Елизавета Михайловна сохранила до последнего дня его жизни. Она защищала дорогую ей память Пушкина от злобной клеветы, сопровождавшей его имя за гробом. Хитрово умерла два года спустя после смерти Пушкина. «Она всегда стремилась отдать свое сердце чувству большему, чем то, которое дарили ей в ответ», — отметил один из современников в ее некрологе[46].

Вблизи мижуевскго дома на Моховой улице, там, где теперь стоит дом под № 27, в пушкинское время возвышался блестящий дворец, принадлежавший когда-то одному из родственников Екатерины I — Скавронскому.

Благодаря родству с всероссийской императрицей, Карл Скавронский, простой крестьянин, был пожалован графским титулом и награжден громадным состоянием. Внук Скавронского, Павел, большой чудак, окружил себя всякого рода прихлебателями — артистами, музыкантами и певцами. Он требовал, чтобы все в доме, в том числе и прислуга, обращались к нему и его гостям не иначе, как речитативом, по нотам. Выездной лакей, приготовившись по партитуре, сочиненной его барином, докладывал приятным альтом, что карета его сиятельства подана. Метрдотель извещал господ торжественным напевом, что кушанье готово, кучер объяснялся с графом густыми октавами. Во время парадных обедов и раутов графские слуги составляли дуэты, квартеты и хоры, так что гостям казалось, будто они едят и пьют в оперной

зале. Его сиятельство отдавал приказания слугам также в музыкальной форме, и гости, желая угодить ему, вели с ним беседы в виде вокальных импровизаций.

Этого помешанного на музыке чудака, не знавшего счета своим доходам, по желанию светлейшего князя Потемкина, женили на одной из княжеских племянниц, благосклонность которой уже наскучила Потемкину. Благодаря этой женитьбе 28-летний богач был назначен русским послом в Неаполь, где вскоре и умер. Его же дом на Моховой улице, еще при его жизни, был куплен Екатериной II для принцессы Августы Вюртемберг-Штутгартской[47], известной своей трагической участью[48].

После женитьбы великого князя Павла Петровича на принцессе Вюртембергской (будущей императрице Марии Федоровне) Екатерина разрешила приехать в Россию старшему брату Марии Федоровны — Фридриху Вильгельму Вюртембергскому, женатому на принцессе Брауншвейгской. Заслужив расположение Екатерины, принцесса получила от нее в подарок великолепный дом Скавронских на Моховой улице, специально отделанный архитектором Львовым для новых владельцев[49].

Жители Моховой с любопытством наблюдали выезд из дворца «Зельмиры», как назвала принцессу императрица (по известной трагедии Belloy). Ее сопровождал герцог, заполнявший всю карету своей необъятной фигурой. «Мужчина дюжой, рослой и очень ограниченный», принц так располнел на русских хлебах, что мог есть только за особым столом со специально сделанным для него выемом.

В своей семейной жизни супруги не обнаруживали согласия, живя, по словам Екатерины, «как кошка с собакой». Герцог вел себя с женой «дико и безобразно», и в доме на Моховой постоянно происходили «ссоры и драки». После одной из них принц, избив жену и вырвав у нее клок волос, запер ее в особой комнате. Но Зельмира

сумела написать письмо Екатерине и бросила его в форточку на улицу. Будочник поднял его, и оно дошло до дворца. Герцога услали в Выборг генерал-губернатором, очевидно, считая его нрав вполне соответствующим новым обязанностям. Когда же однажды Зельмира бросилась перед Екатериной на колени, умоляя о покровительстве, ей было разрешено временно поселиться в Зимнем дворце. Желая, однако, положить конец непрекращавшимся в городе толкам о скандалах в семье ближайших родных ее сына, Екатерина отослала Зельмиру в замок Лоде, под Ревелем, купленный когда-то для Григория Орлова. Этим замком управлял доверенный человек Орлова, отставной генерал-лейтенант Польман. В письме к Гримму Екатерина аттестовала Польмана как своего друга. «В Лоде, — сообщала императрица Гримму, — принцесса вела себя «с кротостью ягненка», заставив обожать себя тех немногих людей, которые ее окружают. Польман сделался ее преданным другом».

Рассказывали, что Зельмира часто собирала здесь у себя соседей-гостей. «Танцы продолжались за полночь и принцесса постановила правилом не прекращать их, пока не истреплются танцовальные башмаки». Здесь вскоре совершились события, так и оставшиеся неразгаданными.

21 сентября 1788 г. в Зимний дворец пришла эстафета о смерти Зельмиры, скончавшейся 24 лет «от застоя кровей, что с нею и прежде бывало». Обстоятельства, сопровождавшие ее внезапную смерть, породили множество толков. Говорили, что Зельмира была близка с Польманом и родившийся у нее ребенок был положен в гроб вместе с матерью, по-видимому убитой. Гроб принцессы был поставлен в углу местной кирки и простоял там до 1819 г., когда последовало распоряжение предать земле ее прах и расследовать все это дело. Но Польмана давно уже не было в живых, и что произошло тридцать лет назад, установить было невозможно. Когда в 1887 г.

чинили пол кирки и раскрыли гроб, там оказался, рядом с костями принцессы, скелет ребенка. Но в следующем году гроб из церкви исчез. Видимо, сочли нужным уничтожить все следы этого преступного дела.

Вскоре по отъезде принцессы в Лоде дом ее на Моховой был приобретен швейцарским выходцем Рибопьером. Передавали, будто бы Рибопьер, состоявший в дружбе с Лагарпом, был им рекомендован в наставники к великому князю Александру Павловичу. Рибопьеры вели здесь открытый образ жизни.

Сыну их, блестящему царедворцу Александру Рибопьеру, Павел I хотел одно время оказать честь, женив его на свой фаворитке Лопухиной. Брак этот не состоялся, но Рибопьер, за якобы оскорбительные отзывы о царской фаворитке, был посажен в секретный каземат Петропавловской крепости, мать и сестры его были высланы из Петербурга, все имущество, в том числе и дом на Моховой, — конфисковано. Рибопьеры вернулись в свой дом лишь с воцарение Александра.

После Рибопьеров домом этим владели Апраксины, сдававшие квартиры внаем. Здесь в 30-х годах, вместе со своей тещей, известной Архаровой, поселился А. Соллогуб, вынужденный после своего разорения продать особняк на Дворцовой набережной, будущий автор «Тарантаса» В. А. Соллогуб в своих записках вспоминал много лет спустя просторный бельэтаж этого дома и прекрасный сад, окружавший дом.

Тут же, в доме Апраксина, прожил свои юные годы известный акварелист Петр Соколов. Благодаря покровительству хозяина дома портреты Соколова вошли в моду. Переехав с Моховой на Васильевский остров, Соколов женился на дочери художника Брюлло Юлии, сестре знаменитого Карла Брюллова. Но он не порывал связи с домом на Моховой, и Апраксин был посаженым отцом на его свадьбе.

В 1837 г. бывший дом Зельмиры перешел к известному богачу, секунд-майору Ивану Акимовичу Мальцову, поселившемуся здесь со своей женой «Капочкой», как ее звали современники. По первому браку она была Пушкина, жена писателя Василия Львовича Пушкина, родного брата Сергея Львовича, отца поэта. Семейная жизнь Пушкиных сложилась неудачно. Вследствие «прелюбодейной связи мужа с вольноотпущенной девкой» брак этот, по требованию жены, был расторгнут, и она вышла замуж за Мальцова.

А. С. Пушкин хорошо знал владельцев дома. Он бывал у них в Москве, в собственном их доме в Варсонофиевском переулке. Поэт навещал тут племянника И. А. Маль- цова — С. С. Мальцова, молодого филолога, с которым он был связан добрыми отношениями[50].

Печальна была судьба этого прекрасного дома, созданного неким талантливым зодчим. Здание простояло нетронутым до начала 80-х годов. Оно состояло из двух этажей с рустованным низом. Посреди возвышался, как свидетельствуют документы, каменный «мезонин» в девять окон, увенчанный великолепным фронтоном с пышной мифологической сценой. Пилястры украшала второй и третий этажи.

Но к этому времени пошатнулось громадное состояние Мальцовых. Единственный сын И. А. Мальцова Сергей Иванович, отличавшийся огромной предприимчивостью, владелец сотен тысяч десятин земли и известных чугунолитейных, хрустальных и стекольных заводов, запутался в делах и, бросив все (на его заводах работало сто тысяч рабочих), уехал в Крым, где вскоре и умер. Его дом на Моховой перешел к некоему Корнилову, решившему его перестроить.

В 1882 г. дом надстроили и перестроили; от его облика XVIII века не сохранилось никаких следов. Когда вскоре участок был приобретен страховым обществом

«Россия», не тронутый дотоле сад был использован под двор, который окружили новыми строениями. Эпоха эклектики в истории развития стилей петербургского зодчества пополнилась в 1897 г. образцом «французского ренессанса», о чем с гордостью извещал своих читателей архитектурный журнал «Строитель». «На главном корпусе три купола, из которых средний напоминает мотивы (!) Лувра». Проект новых сооружений страхового общества был составлен проф. архит. Л. Н. Бенуа, производителем работ был назначен граф инженер П. К. Бергштрессер. В постройке участвовал также архитектор Н. Д. Прокофьев[51]. В настоящее время лишь выходящий на Моховую улицу садик при доме (№ 27—29) своими несколькими чахлыми деревьями напоминает о некогда прекрасном саде Зельмиры.

Тут же на Моховой улице стоял дом Кленберга, где жили одно время родители Пушкина.

Надо отметить, что описанная выше квартира Пушкиных в доме Клокачева на Фонтанке была далеко не единственной их квартирой в Петербурге. За годы своего пребывания в столице они переменили их множество. Кроме домов Клокачева и Устинова на Фонтанке (ныне №№ 185 и 92) нам известны квартиры С. Л. и Н. О. Пушкиных у Синего моста, в доме наследников капитана Касторского в Свечном переулке (теперь № 5) и в доме чиновника 8-го класса Ефимова на Гагаринской улице (ныне № 12)[52]. Эта склонность к частым переездам была особенностью Надежды Осиповны Пушкиной. Если по каким-либо обстоятельствам переезжать было неудобно, Надежда Осиповна стремилась изменить в квартире все, что было возможно. Не спрашивая согласия Сергея Львовича, она превращала кабинет в гостиную, спальню в столовую, меняла обои и пр.

Квартира в доме Кленберга была нанята для родителей А. С. Пушкина. К приезду стариков в Петербург, 15 декабря 1834 г., ремонт ее еще не был вполне закончен, и Пушкиным пришлось некоторое время прожить на Мойке в гостинице «Демут». Но уже 4 января 1835 г. Надежда Осиповна писала дочери, что письма ее «принес Александр на нашу новую квартиру (на Моховой в доме Кленберга)»[53].

А. С. Пушкин не часто баловал родителей своими визитами; в его холостые годы Надежда Осиповна, уже гордившаяся своим знаменитым сыном, заманивала его иногда к обеду любимым им печеным картофелем. Привлечь сына к обеду чем-либо другим было трудно, так как стол стариков Пушкиных был очень скуден. Дельвиг писал однажды Александру Сергеевичу:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла, яиц гнилых, —
Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.

Материальные обстоятельства родителей А. С. Пушкина были в это время очень затруднительны. Чрезвычайно красочно описал А. С. Пушкин свои беседы по денежным делам с родителями в начале 1834 г. — «На днях отец мой посылает за мной. Прихожу — нахожу его в слезах, мать в постели — весь дом в ужасном беспокойстве. «Что такое?» — Имение описывают. — «Надо скорее заплатить долг». — Уже долг заплачен. — «О чем же горе?» — Жить нечем до октября. — «Поезжайте в деревню». — Не с чем».

К этому времени былой щеголь Сергей Львович превратился уже в беззубого, слезливого старичка. Остатки его волос были всегда тщательно напомажены. Он старался бодриться и даже влюблялся в десятилетних девочек.

Что касается Надежды Осиповны, то ко времени переезда в дом Кленберга на Моховой она была уже боль-

на. Лето ей не принесло облегчения, а осенью произошел рецидив болезни. Она скончалась 29 марта 1836 года. Сергей Львович во время агонии жены рвал на себе в отчаянии волосы, и его должны были вынести в соседнюю комнату. Александр Сергеевич никогда не был близок с матерью, но ее смерть глубоко его поразила.

Надежду Осиповну похоронили в Святогорском монастыре, и не прошло года, как рядом с ней был опущен в землю гроб ее безвременно погибшего сына. «Они (Пушкин и его мать), — сказал современник, — лежат теперь под одним камнем гораздо ближе друг к другу, после смерти, чем были в жизни».

Еще при жизни матери, в 1833—34 гг., Пушкин жил одно время недалеко от Моховой, на Пантелеймоновской, в доме Оливье. Но до сих пор были тщетны попытки разыскать это здание.

Сохранившиеся документы гласят, что оно стояло «против Летнего сада», «близ Цепного моста», «поблизости Кочубеев»[54]. Но несмотря на такие достаточно, казалось бы, определенные указания, найти дом Оливье не удавалось[55]. Среди петербургских домовладельцев того времени действительно значатся Оливье, но принадлежавшие им дома расположены были совсем в других частях города[56].

Однако при ближайшем изучении мною плана города оказалось, что один из домов на бывшей Пантелеймоновской улице, ныне улица Пестеля, близ моста, принадлежал в то время некоему капитану Оливио. Теперь это дом № 5 по улице Пестеля, и он несомненно и является пушкинским домом Оливье (тогда № 113 Литейной части). Фамилия владельца дома в официальных изданиях значится Оливио[57], но в надгробии его жены на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры (ум. 1832 г.) она названа Любовью Александровной Оливье[58]. Так же называли домовладельца — «Оливье» и все квар-

квартиранты его дома. К. И. Опперман, вдова известного военного инженера, публикуя о своем отъезде за границу, сообщала: «...спросить в Пантелеймоновской улице против церкви в доме Оливье под № 113»[59].

Стоявший тут в конце XVIII века каменный дом принадлежал жене генерал-поручика Раутенфельда. В 20-х годах следующего столетия им владел титулярный советник Струбинский. В 30-х годах дом перешел в собственность санкт-петербургского плац-адъютанта, капитана лейб-гвардии Павловского полка А. К. Оливио, от которого в середине 40-х годов снова вернулся к Струбинскому. К сожалению, в городском архиве не сохранилось никаких документов, относящихся к этому дому, и установить поэтому в точности историю его не представляется возможным. В настоящее время это большой пятиэтажный дом на подвалах. Во времена Пушкина, насколько можно судить, он был трехэтажный. Потом его надстроили, приделали балконы и всячески приукрасили. Лишь во дворе уцелели от прежней отделки дома кое-какие детали. Из них обращает на себя внимание украшающая водопроводную трубу птичья голова, относящаяся к первой половине XIX века.

В доме Оливье, на «рубеже вечерней жизни», поселился Гнедич. Здесь была его последняя квартира[60]; он переехал сюда с Садовой улицы, где жил в течение ряда лет в казенной квартире в здании Публичной библиотеки[61]. Оставив в 1831 г. службу, он переехал в дом Оливье. Неустанно работая над своими рукописями, он проводил целые дни за своей рабочей конторкой, на которой стоял бюст Гомера, окруженный множеством изданий «Илиады» и «Одиссеи» на разных языках. Переводу «Илиады» на русский язык Гнедич посвятил двадцать лет. Это был подвиг всей его жизни. Современники высоко ценили достоинство перевода «Илиады».

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой, —

написал Пушкин.

Перевод Гнедича полон архаизмов; но образный, хотя и несколько риторический язык, а также точное соответствие стиха подлиннику дают право и поныне считать перевод Гнедича одним из лучших. Появление его в печати встретило ожесточенную критику, на которую Рылеев ответил следующими стихами:

На трудном поприще ты только мог один
В приятной звучности прелестного размера
Нам верно передать всю красоту картин
И всю гармонию Гомера...
Пускай завистники вокруг тебя шипят!
О, Гнедич! Вопли их, и дикие и громки,
Тобой заслуженной хвалы не заглушат:
Защитник твой — Гомер, твои судьи — потомки![62]

Гнедич любил читать свою «Илиаду» навещавшим его друзьям. «Вчера мы слушали 18-ю песнь «Илиады», — отметил современник, — которую Гнедич читал с необычайным одушевлением и напряжением голоса. Я, право, боюсь за него; еще несколько таких вечеров и он того и гляди начитает себе чахотку». Каменская, дочь известного скульптора Ф. Толстого, оставила в своих воспоминаниях следующее описание внешности поэта: «Руки у него были холеные, полные, белые, но зато лицо, ах ты, господи, что это было за лицо: мало того, что от страшной оспы у него вытек один глаз и на месте его осталась красная слезящаяся яма... Нет, у него еще по всему лицу, по всем направлениям перекрещивались какие-то толстые, мертвенного цвета нитки из тела... Ну просто страсть смотреть! И немудрено, что он, бедный, всю свою шею вплоть до затылка густо, густо обматывал складками огромного кисейного галстука. А какой он был добрый, ласковый, какой при разговоре голос у него был мягкий, приятный. Но зато, когда начнет бывало читать вслух свою «Илиаду», откуда у него что возьмется! То затянет, то завоет, то как лев зарычит, хоть вон беги».

Наружность Н. И. Гнедича не мешала ему «любить свет и большое общество». По словам Греча, «он охотно говорил о знакомстве и сношениях с знатными, любил называть барынь и барышень французскими полуименами: princesse Catiche, comtesse Bibi (разумеется, не в глаза) и чванился свойством своим с одним генералом более, нежели переводом Гомера»[63]. Желая даже внешним видом подчеркнуть свою принадлежность к высшему обществу, Гнедич, по словам Сушкова, очень заботился о своем туалете. «С утра до ночи во фраке и с белым жабо, приноровляя цвет своего фрака и всего наряда к той поре дня, в которой появлялся: коричневый или белый фрак утром, синий к обеду, черный — вечером, белье как снег: складки или брыжи — художественны, обувь, шляпа, тросточка, все безукоризненно. Цветные перчатки в обтяжку».

«Природа поставила Николая Ивановича Гнедича на той самой точке, где кончается глупость и начинается ум, — язвительно заметил о нем Вигель. — Но в него с этой точки довольно часто умел он делать набеги». Но в этом наивно претенциозном человеке билось благородное сердце. Когда после декабрьских событий 1825 г. целый ряд ближайших друзей и знакомых Гнедича был приговорен к ссылке, он оказался в числе тех немногих представителей петербургского общества, которые не отвернулись от осужденных. «Вам известно, — написал он К. Ф. Муравьевой после опубликования приговора над декабристами, — люблю ли я Никиту Михайловича. Более нежели многие, умел я оценить его редкие достоинства ума и уважать прекрасные свойства души благородной; более нежели многие, я гордился и буду гордиться его дружбою. Моя к нему любовь и уважение возросли с его несчастием...»[64].

В доме Оливье Гнедич был недолгим жильцом. Тяжелая болезнь вскоре приковала его к постели. «Я зашел к

нему 2 февраля, — рассказывал о последних днях своего друга Лобанов, — это было накануне его смерти. Мне сказали, что он сильно ослабел; однако же он диктовал духовное свое завещание. Он сидел неподвижно в креслах, долго всматривался в меня; наконец, узнал и легким движением головы приветствовал меня. Потом, по некотором молчании, взглянул на меня, тихо сказав: «Вспоминайте иногда обо мне». При этих словах друга, при голосе страдальца, чувствующего уже свое разрушение и спокойно ожидающего смерти, слезы невольно покатились по моему лицу»...

На следующий день Гнедич умер. Когда Лобанов подошел взглянуть в последний раз на рабочее бюро своего друга, ему бросился с глаза лист бумаги, на котором были набросаны следующие стихи:

Душа, душа, ты рано износила
Свой временный, земной на мне покров.
Не мудрено: по милости его ты получила
Из ветоши от щедроты богов.

Гнедича похоронили на кладбище Александро-Невской лавры; его гроб несли Вяземский, Плетнев, Греч, Крылов, Оленин и Пушкин.

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали, —

написал Пушкин о певце «Илиады».

В год смерти Гнедича, 1833 г., в доме Оливье поселился Пушкин. Квартира была нанята 1 сентября, во время отсутствия поэта, Натальей Николаевной.

Из пушкинской переписки известно, что эта квартира была большая и, хотя цена ее 4 800 рублей оказалась высокой, Пушкин квартирой своей был очень доволен[65].

Когда в 1834 г. Наталья Николаевна проводила лето в «Полотняном заводе», Пушкин, описывая ей свой образ жизни в Петербурге, сообщал, что поутру, проснувшись, он каждый день гуляет в халате и туфлях в Летнем саду. «Ведь Летний сад мой огород»[66]. Но уже в середине лета Пушкин сообщал жене о возникших у него неприятностях с домовладельцем. «Кстати о доме нашем: надобно тебе сказать, что я с нашим хозяином побранился, и вот почему. На днях возвращаюсь ночью домой; двери заперты. Стучу, стучу; звоню, звоню. Насилу добудился дворника. А я ему уже несколько раз говорил прежде моего приезда не запирать — рассердясь на него, дал я ему отеческое наказание. На другой день узнаю, что Оливье на своем дворе декламировал противу меня и велел дворнику меня не слушаться и двери запирать в 10 часов, чтоб воры не украли лестницы. Я тотчас велел прибить к дверям объявление... о сдаче квартеры — а к Оливье написал письмо, на которое дурак до сих пор не отвечал» (письмо от второй половины июня 1834 г).

Решив расстаться с домом Оливье, Пушкин принял предложение своего друга П. А. Вяземского, уезжавшего с семьей за границу, переехать в его квартиру на Гагаринской набережной в доме Баташева[67]. «С князем Вяземским я уже условился, — писал Пушкин жене. — Беру его квартеру. К 10 августа припасу ему 2 500 рублей — и велю перетаскивать пожитки...» Перевозить обстановку Пушкину было недалеко. Дом Баташева стоял на Гагаринской, впоследствии Дворцовой набережной, вблизи Фонтанки. В настоящее время это темный четырехэтажный дом № 32 по набережной Жореса[68]. Участком этим владел в конце XVIII века тайный советник Сошман. В начале следующего столетия он перешел ненадолго к надворному советнику Масальскому, а потом

к коллежскому асессору Баташеву, владельцу крупных металлических заводов.

«Выходцы из низов», Баташевы принадлежали к той новой буржуазии, которая на рубеже XVIII—XIX веков широким потоком вливалась в ряды разлагавшегося феодально-крепостнического дворянства. Родоначальником Баташевых был «тульские оружейные слободы кузнец» Иван Баташев, начавший работать в горнозаводском деле еще при Петре I. Его внуки владели уже 148 000 десятин земли и 36 000 душ крестьян. Резиденцией Баташевых являлся Гусевский завод во Владимирской губернии. Их грандиозный дворец с таинственными переходами и подземельями неоднократно возбуждал любопытство иностранных журналов и газет. Рассказывали, будто бы в одном из обширных подземелий дворца в екатерининское время чеканили монету. И когда однажды на завод прибыли внезапно власти для проверки слуха о «Баташевском монетном дворе», Баташевы, не колеблясь, приказали тотчас же засыпать все входы и выходы подземелья, заживо похоронив работавших там людей. Особенно прославился жестокостью своего характера Андрей Баташев. Неограниченный властелин в своем округе, Баташев, пользуясь своим влиянием в Петербурге, сменял губернаторов в Нижегородской, Владимирской и Рязанской губерниях.

Разгневавшись однажды на соседнего помещика, Баташев в его отсутствие явился в его деревню, разломал все постройки, увез их на подводах, крестьян угнал к себе на завод, а землю приказал распахать. Возвратившийся на другой день владелец долго не мог разыскать свою деревню, «колесил по пустынным полям, объясняя исчезновение наваждением дьявола, пока не убедился в действительном исчезновении деревни»[69]. И. Я. Афанасьев, живший в 20—30-х годах на Гусевском заводе, вспоминает, как однажды при ломке заводской стены в

ней обнаружили человеческий скелет. «По сохранившимся медным пуговицам, — записал Афанасьев, — следует думать, что замурованный был исправник или вообще какой-нибудь чиновник, не умевший угодить Андрею Баташеву».

Баташевы владели несколькими домами в Петербурге, в том числе и домом на Дворцовой набережной. В 1823 г. к крыльцу этого дома часто подъезжала карета Елизаветы Михайловны Хитрово, жившей тут со своими двумя дочерьми — Дарьей и Екатериной[70]. Младшая дочь была уже замужем за графом Фикельмон, впоследствии австрийским посланником в Петербурге, человеком умным и образованным, но старше жены на 27 лет. Е. М. Хитрово вернулась в то время из Италии для приведения в порядок своих запущенных дел. Это ей удалось при содействии Александра I, не оставшегося равнодушным к красоте Фикельмон.

Прошло десять лет, и от крыльца этого дома попрежнему отъезжала по вечерам карета... Но на смену «Лизе-голенькой», с ее двумя дочерьми, явился «трехбунчужный паша» Пушкин, выезжавший отсюда со своей женой и ее двумя сестрами. Пушкин жил здесь, по сообщению Бюлера, в первом этаже; его квартиру Н. О. Пушкина в письме к дочери назвала «прекрасной»[71]. Однако расценка ее была очень высока — 6700 руб. в год, что объяснялось громадными размерами квартиры. Пушкины платили за нее пополам с сестрами Наталии Николаевны — Александрой и Екатериной, поселившимися тут вместе с ними. Эта совместная жизнь материально облегчала Пушкина, но, по его собственному свидетельству, стесняла его как хозяина дома.

Квартира первого этажа баташевского дома, за время существования его, в плане своем не менялась (ее занимал в годы мировой войны «нововременский» реакционный журналист А. Столыпин, «брат премьер-министра»,

на редкость безвкусно изменивший ее отделку). Но по своему размеру, всего в несколько комнат (значительная часть первого этажа во дворе занята конюшнями), она совершенно не соответствует описаниям пушкинской квартиры. Следует вернее полагать, что поэт занимал второй этаж, но и там в отделке ничего не осталось от прошлого; без изменений сохранилась лишь хорошая старинная решетка балкона.

Предположение, что А. С. Пушкин жил здесь не в первом, а во втором этаже, находит себе подтверждение в появившемся 30 сентября 1832 г. в «СПб Ведомостях» объявлении о сдаче в баташевском доме барской квартиры в бельэтаже, в 30 комнат, с кухней, людскими и прочими службами. Видимо, эта квартира в бельэтаже, нанятая Вяземским по указанному объявлению, и перешла от него в 1834 г. к Пушкину.

Поэт прожил здесь на набережной два года, до осени 1836 г., когда неприятности с управляющим дома побудили его оставить квартиру. «Я вынужден был уехать из дома Баташева, где управляющий оказался негодяем», — писал Пушкин своему отцу в Москву в недавно опубликованном письме.

Баташевы еще долго владели домом у Прачечного моста, и лишь в 80-х годах он перешел к жене гвардейского полковника Скалона. Согласно архивным документам, баташевский дом первоначально имел три этажа на подвалах, с 11 окнами по фасаду. Здание заканчивалось наверху «каменным мезонином» в пять окон. В 1889 г. по желанию Скалон архитектор Нагель вытянул «мезонин» с полуциркульными окнами по всему фасаду. Первые же три этажа остались без изменений. Таким образом, встречающиеся в литературе сведения о совершенно новом, стоящем здесь на набережной здании, не вполне точны.

3 Зак.№ 125

В пушкинское время на Неве, на месте нынешнего въезда на Литейный мост, стояло каменное здание «Литейного двора», построенное в первую половину XVIII века. Дом просуществовал до 1850-х годов, когда его уничтожили при начале работ по сооружению Литейного моста. От этого «Литейного двора» и улица, именовавшаяся в старину Большой и Московской, получила название Литейной. «Я взглянул на Литейную, — записал в мае 1807 г. будущий член Тайного Общества Н. И. Тургенев, живший в дни своей юности тут поблизости на Фурштадтской, и сердце мое при сем имяни облилось кровью. Улица сия получила свое имя от литейного двора. Тут льют пушки, пули, бомбы и все, принадлежащее к артиллерии. — Что? Для чего льют это? Мать теряет сына и в нем всю свою надежду, утешение; молодая женщина делается вдовою, дети сиротеют. Война! Война! При сем имяни сердце чувствительное содрогается».

Стоявший рядом с Литейным двором последний дом по Гагаринской набережной, окруженный прекрасным садом, принадлежал в начале XIX века известному протоиерею Самборскому. Декабрист Розен отметил в своих «Записках», что Самборский, по образованию и понятиям своим, опередил современников на целое столетие. Православное духовенство негодовало на этого священника, брившего себе голову и носившего на улице сюртук и круглую шляпу. Двери его дома были всегда широко открыты для друзей, приезжавших к Самборскому из провинции. Здесь, в его доме, родился Сергей Муравьев-Апостол, родители которого жили тут некоторое время в один из своих приездов в Петербург. Будущий декабрист рос под благотворным влиянием матери, воспитывавшей детей в духе передовых идей. М. И. Муравьев-Апостол вспоминал, как в 1809 г. он с матерью и братом Сергеем возвращался из Парижа в Россию. Подъехав к русской границе, оба брата от радости бро-

сились обнимать сторожевого казака. «Я очень рада, — сказала им мать, — что долгое пребывание за границей не охладило ваших чувств к родине, но готовьтесь, дети, я должна вам сообщить ужасную весть, вы найдете то, чего не знаете: в России вы найдете рабов». Сергей Муравьев-Апостол, как известно, нашел смерть на кронверке Петропавловской крепости. С большим мужеством встретил он свою участь. Когда его престарелому отцу разрешили навестить сына в крепости, старый дипломат был глубоко потрясен, увидев сына в забрызганном кровью мундире, с раной на голове. «Я пришлю тебе, — сказал он. — другое платье». «Не нужно, — ответил, как передавали, заключенный, — я умру с пятнами крови, пролитой за отечество».

Дом Самборского больше не существует. О нем напоминает теперь лишь Самбургский переулок у Шпалерной, ныне улица Воинова, куда другой своей стороной выходил стоявший тут некогда дом, связанный с памятью декабриста[72].

Небольшое расстояние отделяло дом Самборского от стоявшего в начале Моховой улицы дома чиновника государственного казначейства Кандалинцева. Обширные владения его простирались вплоть до Гагаринской улицы, куда выходили сад с беседкой и двор.

Часть участка Кандалинцева, с домом на Моховую, перешла впоследствии во владение известного сенатора Кушникова, выстроившего в 1836 г. на Гагаринской, против Пустого рынка, новый большой дом, стоящий там и поныне. Это дом № 16 по Гагаринской улице, против Рыночной[73]. Окрашенное зеленой краской, трехэтажное здание это, с полукруглым окном наверху, типично для построек 20-х и 30-х годов. Характерна также строгая симметрия ряда входов в подвалы, в которых окна, к со-

жалению, повышены. Дом в настоящее время пришел в ветхость и ждет ремонта.

Дочь Кушникова, Софья Сергеевна, получила его в приданое при замужестве с Д. Г. Бибиковым, впоследствии министром внутренних дел. Старый сенатор, с дочерью и зятем, занимал дом на Моховой улице; в корпусе же на Гагаринскую улицу, в верхнем этаже, поселилась в конце 30-х годов тетка Кушникова Катерина Андревна Крамзина. Она жила тут в скромной и патриархальной обстановке. В гостиной, освещенной настольной лампой, стояла простая мебель, обитая красным, выцветшим от времени, штофом. Гостей угощали неизменным крепким чаем, к которому подавались густые сливки и хлеб с маслом[74].

В гостиной Карамзиной постоянными посетителями были Вяземский, Жуковский, А. Тургенев, Гнедич[75], Брюллов, Глинка и Даргомыжский. По словам А. Кошелева, это был единственный дом, «где не играли в карты и говорили по-русски». «В обществе Карамзиных, — писал Гроту Плетнев, — есть то, чего нигде почти нету: свобода, а следовательно и жизнь. Всякий выбирает себе пару, толкует, что хочет, никто не женируется, уходят и приходят как у себя. Это бывает всякий день и начиная с 9 часов до какого угодно за полночь. Это причиной, что у них собираются все интереснейшие лица города, особенно молодежь обоего пола». И дальше он сообщал: «Там было все, что только есть прекраснейшего между дамами в Петербурге, начиная с Пушкиной (поэта) до молодой Соллогуб»[76].

Как отметила А. Ф. Тютчева, салон К. А. Карамзиной в течение двадцати лет был одним из самых привлекательных центров петербургской общественной жизни, истинным оазисом литературных и умственных интересов среди блестящего и пышного, но мало одухотворенного петербургского света.

В весенний апрельский день 1840 г. у Карамзиных, передает В. Соллогуб, собрались гости. В столовой у чая суетилась немолодая уже Софья Карамзина, прозванная «Самовар-паша» за постоянное разливание чая. Кого-то, видимо, ждали. В дверях показался небольшого роста армейский офицер в старом дорожном сюртуке. Высокий лоб его был обрамлен черными мягкими волосами. Взгляд темных глаз был тяжел. Вся фигура его дышала внутренней силой и привлекала внимание.

Это был Лермонтов, приехавший к Карамзиным проститься перед отъездом в ссылку. Дуэль с де Барантом послужила причиной перевода его на Кавказ в армейский пехотный полк.

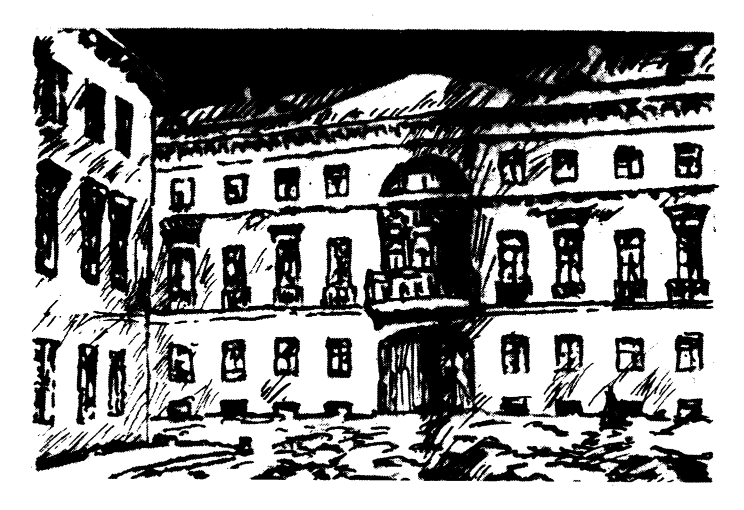
Лермонтова окружили и забросали вопросами. Он был молчалив и отвечал нехотя. Подали чай. Поэт подошел к окну и задумался. Вдали блестела Фонтанка. Летний сад ласкал взор молодой зеленью. По небу скользили легкие облака. Он взял брошенный кем-то лист бумаги и стал писать. Софья Карамзина попросила прочесть написанное. К ней присоединились другие. Поэт помолчал и стал читать:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную...

И когда он кончил, глаза его были влажны от слез.

На улице зазвенели бубенцы подъехавшей тройки. Лермонтов быстро простился и побежал вниз.

А через год на Кавказе, как холодно гласил документ, «Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов, 27 лет, убит на дуэли». На смертном одре, как описывал современник, Лермонтов «лежал с открытыми глазами, с улыбкой презрения, как бы живой, будто разгадав неведомую ему замогильную тайну. И он, такой невзрачный, в этот момент казался прекрасным».



Глава третья

Небольшой скромный дом № 11 по Лиговской улице[77], стоящий недалеко от Знаменской площади, ныне площади Восстания, принадлежал в начале XIX века некоей чиновнице Кудрявцевой, от которой перешел впоследствии к губернскому секретарю Модену.

В 20-х годах темная лестница дома заканчивалась наверху грязной стеклянной галереей. Во втором этаже, на обитой оборванной клеенкой двери была приклеена розовая обложка известного журнала «Благонамеренный». Тут помещалась контора журнала и здесь же жил его издатель, известный литератор и баснописец Александр Ефимович Измайлов[78].

Посетитель, входя в квартиру Измайлова, сначала попадал в комнату, исполнявшую назначение залы и столовой и всю заваленную запыленными пачками журналов. Эти же журналы наполняли и кабинет хозяина, освещавшийся итальянским окном, выходившим на

стеклянную галерею. Поднесенная кем-то в подарок бронзовая чернильница, украшавшая письменный стол, стояла без употребления; ее назначение выполняла старая банка из-под помады. У окна в клетках весело заливались канарейки. На просторной лежанке хрипела старая моська по имени «Венерка нумер второй», так как «Венерка нумер первый» кончила свои дни много лет назад[79].

В доме Модена Измайлов прожил целый ряд лет[80]. Тут он сочинял свои басни, эпиграммы и статейки. Он был несказанно ленив и журнал свой издавал неисправно. Бывали годы, когда подписчики еженедельного журнала получали только 35 или 40 номеров. Был случай, когда июньский номер вышел в октябре и им закончен был год. Но издатель самым добросовестным образом старался разъяснить подписчикам причины неисправности. Дочь, мол, в институт отвозили, много хлопот было; родственников добрых в далекий путь провожали и т. д. Однажды невыход в свет на масленице своего журнала Измайлов объяснил еще проще:

Как русский человек, на праздниках гулял:
Забыл жену, детей, не только что журнал.

Пушкин, не особенно благоволивший к Измайлову, написал на него в 1825 г. свою известную эпиграмму:

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей.
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.

Утром Измайлов повязывал себе шею аннинской лентой и торжественно надевал фрак с золотыми пуговицами. Облачившись затем в широкий синий сюртук, заменявший в те времена пальто, и украсив голову

цилиндром, он наполнял необъятные карманы сюртука всякими рукописями, газетами и журналами. «Александр Ефимович в должность пошел, — говорили лиговские лавочники, — время-то как идет, побаловаться чайком, выходит, можно». Они знали, что ленивый Измайлов на службу рано не пойдет.

А вернувшись, он набрасывал на себя старый засаленный халат и забыв по рассеянности снять свой орден, усаживался в кресло и подзывал к окну голубей. Приходили приятели-литераторы. Начинались обычные споры. Передавались на ухо, под «честным словом», рассказанные уже по всему городу последние журнальные сплетни. Равнодушно внимал всему этому Измайлов. «Лукьянушка! — кричал он вдруг оживившись, — принеси-ка нам троечку апельсинчиков, да захвати графинчик квасу». А потом, помолчав и как будто над чем-то раздумав, прибавлял: «Замени-ка квас, пожалуй, очищенной. Ко времени будет». Входил Лукьянушка с вечно пасмурным и недовольным лицом и нехотя ставил на стол угощение. «Добро, — говорил Измайлов, — приступим». И приступали.

Наряду с Измайловым большой популярностью в Петербурге пользовался известный в свое время стихотворец граф Д. И. Хвостов. Он жил в Литейной части в собственном доме на Сергиевской улице вблизи Литейного проспекта.

Ему принадлежал одно время дом № 567 в Московской части, вблизи Загородного проспекта[81]. Продав его, Хвостов приобрел на Сергиевской, через дом от Сергиевского собора, некрасивый желтый двухэтажный дом, который он занимал уже в первые годы XIX века (ныне № 18 по улице Чайковского)[82].

Сенатский обер-прокурор, затем сенатор и действительный тайный советник, Хвостов был притчей во языцех всего города благодаря страсти к сочинению стихов.

Эта его причуда вызывала жестокие насмешки, и молодые писатели обыкновенно оттачивали на нем свое перо. Без эпиграммы на Хвостова, говорил Вигель, как будто нельзя было вступить в литературное сословие.

Дом Хвостова на Сергиевской был известен всему городу. Хозяйка дома говорила только по-французски и, разодетая в пестрые блонды и шелка, церемонно принимала гостей; хвостовский дом славился гостеприимством; «скатерть тут не снималась с утра до поздней ночи». Хозяин отличался большим добродушием, и кошелек его был всегда открыт для нуждающихся. Многие литераторы и журналисты того времени охотно пользовались его поддержкой.

Хвостов тратил большие деньги на печатание своих сочинений, которые бесплатно раздавал затем своим друзьям. Когда Александр I, по его просьбе, выдал ему крупное пособие на выкуп заложенного имения, Хвостов прежде всего поспешил «тиснуть свои сочинения вторым изданием».

Здесь в его доме устраивались литературные чтения, главным образом, конечно, произведений хозяина, и тогда торжественно устанавливался длинный стол, покрытый малиновым сукном с золотыми кистями. В другие дни, когда в гостиной запросто играли в карты, Хвостов, наметив кого-либо из присутствующих, уводил его в кабинет и, усадив гостя в удобное кресло, в течение всего вечера развлекал его непрерывным чтением своих стихов. По утрам слушать его поэзию входило в обязанность секретаря. Однако говорили, что больше года никто этой роли не выдерживал.

Между тем «злополучный наперстник муз», величавший себя «мудролюбцем», искренно верил, что его «неувядающий гений» нашел уже всеобщее признание.

Знакомые Хвостова, подходя к Сергиевской, боязливо оглядывались по сторонам, опасаясь встречи с голубой

каретой графа. И если, завидев ее издали, они не сворачивали в сторону, карета тотчас останавливалась, из нее выходил сгорбленный старик в засаленном сером фраке. Вежливо стравившись о здоровье встреченного и не дождавшись ответа, он делал знак двум сопровождавшим его лакеям. И громадные гайдуки, одетые в расшитые серебром камзолы, тотчас доставали из своих необъятных карманов пачки листков последних произведений Хвостова. Он хватал свою жертву крепко под руку и начинал тут же на улице свое чтение:

Петрополь славный,
Афинам равный,
Царь невских волн,
Отрады полн...

А гайдуки угрюмо стояли по сторонам.

Против дома Хвостова, по другую сторону улицы Чайковского, на углу небольшого Друскеникского переулка, стоит длинный двухэтажный особняк (№ 29), принадлежавший до революции многочисленной семье Нарышкиных.

По сенатскому плану 1798 г. владельцем этого дама значился генерал-поручик Иван Абрамович Ганнибал. Это был сын знаменитого «петровского арапа», родной брат отца Надежды Осиповны Пушкиной. Участник наваринского боя, строитель Херсона, И. А. Ганнибал скончался холостым в Петербурге (вероятно, здесь же, в своем сергиевском доме) 12 октября 1801 г. Он погребен в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры, где на бронзовой плите надпись гласит:

Зной Африки родил, хлад кровь его покоил,
России он служил, путь к вечности устроил.
Стенящие о нем родня его и ближни
Сей памятник ему с усердием воздвигли.

За год до смерти Ивана Абрамовича брат его Петр Абрамович Ганнибал жил здесь на Сергиевской улице

в доме брата перед своим отъездом за границу[83]. Петр Ганнибал на много лет пережил своего брата, достигнув восьмидесятилетнего возраста. Вино было его слабостью. «Эй, малый, подай водки алой», — кричал он по много раз в день своему слуге.

Ближайшие годы после смерти Ивана Абрамовича дом его оставался в семье Ганнибалов. По табели 1804 г. он еще принадлежал «наследникам генерал-лейтенанта Ганнибала» и оценивался в 12 000 руб. К 1809 г. дом перешел к Неплюевым, простояв без изменений до середины 50-х годов, когда по просьбе нового владельца Трубецкого последовало разрешение на переделку дома. По проекту архитектора Боссе дом Ганнибалов был значительно изменен. В то время часть лицевой стороны участка слева занимал небольшой домик в три окна. Боссе уничтожил как его, так и стоящие рядом ворота и, вытянув главное здание по всему фасаду, прибавил шесть новых окон. Боссе передвинул также влево несколько измененный фронтон, украсил его гербом и протянул шесть пилястр. В 1875—76 гг. при новых переделках архитектором Гедике был уничтожен старый сад.

Такова история ганнибаловского дома. Надо думать, что Надежда Осиповна Пушкина знала этот дом. Знал его, вероятно, и А. С. Пушкин.

Наступил 1812 год. Стояла сырая мартовская ночь. В подъезде небольшого скромного дома в конце Сергиевской улицы заскрипела дверь. На крыльце показались две темные фигуры. Их ожидала почтовая кибитка. Один из вышедших, пожилой человек, медленно оглянул дом, как бы прощаясь с ним. Его спутник, полицейский офицер, вскочив в кибитку, крикнул: «Пошел!» — Сани тронулись. Это увозили в ссылку Сперанского.

Теперь здесь давно все перестроено, и лишь дом на левой стороне Сергиевской (ныне улица Чайковского, № 62), на углу Потемкинской, напоминает о прошлом.

В конце XVIII века на этом месте стоял небольшой дом Ф. И. Елагиной. Он принадлежал ей до 1804 г., перейдя к статскому советнику Борзову. В 1809 г. его купил М. Сперанский[84]. Дом был тогда еще двухэтажный; на Сергиевскую улицу выходило одиннадцать окон и на Потемкинскую — восемь. Низ дома был рустован, балкон поддерживался четырьмя колоннами. В первом этаже были спальня дочери и тещи Сперанского, зала, гостиная, столовая и приемный кабинет, весь уставленный шкафами с книгами. Рабочий кабинет, служивший Сперанскому спальней, находился во втором этаже.

В роковой день 17 марта Сперанский поздно вернулся домой. Все уже спали. Тихо ступая по паркету, тогда еще редкой роскоши в Петербурге, Сперанский поднялся в свой кабинет. Там его ожидал министр полиции Балашов, объявивший ему повеление о немедленном выезде из Петербурга. Но Сперанский уже знал о предстоящей ему ссылке. Он спокойно сел к столу, собрал несколько нужных бумаг и, написав короткое письмо Александру, вручил его министру. Потом спустился вниз, где спала его дочь; ему пришлось пережить тяжелую сцену прощания с нею. Вырвавшись из ее объятий, он набросил на себя шубу и вышел на крыльцо.

Лошади уже ждали. На углу Кирочной Сперанский взглянул на дом злейшего врага своего Аракчеева[85]. В окнах, как всегда, горел свет, двигались тени. Он поднял воротник, закрыл глаза и задумался. И вся сцена его последнего свидания с Александром воскресла перед ним... Сперанский всю жизнь хранил об этом упорное молчание и даже на вопрос своей любимой дочери ответил: «Про то ведает и в том должен быть судьей один лишь бог».

На следующее утро у дома Сперанского вместо обычных придворных карет и царских фельдъегерей сновали полицейские, сваливавшие на простые дровни кипы его бумаг. Сильный ветер разносил по всей улице небрежно связанные пачки. Это было все, что осталось от вчерашнего могущества, от грандиозных проектов.

Дом Сперанского на Сергиевской продолжала оставаться в его владении и после ссылки. Он был продал сенатору Н. П. Дубенскому в 1822 г. После смерти нового владельца он был значительно перестроен в 1841 г. его вдовой. По проекту архитектора Шарлеманя 2-го его увеличили на пять окон по Сергиевской улице и надстроили третий этаж. В 1842 г. дом вытянули дальше по Таврической улице, превратив в большое строение. Маленький домик Сперанского перестал существовать.

Подобно тому, как громадный дом Дубенских заменил собою домик Сперанского, на Фурштадтской, ныне улице Лаврова, для постройки многоэтажного дома № 20 пожертвовали маленьким домом Алымовых, в котором жил когда-то Пушкин.

Первые сведения об этом участке относятся к концу XVIII века, когда он принадлежал штаб-лекарю Биргеру; в 1804 г. им владела жена генерал-майора Борисова, а затем генерал-майор А. А. Беклешов, брат известного генерал-прокурора. К 20-м годам дом принадлежал тит. советнице Алымовой и кол. асессорше Духовской (сестры?). Вскоре Екатерина Петровна Алымова осталась единственной владелицей дома[86]. Урожденная Чернышева, она, видимо, не принадлежала к роду гр. Чернышевых. Возможно, однако, что она была с ними в родстве, так как в доме Алымовых жил одно время декабрист Ф. Ф. Вадковский, мать которого, Екатерина Ивановна, была урожденная гр. Чернышева.

Сын сенатора, Вадковский принадлежал к аристократической семье, издавна связанной с придворными

кругами. Богатство и связи открыли перед Вадковским блестящую карьеру. Он поступил в кавалергардский полк, «самый аристократический во всей российской армии». Сблизившись в наиболее свободомыслящими кругами молодежи, Вадковский скоро примкнул к Тайному Обществу. Одаренный пылким воображением и неутомимой жаждой деятельности, он стал центром, вокруг которого группировалась военная молодежь.

Тут, в скромном домике Алымовой на Фурштадтской часто собиралась «буйная ватага» кавалергардов и их друзей. Пламенное красноречие Вадковского вселяло в его слушателей веру в осуществимость его фантастических планов. Ту за бутылкой лафита было создано немало проектов спасения России от «тиранства». Путь к свержению «самовластья» Вадковский видел в организации грандиозного общества, призванного уничтожить «самодержавную Россию». Убежденный в необходимости цареубийства, он создал смелый план уничтожения всей царской семьи на одном из придворных балов в парадном зале Зимнего дворца, после чего, по мнению Вадковского, следовало немедленно провозгласить республику перед толпой растерявшийся царедворцев.

Пестель сразу высоко оценил значение Вадковского для целей Тайного Общества. Весной 1824 г. тут в доме Алымовой состоялось известное совещание, на котором присутствовали Пестель, Вадковский, Матвей Муравьев-Апостол и Свистунов. Здесь Пестель возвел Вадковского и Свистунова в почетное звание «бояр», поручив им совместно с Муравьевым-Апостолом руководство организованной им в Петербурге новой группой, а также заботы о дальнейшем увеличении числа ее членов. «Память о моих клятвах наполняет мое сердце, — вскоре писал Вадковский Пестелю. — Я живу и дышу только той священной целью, которая нас объединяет». Однако власти, предупрежденные о вредном направлении умов

гвардейской молодежи, внимательно следили за квартирой Вадковского на Фурштадтской. « С меня не спускали глаз ни на минуту, — писал Вадковский Пестелю, — фамилии лиц, которые бывали у меня или которых я посещал, записывались».

Вскоре Вадковский был переведен из Петербурга в армейский полк за «неприличное поведение». Ревностный поклонник идей Руссо в письмах к Пестелю с нескрываемым пренебрежением отзывался о своих новых товарищах по полку, «людях, большею частью бедных и незнатных, живущих одним только жалованьем». Пылкость натуры Вадковского вскоре послужила причиной гибели его и ряда его сотоварищей. Приняв в члены Общества унтер-офицера Шервуда, он легкомысленно посвятил его во все тайны Общества. Вадковский доверил Шервуду конфиденциальное письмо, предназначенное Пестелю, и даже открыл ему местонахождение списка всех членов Южного Тайного Общества, хранившегося в футляре от скрипки. Шервуд же оказался предателем. Все планы заговорщиков тотчас стали известны властям. 10 декабря 1825 г. первым был арестован Вадковский. Он был заключен в Петропавловскую крепость, где содержался «совершенно секретно». На первый допрос его повели «с закрытым лицом, под строжайшей тайной». Осужденный к вечной каторге, замененной двадцатью годами, Вадковский умер в 1844 г. от чахотки в Оёке, близ Иркутска.

«Умер Вадковский, — записал его товарищ по ссылке В. Кюхельбекер, — человек, с которым я когда-то жил душа в душу, — что же, мне, право кажется: будто я его никогда не знавал; ум-то, правда, говорит: «Вот ты по чему бы должен грустить, вот какую ты понес потерю — последний, или по крайней мере один из последних, кто тебя любил, покинул тебя навсегда», и пр. Но сердце

окаменело: бьешь в него, требуешь от него воды живой, сладких, горьких слез, — а сыплются только искры...»

Весной 1832 г. в небольшой дом Алымовой, вероятно в ту самую квартиру, которую ранее занимал Вадковский, переехал в Галерной улицы Пушкин. Он, очевидно, давно знал Алымовых, так как его хозяева были сродни опочецкому помещику Алымову, через посредство которого Пушкин поддерживал связь с родными местами. «Г. Алымов отправляется сегодня ночью в Псков и Тригорское, — писал Пушкин П. А. Осиповой в середине мая 1832 г., — и он любезно взял на себя передать вам это письмо...» И тут же Пушкин прибавлял: «По поводу крещения, — я тоже буду вскоре иметь его на Фурштадтской в доме Алымова». 19 мая у него родился здесь первый ребенок — дочь Мария. Поздравляя Пушкина с новосельем, Гнедич писал ему 26 того же мая:

Пушкин, прийми от Генедича два в одно время привета:
Первый привет с новосельем; при нем по обычаю предков,
Хлеб-соль прими ты, во образе Гекзаметрической булки*.
А другой привет мой — с счастьем отца, тебе новым,
Сладким, прекрасным и самой любви удвояющим сладость

Сюда, в дом Алымовой, Хвостов прислал Н. Н. Пушкиной написанное им и положенное кем-то на музыку стихотворение «Соловей в Таврическом саду», оканчивавшееся куплетом:

Любитель муз, с зарею майской
Спеши к источникам ключей:
Ступай подслушать на Фурштадтской,
Поет где Пушкин-соловей.

Но недолго пел на Фурштадтской «пушкинский соловей». По возвращении осенью 1832 г. из Москвы, поэт

* Она, как часто случается с Гекзаметрами, изломалась — Прим. Н. И. Гнедича.

переехал отсюда с семьей на Б. Морскую, в дом Жадимеровского. В письме к Нащокину от 2 декабря 1832 г. Пушкин написал: «Приехав сюда, нашел я большие беспорядки в доме, принужден был выгонять людей, переменять поваров, наконец, нанимать новую квартеру...»

Как свидетельствуют документы городского архива, алымовский дом в пушкинское время представлял собой небольшое двухэтажное здание, с каменным низом и деревянным вторым этажом. В начале 20-х годов он был заново отделан. Старая черепичная крыша заменена железной. Первый этаж был предназначен под торговые помещения; во втором этаже была барская квартира в 14 комнат, с паркетными полами, кухней, людской и прачечной[87]. В архиве сохранились два чертежа фасада алымовского дома, исполненные в 1832 и 1849 гг. Последний чертеж, как наиболее сохранившийся, воспроизводится при настоящей работе[88].

Алымовский домик просуществовал без каких бы то ни было изменений до 70-х годов. В 1875 г. нижегородская купчиха Зайцева, новая владелица участка, решила использовать ценность его, для чего, как гласят документы, «ветхие строения» были снесены. На месте алымовского дома архитектором Богомоловым было возведено безвкусное четырехэтажное здание в русском стиле, столь излюбленном впоследствии Александром III. Через восемь лет Богомолов надстроил на доме пятый этаж[89].

Через два дома от Алымовых, ближе к Литейному проспекту, на Фурштадтской улице стоял когда-то скромный двухэтажный дом в восемь окон, окрашенный зеленой краской. Теперь это дом № 14 по ул. Петра Лаврова, принадлежавший до революции председателю Совета министров И. Л. Горемыкину, одному из крупных представителей реакционного правительства Николая II. В 1874 г. на этом доме надстроили третий этаж,

но зато первый почти наполовину ушел к нашему времени в землю.

В начале XIX века дом этот принадлежал тайному советнику Сушкову, от которого перешел к известному адмиралу А. С. Шишкову. Состоя государственным секретарем времен войны 1812 г., он прославился составлением знаменитых манифестов Александра I. Текст их изобиловал евангельскими цитатами, что и послужило поводом для злой шутки Жозефа де Местра, заметившего , что «токай вино чудесное, но не льют же его в суп». Узкий консерватор, яростный защитник крепостного права, Шишков скоро обратил на себя благосклонное внимание Александра I. Ему был предложен портфель министра народного просвещения. С первых же шагов новый министр ревностно принялся за «скорое и тихое потушение карбонарства». Шишков в нескрываемой ненавистью относился ко всякого рада просветительным начинаниям, усматривая всюду лишь «школы разврата». Полагая, что «обучать грамоте весь народ или несоразмерное оному количество людей принесло бы более вреда, чем пользы», ревностный министр запретил печатание книг по философии и геологии, а также все, что могло показаться оскорбительным для какого-либо (!) правительства или вероисповедания. Авторы подвергались преследованиям не только за напечатанные книги, но и за рукописи представляемые на просмотр цензуре. Этот усердный гонитель просвещения оставался на своем посту до 1828 г. Однажды на докладе у Николая I Шишков от старческой слабости не смог отпереть портфеля с бумагами. «Вы много и доблестно трудились, — сказал ему Николай. — Не пора ли вам успокоиться?»[90]

Выйдя в отставку, Шишков вернулся в свой домик на Фурштадтской, который он оставил, переселившись в великолепную министерскую квартиру, сначала против

дворца, а потом в Почтовом доме, на Почтамтской улице[91]. Семидесяти лет он женился вторым браком на Юлии Лобаржевской, и дом его наполнился шумом и весельем. Каждое воскресенье тут бывал парадный обед, а по вечерам танцевали французскую кадриль. Случалось нередко, что Шишкову вдруг делалось худо, и тогда его тут же в танцевальном зале укладывали на диван и специально приставленная к нему женщина начинала растирать ему виски и темя. Ее звали «чесалкой», и она, как тень, следовала за Шишковым, еле передвигавшим ноги[92].

По утрам, сидя за письменным столом в своем голубом кабинете, худой, белый, как лунь, старик с затаенной надеждой поглядывал на улицу — не едет ли за ним из дворца долгожданный фельдъегерь. И он мечтал уже о том, как спасет гибнущую без него империю; воображение рисовало проекты будущих реформ... Но напряжение мысли вызывало прилив крови и приходилось звать «чесалку».

Недалеко от дома Шишкова, на углу Спасской, ныне ул. Рылеева (№ 1), и Басковой улиц[93], против Спасо-Преображенского собора, стоит красивое здание начала XIX века, украшенное колоннами. Громадный дом этот связан с трагической судьбой декабриста Булатова.

В первые годы XIX века участок этот принадлежал известному врачу Г. Ф. Соболевскому, составителю выдающихся естественно-исторический коллекций.

После смерти Соболевского в 1807 г. его наследники продали все его ботанические, зоологические и минералогические коллекции казне, приступив на вырученные от продажи деньги к постройке трехэтажного дома на Спасской улице. Однако средств на окончание постройки не хватило; крупная сумма, взятая Соболевским в долг, не была уплачена в срок, и участок перешел во владе-ние одного из главных кредиторов — Булатовой,

закончившей после 1815 г. постройку этого здания[94]. Булатова скончалась в 1822 г., а через три года умер и ее муж, известный боевой генерал М. Л. Булатов.

Старший сын их, Александр Михайлович, несмотря на свои молодые годы уже занимавший должность командира егерского полка, приехал в Петербург из Перми для раздела с братьями наследства. Прослужив перед тем долгое время в Петербурге, в л.-гв. гренадерском полку, он имел множество знакомых в офицерских кругах столицы. Благодаря старым друзьям, в особенности Рылееву, товарищу по кадетскому корпусу, Булатов оказался вовлеченным в Тайное Общество. В его доме на Спассой ул. проводили долгие часы Панов, Н. Бестужев и Щепин-Ростовский. Когда же, накануне восстания, у Рылеева собрались виднейшие члены Общества для обсуждения подробностей выступления, Булатову, как одному из старших в чине, предложено было принять на себя, совместно с Трубецким, звание «диктатора», от которого он отказался.

Вооруженный пистолетами и кинжалом, Булатов отправился 14 декабря на Сенатскую площадь, с твердым намерением убить Николая I. Проявив в 1813—15 гг. совершенно исключительную храбрость, награжденный за воинские подвиги «золотым оружием», он долго простоял вблизи Николая на Адмиралтейском бульваре, не найдя в себе решимости нанести удар. После подавления восстания, узнав об аресте своих близких друзей, Булатов сам явился в Зимний дворец. Отправленный оттуда в Пертопавловскую крепость, он решил обречь себя на голодную смерть. Булатов вынес ужасные муки, отказываясь от пищи. Терзаемый голодом, он изгрыз себе до крови пальцы. Наконец, однажды вечером часовые услышали стон в его каземате. Когда туда вошли — Булатов лежал недвижим на полу, разбив себе голову о стену.

Младшему брату декабриста в память заслуг отца было выдано для похорон тело умершего. Завернув его в свою шинель, он привез его в булатовский дом, на Спасскую улицу. Похороны трагически погибшего декабриста привлекли массу народа. Впереди процессии вели верховую лошадь Булатова под траурным покрывалом, затем шли длинной вереницей, в глубоком трауре, слуги булатовского дома, за ними следовала колесница, запряженная шестью лошадьми; на гробе лежала полученная за храбрость золотая сабля. На могиле Булатова на Большеохтинском кладбище бывшие товарищи его по полку поставили ему памятник[95].

После смерти Булатова брат его, не желая служить Николаю, вышел в отставку и продал дом на Спасской улице А. Лисицыну, купившему одновременно и второй дом Булатовых, стоящий тут же рядом. В нем издавна помещалась писарская команда Экономического Комитета военных поселений. Тут в тяжелых условиях прожил несколько лет молодой писарь Серяков. Впоследствии известный русский гравер, он долго вспоминал беспросветные дни, проведенные в лисицынском доме, когда приходилось работать целые ночи напролет, спать на жестком полу, получая жалованья 5 руб. 40 коп. в год. В 70-х годах в доме Лисицына, на углу Басковой улицы, помещалась редакция «Русской Старины», а позднее «Русского Богатства».

Недалеко от булатовского дома, в начале Кирочной улицы, за зданием школы, стоит скромный дом № 10 известного архитектора Федора Демерцова. Ряд зданий, возведенных им в Петербурге на рубеже XVIII—XIX веков, свидетельствует о его незаурядном таланте. К этому периоду, очевидно, относится приобретение Демерцевымд ома на Кирочной улице, принадлежавшего ему уже в 1798 г. После его смерти дом перешел к некоему кол. асессору Кушакевичу. Здание представляло собою

двухэтажную постройку с небольшим мезонином в три окна, украшенным фронтоном. В 1826 г. Кушакевич вытянул мезонин по всему фасаду и украсил здание аттиком. В таком виде оно уцелело до нашего времени. В 1917 г. им владели еще Кушкевичи.

В этом доме в 20-х годах XIX столетия жил одни из образованных людей своего времени Михаил Александрович Салтыков. С ним жила его дочь Софья Михайловна, предмет несчастной любви декабриста Каховского.

В глуши Смоленской губернии, куда приехали на лето Салтыковы, — завязался этот идиллический роман между девицей из чопорной аристократической семьи и нищим армейским поручиком в отставке. Тщеславию юной героини петербургских гостиных приятно льстила любовь восторженного поручика. «Ах, дорогой друг, — писала Салтыкова своей приятельнице, — что это за человек! Сколько ума, сколько воображения в этой молодой голове. Сколько чувства, какое величие души, какая правдивость! Сердце его чисто как кристалл. Я почувствовала, что полюбила его всею душою...» Однако «ослепление чувств» длилось недолго. Салтыкова знала, что отец никогда не даст своего согласия на ее брак с Каховским. Возвратившись в Петербург, она благоразумно примирилась со своей участью, а светские развлечения скоро вытеснили из ее сердца образ злополучного героя. Вернувшись в Петербург осенью 1824 г., Салтыковы поселились на Литейном проспекте, в доме Гассе, на углу Бассейной. Памятная доска свидетельствует теперь, что тут жил когда-то Некрасов[96].

Между тем Каховский никак не мог примириться с грустным финалом своей любви. В его пламенном воображении рисовалось тайное венчание и бегство на удалой тройке. Он последовал за Салтыковыми в Петербург, и тут у ворот дома Гассе можно было часто видеть высокую фигуру, закутанную в плащ. Каховский

с таинственным видом передавал прислуге Салтыковых письма для своей возлюбленной. «Одно из двух, — писал он ей, — или смерть или я счастлив вами: но пережить я не умею. Ради Бога, отвечайте, не мучьте меня, мне легче умереть, чем жить для страдания. Ах! Того ли я ожидал? Не будете отвечать сего дня, я не живу завтра — но ваш я буду и за гробом». Салтыкова отослала это письмо обратно нераспечатанным, «не имея ни малейшего желания прочесть его», — как поведала она своей приятельнице.

«Поверженный в совершенное уныние, похудевший, одним словом, как мертвец», грустно влачил свои дни в Петербурге Каховский. К этому тяжелому периоду его жизни относится его сближение с членами Тайного Общества.

Отдавшись ему всей душой, Каховский участвовал в собраниях у Рылеева и, поглощенный идеей свержения «самовластья», сам вербовал новых членов Общества. Терпя крайнюю нужду, Каховский часто прибегал к помощи своих друзей по Обществу. Он страшился их презрения и все писал Рылееву: «Спаси меня. Я не имею сил более терпеть все неприятности, которые ежедневно мне встречаются... Я не имею даже чем утолить голод. Вот со вторника до сих пор я ничего не ел...»

Когда миновали события 14 декабря и Каховский был арестован как один из главнейших участников восстания, Софья Михайловна была искренно опечалена его судьбой. К тому времени она уже была женой молодого поэта Дельвига. «Это не пылкая страсть, какую я чувствовала к Каховскому, — что привязывает меня к Дельвигу, — писала она, — это чистая привязанность, спокойствие, восхищение, что-то неземное...»

Каховский, присужденный к смертной казни, нашел смерть на кронверка Петропавловской крепости. Его сотоварищи до конца не изменили своего прене-

брежительного отношения к нищему армейцу. Даже близость смерти не соединила их. Осужденные, выведенные на казнь, братски обнялись друг с другом. И только Каховскому, гласит легенда, никто не протянул даже руки[97].

Молодые супруги Дельвиги первоначально поселились на Миллионной улице, ныне Халтурина, в доме Эбелинг. Они прожили тут около года, переехав затем на Загородный проспект в дом купца Кувшинникова (теперь это участок под № 9, близ Пяти углов), где поэт жил еще в свои холостые годы[98].

Отсылая Бенкендорфу пушкинских «Цыган» и отрывки из «Онегина», Дельвиг указал свой новый адрес: «на Владимирской улице, близ Коммерческого училища, в доме Кувшинникова»[99]. Дельвиг часто выполнял подобные поручения Пушкина, с которым его связывали с юношеских лет самые сердечные отношения. В годы совместного пребывания в лицее Дельвиг был первым ценителем дарований юного поэта. Глубокая разница в характере и наклонностях двух друзей не препятствовала их тесному сближению.

Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души,
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

«Пушкин, — записал один современник, — быстрый сильный, иногда свирепствующий поток, шумно падающий из высоких скал в крутое ущелье. Дельвиг — ручеек, журчащий тихо через цветущие луга и под сенью тихих ив». Дельвига, прибавлял он, надобно лично знать, чтобы понять его поэзию[100].

Один из современников так описал внешность Дельвига: «Это был молодой человек, довольно полный, в коричневом сюртуке. Большие, осененные густыми, темными бровями, глаза блестели сквозь очки в черной оправе: довольно полное, но бледное лицо было

задумчиво и вообще вся наружность выражала несвойственное летам равнодушие».

Искавший тишины и уединения, Дельвиг не скрывал своей истинно поэтической беспечности и лени:

> Блажен, о юноша! кто, подражая мне,
> Не любит рассылать себя по всем журналам,
> Кто час любовников пропустить в сладком сне
> И круг простых друзей предпочитает балам.

«В лицее, — вспоминает Дельвиг, — мне запрещали носить очки; зато все женщины казались мне прекрасны; как я разочаровался после выпуска».

Свадьба с Софьей Салтыковой состоялась 30 октября 1825 г. Поэт Баратынский, ближайший друг Дельвига, некогда сосед его по холостой квартире в ротах Семеновского полка, получив извещение о предстоящем браке поэта, писал ему:

> Ты распрощался с братством шумным
> Бесстыдных, бешеных, но добрых шалунов,
> С бесчинством дружеским веселых их пиров
> И с нашим счастьем вольнодумным..[101]

Пушкин по поводу предстоящей женитьбы своего старого друга написал ему: «Целую руку твоей невесте и заочно люблю ее, как дочь Салтыкова и жену Дельвига». Однако новая обстановка жизни Дельвига несколько разъединила старых друзей. «Черт побери вашу свадьбу, свадьбу вашу черт побери[102]. Когда друзья мои женятся, им смех, а мне горе», — писал Дельвигу Пушкин из Михайловского.

Жене Дельвига было около 20 лет. «Она была очень добрая женщина, — сообщал современник, — очень миловидная, симпатичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно было выносить только при его хладнокровии. Она много оживляла общество, у них собиравшееся». Два раза в неделю, по средам и

воскресеньям, у Дельвигов собирались друзья. Наиболее частыми посетителями были лицейские товарищи хозяина дома — Яковлев, Илличевский, Лангер, Деларю. Тут же бывали и литераторы и писатели, связанные с Дельвигом работой в ряде изданий: здесь были «своими людьми» Вяземский и Жуковский. Тут одноглазый Гнедич, разодетый по последней моде, нараспев читал гнусавым голосом свои гекзаметры. В углу мирно дремал Крылов. Рядом зевал Измайлов, с нетерпением поглядывавший на двери столовой, где гостей ожидал отличный ужин.

Незадолго до своей смерти здесь запросто бывал молодой поэт Д. Веневитинов. Частым гостем Дельвига был одно время и Мицкевич. «Вот кто был постоянно любезен и приятен... — записала А. П. Керн. — Он был так мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял...»[103] Двоюродный брат хозяина дома А. И. Дельвиг также отмечает, что Мицкевич целыми вечерами импровизировал тут повести в духе Гофмана[104].

Но самым дорогим гостем был Пушкин. Приезжая в Петербург, он тотчас же спешил к Дельвигу, и друзья, при встрече, плача и смеясь от радости, всегда целовали друг другу руки. Много вечеров провел Пушкин в гостеприимном доме Дельвига. В октябре 1827 г. он принес своему другу человеческий череп и, протянув его Дельвигу, воскликнул:

Прими сей череп, Дельвиг: он
Принадлежит тебе по праву.
Тебе поведаю, барон,
Его готическую славу...

Череп принадлежал одному из предков Дельвига, погребенному в Риге, и был похищен поэтом Языковым,

тогда еще дерптским студентом. Пушкин добыл его у своего приятеля Алексея Вульфа, избравшего череп местом хранения табака. тут же за обедом у Дельвига череп превратили в чашу, из которой присутствующие пили вино.

В 1830 г. в гостиной Дельвига стал часто появляться неловкий застенчивый провинциал. Это был Гоголь, тогда еще новичок в литературный кругах столицы. Его внешность и костюм возбуждали насмешливое любопытство присутствующих[105].

Но к этому времени Дельвиг оставил уже дом Кувшинникова. С ноября 1829 г. он жил в стоящем тут же поблизости на Загородном проспекте, против Владимирской церкви, небольшом доме купца Тычинкина. Тут в его квартире помещалась контора редакции «Литературной Газеты», издаваемой Дельвигом и Вяземским[106]. Ближайшее участие в газете принимал и Пушкин. Редакция журнала являлась «литературным Олимпом», объединявшим представителей «дворянской поэзии» 20-х годов. Жрецы «чистого искусства», они противопоставляли себя «торгу рыночному», лавочникам от литературы типа Булгарина. Тут с жаром обсуждались новости литературы, умно спорили книготорговцы и подписчики; низко склонившись над письменным столом, близорукий хозяин дома, одетый в малиновый шелковый халат, здесь же за ширмой правил свои корректуры.

«Литературная Газета» просуществовала недолго. Бенкендорф давно уже искал повода ее закрыть. Для этого он воспользовался появлением в газете совершенно невинных стихов французского поэта Делавиня.

Дельвига вызвали в III Отделение и под конвоем жандармов ввели в кабинет Бенкендорфа. «Что ты опять печатаешь недозволенное?.. Вон, вон, — исступленно закричал Бенкендорф, — я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь». Эта оскорбительная, ничем не вызванная

выходка тяжело отразилась на впечатлительном Дельвиге. По словам Анненкова, Дельвиг «заперся в доме, завел карты, дотоле невиданные в нем, никуда не показывался и никого не принимал кроме своих близких. Под действием такого образа жизни и глубоко почувствованного огорчения можно было опасаться, что первая серьезная болезнь унесет все его силы. Так и случилось — болезнь не заставила сєбя ждать и быстро свела его в могилу». Подавленное состояние Дельвига еще усугубляли постоянные неурядицы в семейной жизни.

За три месяца до свадьбы он писал своей невесте: «Нет жертв, которых был я не принес бы за твое счастье! Для тебя только живу и жить буду. Я уверен, что не изменишь мне... Цель моей жизни будет одна до гроба: стараться быть тобой любимым». «Я отдался тебе на жизнь ли на смерть. Береги меня твоею любовью, употреби все, чтобы сделать меня высочайшим счастливцем, или скорее скажи: «умри, друг» — и я приму это слово как благословение». Дельвиг скончался 14 января 1831 г.

«Вот первая смерть, мною оплаканная, — писал Пушкин Плетневу, — Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все...»

Когда наступил день празднования лицейской годовщины, Пушкин, указав на «шесть упраздненных мест», горестно воскликнул:

И, мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,

Туда, в толпу теней родных
Навек от нас утекший гений.

Через несколько лет Пушкин, зайдя однажды в мастерскую скульптора Гальберга и увидев бюст Дельвига, написал:

...в толпе молчаливых кумиров —
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет:
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!

Прошло немного лет, и скромное имя безвременно почившего поэта потонуло в лучах славы его великого друга. Но небольшой старинный дом, свидетель последних дней Дельвига стоит и поныне на Загородном проспекте на углу Щербакова переулка (ныне № 1). Интересно, что оба здания, стоящие на Загородном, на углах Щербакова, совершенно одинаковы. Несмотря на видимую простоту, они являются хорошим образцом петербургской архитектуры первых лет XIX века (в доме № 1 часть дворовых построек носит следы значительно более ранней эпохи). Дом, связанный с именем Дельвига, во время мировой войны был приобретен Литературно-художественным обществом, решившим сломать его и выстроить на его месте четырехэтажное здание под театр, кинематограф, артистическое кабаре и т. д., но планы эти не были осуществлены[107].

Расположенные недалеко от Загородного проспекта тихие Роты Семеновского полка воскрешают перед нами образ ближайшего друга Дельвига — поэта Боратынского. Он жил тут в 5-й Роте, в доме придворного кофишенка Ежевского (на нынешней Рузовской ул.). Старик Ежевский, знавший когда-то отца поэта, павловского служаку, развлекал своего молодого жильца рассказами о былых временах.

Одно время с Боратынским жил здесь Дельвиг.

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Боратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили не много,

В лавочку были должны, дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!)
Шли и твердили шутя: «Какое в *россиянах* чувство!»[108]

«Оба поэта, — рассказывает Гаевский, — жили самым оригинальным, самым беззаботным и потому беспорядочным образом, почти не имея мебели в своей квартире и не нуждаясь в подобной роскоши, почти постоянно без денег, но зато с неистощимым запасом самой добродушной, самой беззаботной веселости. Хозяйственные распоряжения в домашнем быту обоих поэтов предоставлены были на произвол находившегося у Дельвига в услужении человека Никиты, который в лености и беспечности мог поспорить только с своим барином. Вероятно, уважая в нем собственные качества, Дельвиг не отпускал Никиту, несмотря даже на то, что Никита был постоянно пьян, распоряжался карманом барина (когда в нем водились деньги), как своим собственным, и не всегда считал нужным доставлять его письма по адресу. Пушкин, проживая в 1825 г. в Михайловском и не получая долго от Дельвига известий, спрашивал его в одном из своих писем, не принял ли он опять в услужение Никиту».

Одно время к Дельвигу и Боратынскому переехал в дом Ежевского Лев Сергеевич Пушкин, также, как известно, не имевший никогда денег. Было время, когда, всюду задолжав, друзья питались одним вареньем, которое отпускал им в долг соседним доверчивый лавочник. Это варенье да несколько «промысленных» где-то бутылок малаги составляли всю их еду.

Однако шумное веселье молодежи, окружавшей Боратынского, не могло отвлечь поэта от привычных грустных дум.

Но я безрадостно с друзьями пел:
Восторги их мне чужды были.

Недолго в окнах скромного дома Ежевского мелькало «бледное, задумчивое лицо поэта» со взором, горящим «тихим пламенем». В начале 1820 г. он был переведен унтер-офицером в Финляндию[109]. Уезжая из Петербурга, где он оставлял близких друзей, он писал Дельвигу:

Где ты, беспечный друг? Где ты, о Дельвиг мой,
Товарищ радостей минувших,
Товарищ ясных дней, недавно надо мной
Мечтой веселою мелькнувших?..

Пять лет провел Боратынский в Финляндии, лишь изредка наезжая в Петербург. Однообразие жизни, суровая военная дисциплина омрачили дух поэта.

И теперь меня в мундире
Гений мой не узнает.

Произведенный в 1825 г. в офицеры, он вышел в отставку и поселился в Москве. Его заветной мечтой было увидеть Италию.

Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима.
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?

Желания Боратынского сбылись. Он уехал в Италию, где его ждала внезапная смерть[110].

Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.

Прах поэта перевезли из Италии в Петербург, где он и покоится на кладбище Невского монастыря.

Пушкин высоко ценил Боратынского: «Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален, и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко».

На Разъезжей улице, по левую сторону от Загородного проспекта, стоит под № 8 небольшой трехэтажный дом, построенный «сундуком». В первые годы александ-

ровского царствования он принадлежал таможенному чиновнику Мирковичу. Его потомки, Мирковичи, владели этим домом еще в 1917 г.

В первом этаже, в квартире, выходившей окнами на улицу, жил долгое время лицейский учитель Пушкина Д. де Будри, родной брат великого «друга народа» Жана Поля Марата. Оба брата родились в Швейцарии, в городке Будри близ Невшателя. В XVIII веке Швейцария поставляла в Россию большинство иностранных педагогов. В числе таковых оказался и Давид Марат, прибывший в 1784 г. в Петербург в качестве воспитателя сына камергера Салтыкова. разразившиеся во Франции «преступные против веры и короля неистовства» прославили на весь мир имя Марата. На салтыковского воспитателя пало подозрение — не является ли он тайным эмиссаром брата в резиденции «Северной Семирамиды».

Перепуганный щвейцарец поспешил обратиться к Екатерине II с письменным заверение в полной его непричастности к «французской заразе»; вместе с тем он ходатайствовал о разрешении переменить «позорящую человечество» фамилию Марата на де Будри, по месту своей родины, на что и получил монаршее согласие.

Де Будри вскоре женился на русской и, «учинив присягу на вечное подданство России», продолжал давать уроки под своим новым именем. Широко образованный педагог, «добрый, честный и благородный», как характеризует его один из учеников, де Будри имел в городе множество частных уроков по истории и географии.

В 1809—10 гг. он состоял преподавателем петербургской второй гимназии и, по свидетельству известного театрального деятеля Р. Зотова, «лучше его никто не объяснял общих законов филологии».

В 1811 г. де Будри был назначен профессором вновь учережденного лицея в Царском Селе, куда он приезжал в дни своих лекций, не желая окончательно расстаться

с Петербургом. Ученики де Будри сохранили множество рассказов об этом «добром старике», обладавшем «железною волею и таким же усердием». Как рассказывал один из лицеистов, это был «забавный, коротенький старичок, с толстым брюхом, с засаленным, слегка напудренным париком, кажется, никогда не мывшийся и разве только однажды в месяц переменявший на себе белье. Однако он понимал свое призвание и чрезвычайно много сделал для своих воспитанников»... Пушкин также упоминает в своих заметках имя Будри. «Он очень уважал память своего брата и однажды в классе, говоря о Робеспьере, сказал нам, как ни в чем не бывало: «C'est lui qui sous main travailla l'esprit de Charlotte Corday et fit de cette fille un second Ravaillac»*... Будри сказывал, что брат его был необыкновенно силен, несмотря на свою худощавость и малый рост. Он рассказывал также многое о него добродушии, любви к родственникам, etc. etc. В молодости его, чтоб отвадить брата от развратных женщин, Марат повел его в гошпиталь, где показал ему ужасы венерической болезни».

Дюпре де Сен-Мор также подтверждает, что Будри гордился своим знаменитым братом. «Сударь, — заметил однажды де Будри некоему французу, — знайте, что я родной брат Марата». — В таком случае я предпочитаю, чтобы им были вы, а не я, — ответил испуганный собеседник[111].

Де Будри умер в 1821 г., и его бывшие лицейские ученики, «сохраняя к бывшему их наставнику и по смерти его чувствования уважения и признательности и желая отдать последний долг покойному, несли бренные останки его из церкви и сопровождали до кладбища». Но в некрологе этого «профессора французской словесности,

---

* Это он тайно обрабатывал мысль Шарлотты Корде и сделал из этой девушки второго Равальяка (*фр.*) — Ред.

4 Зак.№ 125

коллежского советника и кавалера» цензура не разрешила указать его настоящего имени; лишь осторожно отмечалось, что покойный был сыном «доктора медицины и философии Ив. М—а»[112].

Свидетель пушкинских времен, небольшой старинный дом под красной крышей, окрашенный в желтый цвет, расположенный в Большом Казачьем переулке № 6 (ныне пер. Ильича, близ ул. Дзержинского), существовал тут еще 20 лет назад. Как удостоверяют документы архива, это был скромный двухэтажный дом в восемь окон по фасаду; первый этаж был каменный, второй — деревянный[113]. Центральную часть, всю каменную, прорезывала в первом этаже большая арка ворот, которым соответствовало во втором этаже тройное окно. При доме был большой сад. На месте этого дома, расположенного на последнем участке по левой стороне переулка, в 1904 г. появилось совершенно новое здание.

Стоявший тут в пушкинское время дом принадлежал купцу Дмитриеву. Здесь четыре года прожила сестра А. С. Пушкина — Ольга Сергеевна, вышедшая замуж за Павлищева. Брак этот свершился тайно, против воли родителей. Возможно, что на этот шаг Ольгу Сергеевну толкнула невыносимая домашняя обстановка, созданная матерью. Н. И. Павлищев был человек заурядный, с тяжелым характером.

Озабоченный приисканием квартиры, Павлищев остановил свой выбор на небольшом доме Дмитриева в Казачьем переулке. А. С. Пушкин сначала часто навещал сестру, но с течением времени его визиты становились все реже. Друзья Александра Сергеевича Пушкина были частыми гостями Ольги Сергеевны. «Я полюбил в тебе сначала брата, — сказал Вяземский, — Брат по сестре еще мне стал милей». Здесь целыми вечерами просиживал М. И. Глинка, восхищая всех своей блестящей игрой. Иногда тут устраивались веселые любительские концерты, в которых принимал участие молодой певец Иванов, впоследствии известный европейский тенор.

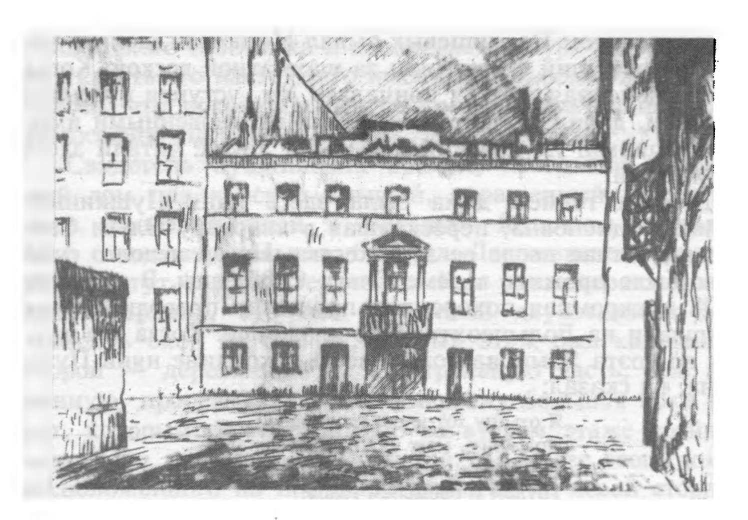
Частым гостем Павлищевых бывал Мицкевич, долгие часы проводивший с хозяином за шахматной доской. Когда же бесконечная партия кончалась, он, уступая просьбам хозяйки, дарил слушателей своими вдохновенными импровизациями. Жуковский и Дельвиг также читали здесь свои стихи.

Добрым гением дома была здесь няня Пушкиных, Арина Родионовна, переехавшая в квартиру Ольги Сергеевны тотчас после ее замужества. Но ей недолго суждено было прожить в доме Ольги Сергеевны. В середине 1828 г. скромная похоронная процессия проводила прах старушки на Большеохтинское кладбище. Когда год спустя до поэта Языкова дошла весть о кончине няни Пушкина, он сказал:

Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улегся, изнуренный
Трудом и бременем годов.

Но ему не удалось разыскать ее могилу. Она затерялась, и мы не знаем в точности места, где покоится прах неизменного друга поэта, его няни, память которой он почтил такими проникновенными стихами.

Ольга Сергеевна прожила в этом доме еще три с половиной года. В июле 1832 г. Она выехала отсюда к родителям в Михайловское[114].



Глава четвертая

На углу пл. Воровского (№ 9) и ул. Союза Связи[115] стоит прекрасный особняк, принадлежавший некогда Нарышкиным. Мы не знаем ни имени его строителя, ни даже приблизительной даты его сооружения. Следует, вернее всего, относить его к началу 60-х годов XVIII века. Но едва ли имеются достаточные основания приписывать эту постройку Деламоту или Ринальди, как это делает А. Н. Бенуа[116].

Одним из обитателей нарышкинского дома был великий энциклопедист Дидро, некоторое время гостивший тут у Нарышкиных. Прославленный идеолог третьего сословия, вдохновитель идей «просветительного века», Дидро приехал в Петербург по приглашению Екатерины II. Он остановился у Нарышкиных, оказавших ему самый радушный прием. «Они (Нарышкины) были так добры ко мне, обходились со мною, как с братом, поместили у себя, кормили и вообще содержали меня на всем готовом

в течение пяти месяцев», — писал Дидро своей жене 9 апреля 1774 г. Тут на сохранившемся до нашего времени балконе можно было часто видеть Дидро, с любопытством наблюдавшего жизнь северной столицы. Лицо философа невольно привлекало к себе внимание: «У меня большой лоб, — писал он Екатерине, — очень живые глаза, довольно крупные черты, голова совершенно характера голов древних ораторов, добродушие, очень близко приближающееся к глупости... У меня сто различных физиономий в день, смотря по предмету, каким я занят».

В этом доме Нарышкиных Дидро был составлен, по поручению Екатерины, ряд проектов по развитию в России народного просвещения. Много труда посвятил он также вопросу улучшения быта крепостных крестьян. Однако Дидро не удалось осуществить ни одного из намеченных им проектов и он уехал, негодуя в душе на императрицу, обманувшую его ожидания. Между тем «Северная Семирамида» была очень довольна отъездом философа, которого она назвала «болтуном, полным опасных утопий».

Когда при внуке Екатерины началась борьба с Наполеоном, в доме Нарышкиных можно было часто видеть энергичную фигуру известного прусского государственного деятеля Штейна, приехавшего к Александру с планами спасения Европы. Здесь он подолгу беседовал с ярым врагом Наполеона, г-жой де Сталь, с которой он впервые познакомился в стенах нарышкинского дома. «Я не думаю, — записал наблюдательный Штейн, — чтобы она могла пользоваться здесь большим вниманием, ибо никто не занят литературою, и женщины ведут праздную жизнь». — «Наружность она не была красива, — записал Э. Арндт, — для женщины сложена почти слишком сильно и мужественно. Но какая голова венчала это тело! Лоб, глаза и нос были прекрасны и сияли блеском

блеском гения; рот и подбородок были менее привлекательны. При блистательном остроумии, сверкавшем в ее глазах, в каждом ее слове слышалось чарующее выражение разума и доброжелательности. Было весело смотреть, как она обходилась со Штейном и как эти две живейшие личности, сидя на одном диване, спорили между собой».

У Нарышкиных бывала и дочь г-жи де Сталь, приезжавшая сюда со своим воспитателем Августом Вильгельмом Шлегелем. Этот прославленный критик и историк литературы, в белоснежных чулках и башмаках с золотыми пряжками, напоминал жеманного французского аббата. Раздававшиеся часто в доме Нарышкиных либеральные речи, в которых критиковали политику Александра, чрезвычайно пугали Шлегеля. Боязливо озираясь кругом, он шептал: «Тише! Тише! В России есть уши за каждою дверью и занавескою».

Но вот померкла слава непобедимых орлов наполеоновской гвардии, и нахлынувшие в северную столицу иностранцы стали поспешно разъезжаться. К тому времени дом на Исаакиевской площади переменил уже своих владельцев. Подобно всем русским аристократам, Нарышкины мало дорожили своим домом, созданным талантливым архитектором. Он был продан Мятлевым, которых часто навещал тут Пушкин, добрый приятель Ивана Петровича Мятлева, известного стихотворца своего времени, «клоуна русской поэзии». Вяземский, приглашая Пушкина обедать к Мятлеву, писал:

Любезный родственник, поэт и камергер,
А ты ему родня, поэт и камер-юнкер...

Друг литераторов и музыкантов своего времени, автор чрезвычайно популярной в то время книги «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой заграницею, дан л'этранже», И. П. Мятлев пользовался всеобщими симпатиями. Он обладал недурными сценическими способ-

ностями, и в доме его матери часто ставились любительские спектакли с участием автора «Курдюковой». В день рождения Мятлевой на сцене появилась однажды сама Курдюкова, разодетая в чепец, белую юбку и черный бархатный «шпенсер». Это был Мятлев, прочитавший главу из «Курдюковой»[117].

На площади Воровского, на участке под № 5, стоит темное строение, в котором помещается Институт искусствознания[118]. В последние годы XVIII столетия и в течение первого десятилетия следующего века стоявший тут трехэтажный дом принадлежал камергеру, а впоследствии тайному советнику Нащокину[119]. В 20-х годах владельцем его был стат. советник Путятин, которому принадлежал также бывший дом Клокачева на Фонтанке, где свои юные годы провел Пушкин.

В начале 30-х годов дом этот перешел к Закревскому. Министр внутренних дел при Николае I, Закревский отличался таким невежеством, что даже шеф жандармов Бенкендорф в своем докладе Николаю I заметил, что «на этом посту должен быть человек образованный, знакомый с ходом дел в других европейских государствах и говорящий на иностранных языках. Граф Закревский деятелен и враг хищений, — продолжал Бенкендорф, — но он совершенно невежда. Всю свою славу и свое честолюбие он полагает в чистоте апартаментов, в соблюдении формы, в составлении карточек и в числе входящих и исходящих бумаг». Несмотря на столь нелестную аттестацию, «Чурбан-Паша» продолжал занимать министерский пост. Его блестящая карьера закончилась совершенно неожиданно вследствие вспыхнувшей холерной эпидемии. Несмотря на ряд крутых и жестких мер в отношении населения Закревский не справился с эпидемией и был уволен в отставку. Страдая от бездействия, он занялся отделкой своего дома. Но и это ему

скоро наскучило. В 1845 г. Закревский решил перестроить дом. Новый проект, как гласят архивные документы, был составлен академиком Боссе, считавшимся наряду со Штакеншнейдером самым модным архитектором 40-х годов. Боссе поднял на сажень фасад лицевого корпуса и произвел ряд надстроек надворных флигелей. В своем заново отделанном доме Закревский возобновил грандиозные приемы.

В роскошных гостиных, утопавших в зелени тропических растений, приветствовала гостей хозяйка дома, блистательная «Клеопатра Невы», в голубом тюрбане и изумительных жемчугах[120]. Внушительная фигура супруга в мундире, сиявшем звездами и орденами, вполне гармонировала с пышностью обстановки. «Лицо гладко выбрито, нижняя губа выступает, — описывает современник наружность Закревского. — Единственную прядь волос, начинавшихся у подзатыльника, искусный камердинер нагретыми щипцами загибал вверх на маковку головы, где, завитая кольцом, она должна была держаться на совершенно обнаженном черепе»[121].

В числе пламенных поклонников Аграфены Закревской был и Пушкин, что не мешало своенравной красавице избрать его поверенным своих сердечных тайн. И, «сгорая пламенем любви, потупя голову ревниво», поэт молил ее: «...но прекрати свои рассказы, таи, таи свои мечты: боюсь их пламенной заразы, боюсь узнать, что знала ты!» И поэт завидовал избраннику, «при ком любовью млеешь явно, чьи взоры властвуют тобой»[122]. Таким счастливцем был одно время поэт Боратынский, очарованный красавицей, то плакавшей, «как Магдалина», то хохотавшей, «как русалка». Вся молодежь того времени увлекалась «Медной Венерой», как назвал Закревскую в письме к Пушкину Вяземский. В часы дневных приемов сюда, к дому Закревских, съезжался «весь цвет» столицы. А в неурочные часы тени неудачливых

поклонников уныло бродили у колонн строящегося собора, в надежде хоть издали увидеть предмет своих мечтаний.

Эта «беззаконная комета в кругу расчисленном светил» смущала сердца петербуржцев вплоть до 1848 г. Когда же на Западе разразилась революция и ее отголоски донеслись до России, Николай, обеспокоенный настроением умов в Москве, вспомнил о своем опальном крутом министре и назначил его московским генерал-губернатором. Расставшись со своим домом, Закревские уехали в Москву. Свое правление новый губернатор сразу же ознаменовал бессмысленной жестокостью и грубым деспотизмом, повергнув в уныние запуганное население Москвы. К тому же, как «истинно русский практичный человек и чиновник», отмечал Б. Чичерин, Закревский был далеко «не прочь» от взяток. «Тут все брали: он и жена, и дочь, и подчиненные». Любопытно, что этот не знавший удержу сатрап играл самую жалкую роль в собственной семье. Он был не только беспомощен перед причудами своей «Грушеньки», доставлявшей ему немало огорчений, но трепетал даже перед своим камердинером Матвеем. Непомерные траты жены и дочери вынудили Закревских продать вскоре за бесценок свой роскошный дом в Петербурге. Его купил известный откупщик Кокорев за 70 000 руб.

Следующим владельцем дома был купец Голенищев, уплативший за него Кокореву 140 000 руб.

При новом владельце была произведена пристройка во дворе большой стеклянной галереи, украшенной вазами, статуями и т. д. Здесь разместилось испанское посольство. Когда в конце 60-х годов дом перешел к гр. Зубову, внешний вид здания был значительно изменен по проекту архитектора Шульца. Фасад его украсили гирляндами и пилястрами, добавили балкон и увенчали здание

наверху большим лепным гербом. Интересная постройка архитектора Боссе утеряла свой первоначальный облик.

Рядом с бывшим домом Закревских, на углу улицы Союза Связи (№ 1), стоит большой темный дом, принадлежавший до революции Китнерам.

В XVIII веке домом этим владел бригадир Пуговишников[123], от которого он перешел к Булатовым (владевшим также описанным выше домом на Спасской ул., где они сами жили). После трагического самоубийства в каземате Петропавловской крепости декабриста А. Булатова его младший брат, решив навсегда расстаться с ненавистным ему Петербургом, продал в 1826 г. свой дом ламповому мастеру Китнеру за 120 000 руб.

Тут вскоре открылась одна из первых в Петербурге музыкальных школ. В этом же доме поместилась мастерская часового мастера Штейнера, продававшего в 1837 г. «астрономические часы годового завода, с планетами: солнцем и луною, как на небеси»[124]. В 1848 г. Китнеры надстроили со стороны площади пятый этаж с полуциркульными окнами, изменив таким же образом окна четвертого этажа.

Дом Булатовых интересен нам как последнее местопребывание декабриста А. И. Одоевского. Он занимал здесь в 1825 г. большую квартиру в восемь комнат — целый этаж. Широко образованный человек, талантливый поэт, он был близок к вольнодумной молодежи. Взгляд Одоевского на современную ему Россию характеризует недавно опубликованное его стихотворение «Молитва русского крестьянина», переведенное с французского. «Я орошал землю потом своим, но ничто, производимое землей, не принадлежит рабу. А между тем наши господа считают нас по душам; они должны были бы считать только наши руки. Моя суженая красива, — они отправили ее в Москву к нашему молодому барину. Тогда я сказал себе: есть бог для растений, но нет бога

для раба! Прости меня, о боже, в милосердии твоем! Я хотел молиться тебе, и вот — я возроптал на тебя!»[125].

Вступив в члены Тайного Общества, Одоевский принял участие в восстании 14 декабря. Когда мятежники были рассеяны картечью, Одоевский направился в сторону Екатерингофа. «Пошел куда глаза глядят, — рассказывал он. — На канаве, переходя ее, попал в пролубь; два раза едва не утонул, стал замерзать, смерть уже чувствовал; наконец высвободился, но совсем ума лишенный...»[126] Совершенно обессиленный Одоевский добрался, наконец, до своей тетки Ланской. Однако муж ее не только не оказал ему никакой помощи, но, не дав ему ни отдохнуть, ни поесть, сам отвез его на допрос во дворец. Ланская после ссылки Одоевского на каторгу унаследовала все его состояние[127].

В рудниках Сибири он познал «край, слезам и скорби посвященный»... Кто бы узнал через десять лет в мрачном, больном каторжнике прежнего «Сашу», с его веселым смехом и увлекательной речью.

В виде особой милости Одоевского перевели рядовым на Кавказ. «Он носил свою солдатскую шинель с тем же спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь, с той же любовью к товарищам, с той же преданностью своей истине, с тем же равнодушием к своему страданию». Одоевский недолго прожил на Кавказе; он скончался в 1839 г. в Псезупсе от местной лихорадки. Его похоронили у самого берега моря[128].

Трогательными стихами почтил Лермонтов смерть Саши Одоевского:

Но он погиб далеко от друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!

Но и после смерти прах поэта не обрел покоя. Укрепление, где была его могила, вскоре перешло к горцам.

Когда же русские войска вернулись туда, могила Одоевского оказалась разрытой. И праха его не нашли[129].

Этот дом на Исаакиевской площади связан не только с памятью об Одоевском. Он вошел также в летопись жизни другого декабриста и поэта — В. К. Кюхельбекера. «Росту высокого — сухощав, глаза на выкате, волосы коричневые, рот при разговорах кривится, бакенбарды не растут, борода мало зарастает, сутуловат». Таковы были, согласно документам, «особые приметы» пушкинского друга.

Разлученный с Пушкиным ссылкой, Кюхельбекер, прочитав «Кавказского пленника», написал поэту следующее стихотворное послание:

Мой образ, друг минувших лет,
Да оживет перед тобою!
Тебя приветствую, Поэт!
Одной постигнуты судьбою,
Мы оба бросили тот свет,
Где мы равно терзались оба,
Где клевета, любовь и злоба
Размучили обоих нас!

В творчестве Кюхельбекера стали появляться новые мотивы. Его «Аргивяне» относятся к числу «гражданских» трагедий, направленных на борьбу с «тираном».

Весной 1825 г. Кюхельбекер «квартировал» в казармах Морского экипажа. Прожив лето на даче у Греча, он осенью переехал в город; его квартира оказалась сырой, и Одоевский предложил Кюхельбекеру у себя комнату[130]. Переехав к нему, ревностный поклонник муз, по словам своего слуги, «с утра до первого или второго часу занимался сочинениями и, сидя в квартире, писал, потом выходил на целый день и возвращался к квартиру часу в первом или втором ночи».

14 декабря Кюхельбекер явился на Сенатскую площадь, где и был замечен «в числе мятежников с пистолетом». «По рассеянии их картечами» он зашел в булатовский дом, надел нагольную шубу своего слуги и,

взяв у Синего моста извозчика, отправился к Обухову мосту. Пройдя оттуда переулками заставу, он ушел пешком за город.

Счастливо избежав преследований, Кюхельбекер сумел добраться до Варшавы и был уже близок к границе. Но вследствие своей неосторожности он был опознан и отправлен в Петербург в Петропавловскую крепость. Десять лет провел он в казематах крепостей. Из мрачных застенков Шлиссельбурга, Динабурга, Ревеля и Свеборга, где томился Кюхельбекер, доносился его исполненный мужества голос.

Для узника в волшебную обитель
Темницу превращал ты, Исфраил.

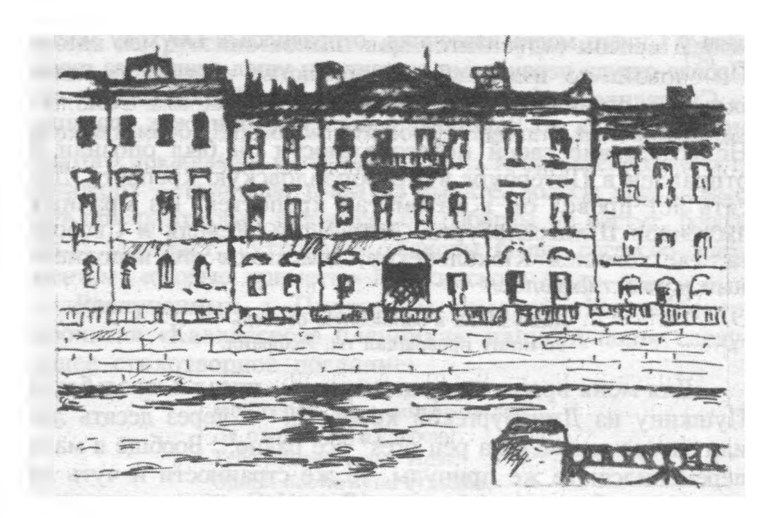
«Для меня время не существует, — писал Кюхельбекер Пушкину из Динабургской крепости, — через десять лет или завтра для меня a peu pres* все равно... Вообще я мало переменился: те же причуды, те же странности и чуть ли не тот же образ мыслей, что в Лицее! Стар я только стал, больно стар...» В этом заживо погребенном человеке продолжало жить горячее чувство любви к своим друзьям. Смерть Пушкина он почтил полными скорби стихами:

Он воспарил к заоблачным друзьям.
Он ныне с нашим Дельвигом пирует;
Он ныне с Грибоедовым моим:
По них, по них душа моя тоскует;
Я жадно руки простираю к ним!

Пушкин назвал Кюхельбекера своим «братом по музе, по судьбам». Баратынский пророчил ему будущность русского Руссо. Но в памяти потомства он запечатлелся как наивный сумасброд. «И кюхельбекерно и тошно». Эта пушкинская шутка тесно связана с представлением о «чудаке Кюхле». И лишь благодаря талантливой книге Тынянова трогательный образ несчастного пушкинского друга впервые встал перед нами в новом, достойном его освещении[131].

---

* Примерно (*фр.*) — Ред.



Глава пятая

На ул. Халтурина на углу Зимней канавки возвышается четырехэтажный дом (№ 34). Значительно пострадавший в годы разрухи, он недавно восстановлен.

Дом этот имел первоначально три этажа. Четвертый этаж был надстроен впоследствии. В конце XVIII века дом этот принадлежал надворной советнице Дуроп. Следующим его владельцем был известный масон кн. И. А. Гагарин. Поклонник искусства, учредитель Общества поощрения художников, большой театрал, он увлекся знаменитой трагической актрисой Семеновой, с которой прожил неразлучно 15 лет. Гагарин имел от нее сына и трех дочерей, носивших имена Стародубских. После многих лет совместной жизни Семенова, опасавшаяся, что ее брак с Гагариным разлучит ее со сценой, согласилась, наконец, выйти за него замуж. С этим домом связан целый ряд лет ее жизни в Петербурге.

Интересна судьба этой замечательной актрисы. Мать Семеновой, по имени Дарья, была крепостной смоленского помещика. Вместе с дворовым человеком Семеном она была отправлена в Петербург к учителю кадетского корпуса Жданову — в подарок за воспитание сына. Вскоре новый владелец выдал ее замуж за Семена, в то время как она готовилась стать матерью ребенка, отцом которого был сам Жданов. Родившаяся дочь, названная Катериной, была вскоре отдана в театральную школу. Это была будущая «Семенова большая», «Семенова-Трагедия»[132].

Попеременно — Федра, Клитемнестра, Медея — она казалась моделью, изваянной рукой древнего скульптора. «Какой голос! Какое чувство! Какой огонь! — восклицал актер Шушерин. — Стоя на коленях надо было смотреть ее». В Москве она однажды с таким чувством бросилась на сцене к трупу Танкреда, что «все зрители были в ужасе и невольно поднялись со своих мест».

Пушкин заметил, что, «говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой и, может быть, только об ней». Когда артистка сошла уже со сцены и жила в Москве, поэт поднес ей своего «Бориса Годунова» с надписью: «Княгине Екатерине Семеновне Гагариной от Пушкина, Семеновой — от сочинителя».

Соперница Жорж и Рашель, Семенова в расцвете своих дарований оставила сцену. Ее гордость не могла примириться с наступившим охлаждением к ней публики. Замечательная актриса на закате своих дней была забыта, и смерть ее прошла незамеченной. Приехав в Петербург по делам своей дочери, она скончалась здесь в 1849 г. в небольшой скромной квартире, в третьем этаже углового дома у Обухова моста. Ее муж продал в свое время дом на Миллионной ул., дачу на Аптекарском острове и обширную подмосковную, передав весь капитал жене. Где сохранялся он, был ли положен в

банк, или, по тем временам, в ломбард, осталось неизвестным. Но ни завещания, ни денег, ни квитанции нигде не нашли. Все исчезло, как бесследно исчезла с театральных подмостков сама великая актриса, не оставившая после себя ни школы, ни достойных преемников[133].

Старинный двухэтажный дом по ул. Халтурина, № 30, стоявший тут еще три года назад, теперь совершенно перестроен. В пушкинское время скромный дом этот был известен всему светскому Петербургу. Здесь долгое время жила знаменитая Авдотья Голицына — «Princesse Nocturne», «Княгиня Полночь».

Дочь сенатора Измайлова, она была выдана замуж за кн. Голицына, человека совершенно заурядного. Как рассказывает Арсеньев, «она предъявляла к своему мужу сумасшедшие требования и, ехав с ним в карете, однажды нанесла ему оскорбление действием». Голицына скоро оставила своего мужа и, купив около 1809 г. у полковника Семеновского полка И. А. Альбрехта его особняк на Миллионной, зажила тут совершенно самостоятельно.

Княгиня была суеверна и боялась смерти. Однажды цыганка предсказала ей, что она умрет ночью, после чего Голицына навсегда перестроила свою жизнь, превратив день в ночь. Она стала принимать гостей по ночам, получив прозвание «Княгиня Полночь». Ее дом на Миллионной, украшенный произведениями лучших русских художников, был известен по всему городу. Здесь все было «изящно, но строго». Салон Голицыной посещали самые блестящие представители литературного и светского Петербурга. Здесь бывали Карамзин, Жуковский, Вяземский и молодой Пушкин, увлеченный А. Голицыной. В 1817 г., как сообщал Карамзин, поэт был «смертельно влюблен в Пифию и теперь проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще

не пишет от любви». Однако в скором времени пушкинская муза уже воспела Голицыну:

...Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.

Любовь 18-летнего Пушкина к «обворожительной, как свобода», красавице (она была старше Пушкина почти на 20 лет) длилась недолго. На смену легкомысленному юноше-поэту явились новые друзья и поклонники. Частым гостем в салоне Голицыной бывал и Александр Тургенев, слушавший тут чтение Грибоедовым его бессмертной комедии[134]. Но не одни литераторы пользовались симпатиями хозяйки дома — она проявляла большой интерес к математике и философии, ведя со своими друзьями нескончаемые беседы на эти темы. Она печатала даже свои «научные труды», вызывавшие лишь улыбки в ученом мире.

Шли годы, Александра I сменил Николай, изменилось и лицо Петербурга, а ночные приемы у Голицыной все продолжались. «Всевидящее око» III Отделения, всюду после декабрьских событий усматривавшее «крамолу», обратило, наконец, внимание на ночные приемы у Голицыной. Для наблюдения за ее домом был приставлен особый агент. «Княгиня Голицына, — доносил он своему начальству, — жительствующая в своем собственном доме, что в Большой Миллионной, которая, как уже по известности, имеет обыкновение спать день, а ночь занимается компаниями, и такое употребление времени относится к большому подозрению, ибо бывают в сие время особенные занятия какие-то тайными делами...»[135].

Но III Отделение не сочло нужным тревожить Голицыну и ее друзей. Так прошел еще ряд лет. В Персии был убит Грибоедов, погибли на дуэли Пушкин и Лермонтов, а к голицынскому дому по-прежнему съезжались

по вечерам многочисленные друзья. Когда в сороковых годах в Петербург приехал Бальзак, княгиня тотчас послала за ним в полночь карету, приглашая его к себе. Весьма обиженный этим Бальзак написал в ответ: «У нас, милостивая государыня, посылают только за врачами, да и то за теми, с которыми знакомы, я же не врач».

Прошел еще ряд лет... Прежняя красавица «La belle de nuit» превратилась в старуху. Нарумяненная, разодетая в яркие цвета, она была безобразна. И наконец, когда Голицыной шел уже восьмидесятый год, «пришла та, которой с юных лет так боялась Princesse Nocturne, пришла смерть...»

Тут же, на ул. Халтурина, стоит под № 26 большой трехэтажный дом, построенный известным зодчим Луиджи Руска[136]. Согласно обычным приемам архитектора, центральная часть здания подчеркнута коринфской колоннадой. Некоторая сухость пропорций, отсутствие фронтона и последовавшее недавно изменение карниза придают зданию несколько скучный и ординарный вид. Этот образец пышных построек XVIII века простоял нетронутым свыше ста лет. Когда же дом в 1914 г. перешел к вел. кн. Андрею Владимировичу, предприимчивый владелец решил снести его и выстроить тут доходный дом. Новая постройка, по проекту архитектора Алексеева, была уже утверждена городской управой, и лишь вспыхнувшая война и разразившийся строительный кризис спасли здание от сломки.

В 60-х годах XVIII века стоявший на этом участке дом гоф-штаб-квартирмейстера Аммосова был приобретен Пажеским корпусом, помещавшимся тут до 1788 г. Затем участок перешел к известному в свое время гоф-хирургу Эбелингу, состоявшему врачом при детях Павла I. В первые годы XIX века Эбелинг выстроил тут по проекту Руска отличный дом, в котором он и поселился. Оставшиеся свободными помещения были сданы под ма-

газины. Весь светский Петербург знал «Константинопольскую контору» в эбелинговом доме на Миллионной, где продавались «разных доброт индейские, кашемировые и константинопольские шали таких разборов и десенов, каких еще не бывало».

Осенью 1825 г. в дом Эбелинга переехал Дельвиг со своей молодой женой. 30 сентября он сообщал ей: «С помощью Амальи Ивановны я квартиру нашел, и прекрасную. Красить нечего, она чиста, как игрушечка, и в ней будет стыдно не жить опрятно. Она в большой Милльонной в доме г-жи Эбелинг в третьем этаже»[137]. Вскоре Софья Дельвиг писала одной своей приятельнице: «У нас очаровательная квартира, небольшая, но удобная; веселая и красиво омеблированная. Я не дождусь, когда буду в ней с моим Антошей, моим ангелом-хранителем». Однако Дельвиги, как сказано выше, прожили на Миллионной недолго, переехав с сентября 1826 г. на Загородный проспект[138].

В 30-х годах построенный Руска дом перешел к прославленному хирургу первой половины XIX века, лейб-медику Арендту. Этот «баснословно счастливый оператор» имел громадную практику в городе.

Рано утром отъезжала от подъезда дома карета Арендта, доставлявшая его домой лишь поздним вечером.

Как известно, Арендт был приглашен к умирающему Пушкину. Но, как гласил документ, «г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его пр-м господином лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни». Его искусство оказалось бессильным...

Поблизости от дома Эбелинг в небольшом Мошковом пер., ведущем к набережной, в скромном доме гофмаршала Ланского жил в 20—30-х годах кн. В. Ф. Одоевский, разносторонне образованный человек, писатель и музыкант[139]. Враг предрассудков и честолюбия, «брат

всякого человека», Одоевский не любил ни света, ни своего титула (он был последним представителем рода кн. Одоевских). Женившись на Ольге Степановне Ланской[140], он поселился в Мошковом пер., в доме тещи, «на чердаке», как называл его квартиру Плетнев. Действительно, занимаемый им скромный флигель с подъездом с Мошкова, состоял всего из нескольких комнаток. Две маленькие внизу служили для приема гостей. Наверху помещался кабинет Одоевского, заполненный книгами*.

Здесь у своего письменного стола он проводил целые дни и так же, как у Гофмана, на его коленях неизменно сидел черный кот — «Kater Murr». Он отличался, вероятно, от своего ученого собрата лишь тем, что не умел читать книг из библиотеки своего хозяина.

«Когда я первый раз был у Одоевского, — рассказывал современник, — он произвел на меня сильное впечатление. Его привлекательная, симпатическая наружность, таинственный тон, с которым говорил он обо всем на свете, беспокойство в движениях человека, озабоченного чем-то серьезным, выражение лица, постоянно задумчивое, размышляющее, — все то не могло не подействовать на меня. Прибавьте к этому оригинальную обстановку кабинета, уставленного необыкновенными столами, с этажерками и с таинственными ящичками и углублениями; книги на стенах, на столах, на диванах, на полу, на окнах — и притом в старинных пергаментных переплетах с писанными ярлычками на задках... различные черепа, какие-то необыкновенной формы склянки и химические реторты. Меня поразил даже самый костюм Одоевского — черный, шелковый, вострый колпак на голове и такой же длинный, до пят, сюртук

---

* Одоевскому принадлежит выражение — «библиотека — великое кладбище человеческих мыслей».

делали его похожим на какого-нибудь средневекового астролога или алхимика».

Раз в неделю, по субботам, у Одоевского собирались гости. Бывали тут и важные сановники в расшитых золотом мундирах и представители литературы и науки. Тут читал свои басни Крылов, играл на виолончели Виельгорский. У Одоевского запросто бывал Пушкин, сочинивший тут в декабре 1836 г. вместе с Вяземским, Жуков- ским и Виельгорским известный канон в честь М. Глинки:

Пой в восторге русский хор —
Веселися, Русь! Наш Глинка —
Уж не Глинка, уж не Глинка, а фарфор[141].

Бывала у Одоевских и жена поэта — Наталья Николаевна Пушкина. Ее встретил здесь однажды В. В. Ленц, оставивший следующее описание этой встречи: «Однажды вечером, в ноябре 1833 г., я пришел к Одоевскому слишком рано. Княгиня была одна и величественно восседала перед своим самоваром; разговор не клеился. Вдруг — никогда этого не забуду — входит дама, стройная, как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла (в то время был придворный траур). Это была жена Пушкина, первая красавица того времени. Такого роста, такой осанки я никогда не видывал... Благородные, античные черты ее лица напоминали мне Евтерпу Луврского Музея, с которой я хорошо был знаком. Князь Григорий (Волконский), подошел ко мне, шепнул на ухо: «Не годится слишком на нее засматриваться».

Одоевский жил в доме Ланских до начала 40-х годов, переехав отсюда на Фонтанку, к Аничкову мосту, в дом Долгорукова, а потом на Литейный, в дом Шлиппенбаха (где жил впоследствии Некрасов)[142]. Там по-прежнему у него собирались друзья. «Тебе и Грибоедов и Пушкин и я завещали все наше лучшее, — писал Одоевскому в 1845 г. из далекой ссылки Кюхельбекер. — Ты перед по-

томством и отечеством представитель нашего времени, нашего бескорыстного стремления к художеству, красоте и к истине безусловной. Будь счастливее нас».

Одоевский не пользовался особенными симпатиями молодого поколения, пришедшего на смену пушкинской эпохе. «Некогда московский архивный юноша и писатель с некоторыми дарованиями, — записал о нем Б. Чичерин в недавно опубликованных мемуарах, — он впоследствии обратился в весьма добродушного придворного, но продолжал серьезно заниматься всякими безделушками, что приобрело ему прозвание «великий человек на малые дела»[143].

В течение всей первой четверти XIX века у небольшого дома придворного мундкоха* Верта на Миллионной ул. собиралась обычно по субботам толпа нищих[144]. Длинной вереницей тянулись они по всей лестнице. Раздача милостыни шла медленно, так как распределявший ее в кухне пожилой человек беседовал подолгу с каждым из нищих, называя многих по имени. Тут же суетилась стряпуха, пахло борщом и украинским салом. В скромной квартире, заставленной мольбертами, висели эскизы и незаконченные картины. Это была квартира известного художника Боровиковского, родоначальника романтизма в русской живописи. Здесь помещалась его мастерская.

Первоначально он жил на Почтамтской ул. в «доме его высокородия и кавалера Львова, в почтовом стану». В 1798 г. художник переехал на Миллионную в «дом придворного мундкоха господина Верта» (ныне № 12 по ул. Халтурина). Боровиковский разместился в бывшей мастерской художника Лампи, где и прожил тридцать лет. Однообразно и печально протекала его жизнь. Мало

* Придворный служитель, заведовавший кухней — Ред.

оживления вносили и жившие у него ученики, боявшиеся шуткой или смехом потревожить своего учителя*.

Друзей у него почти не было. Вся безрадостная жизнь этого замечательного художника была посвящена работе.

Боровиковский оставил блестящую портретную галерею своих современников. С его портретов смотрят строгие кавалерственные дамы, надменные сенаторы с обрюзгшими лицами, красавицы в длинных локонах с улыбкой на только что, казалось, умолкнувших устах. «И эти уста, шептавшие слова любви, и уста, произносившие проклятья крепостному веку, очи, за которые жертвовали жизнью и грозные очи, пред которыми трепетали подвластные люди — все это было здесь живое». Но не одним совершенством техники отмечены творения Боровиковского. Они отражают внутренний мир людей того времени. В произведениях художника есть нечто общее, глубоко вскрывающее сущность эпохи. Вот почему с его портретов так часто смотрят хитрые, плотоядные лица, улыбаются чувственные губы, смеются циничные глаза. И никогда самые откровенные мемуары современников не расскажут нам об александровском времени той правды, которую передал в своих портретах великий художник.

К концу жизни Боровиковского его замечательный талант стал заметно бледнеть. Постоянное одиночество побудило его сблизиться с мистическим и хлыстовским кружком известной Татариновой. Он стал писать для своих новых собратьев иконы и распятия, перед которыми они били по пять тысяч поклонов. Но как далеки были эти произведения художника от творчества его прежних лет. И злой рок мистики, погубивший четверть века спустя гениального русского сатирика, погубил те-

* В числе их был известный впоследствии художник Венецианов.

перь величайшего русского живописца. Боровиковский стал суеверен, целыми днями молился и ходил на хлыстовские радения в Михайловский замок. Там он пророчествовал, становился перед Татариновой на колени и целовал ее руки. Вернувшись домой, художник «приходил в сокрушение», плакал, давал обет уйти в монастырь. А к ночи пил. Он скоро умер тут, на Миллионной, и смерть его прошла незамеченной[145].

Скромный дом на набережной Невы (№ 4) у Кировского моста, против памятника Суворову, свыше ста лет принадлежал Салтыковым. Он был построен кн. Барятинским в 1788 г., как свидетельствует дата на фронтоне. Проект здания П. Столпянский приписывает архитектору Фельтену[146]. Однако строгость направляющих линий фасада отнюдь не характерна для творчества Фельтена. В принципах разрешения фасада этого дома можно скорее узнать приемы Д. Кварёнги. Предположение это находит подтверждение в труде итальянского историка Ф. М. Тасси, работа которого до сих пор не привлекла еще к себе внимания наших исследователей. Помещенная там автобиография Д. Кваренги (письмо к Луиджи Маркези), помеченная зодчим 1 марта 1785 г., сопровождается сведениями о ряде возведенных Кваренги в Петербурге зданий после указанной даты (труд Тасси издан в Бергамо в 1793 г.). В числе новых построек Кваренги отмечен дом «на набережной Невы, рядом с домом г. Бецкого» («una casa Borghese sulla Neva accanto à quella di M. de Beskay»)[147]. Известный екатерининский деятель владел на набережной Невы в конце XVIII века двумя домами. Первый был расположен близ Мраморного дворца, на втором участке за Мраморным пер. (ныне № 10 по наб. 9 Января)[148]. По сторонам его стояли дома князя Ю. В. Долгорукова и гр. Е. Скавронской. Но с этими постройками никак не может быть связано имя

Кваренги, так как история сооружения этих зданий нам известна.

Другой же свой дом, впоследствии дворец принца Ольденбургского, Бецкий построил у Летнего сада на Лебяжьем канале[149]. Рядом с ним стоял дом Барятинских. Это и есть, несомненно, отмеченная у Ф. М. Тасси постройка Кваренги на набережной Невы.

Необходимо отметить, что однообразный и совсем не обработанный фасад дома со стороны памятника Суворову представлял собою в XVIII веке глухую стену без окон. Он был оформлен лишь на рубеже XVIII—XIX веков, когда был открыт дотоле прегражденный проезд с Царицына луга на набережную. Что же касается корпуса на площадь, то он был совершенно перестроен в первой половине XIX века и надстроен в 1881 г. архитектором Лоренценом.

Дворец Барятинских был приобретен Екатериной II в 1796 г. для фельдмаршала Н. И. Салтыкова в благодарность за воспитание вел. кн. Константина Павловича.

Между тем саксонский дипломат Г. Гельбиг называет Салтыкова «самым неспособным воспитателем царственных детей в Европе». Как заметил А. М. Грибовский, Салтыков «свойства был нетвердого и ненадежного, случайным раболепствовал, а упадших чуждался. Сей-то человек представлял в сие время первое почти при дворе лицо: был генерал-аншеф, имел все Российские ордена, председательствовал в Военной Коллегии, которая всегда была в полном своем действии... жил во дворце со всей фамилией на всем придворном содержании, стоившем в год более 200 000 руб., в которое время приобрел через сбережение своих доходов около 10 000 душ, да жалованных имел 6 000 душ и родовых столько; впрочем, был крайне скуп». Как отметил далее Грибовский, Салтыков, «в делах, собственно ему порученных, управляем был своим письмоводителем, а в домашних — графиней

неограниченно». Салтыкова была свирепой госпожой, и перед ней трепетала вся многочисленная дворня. Кн. Н. В. Долгоруков, приглашенный однажды к ней на обед, заметил, что вся прислуга салтыковского дома была наголо выстрижена. Оказалось, что старая «фельдмаршальша», разгневавшись на своих слуг, приказала всех их остричь. «Это имело место в первые годы нашего века, — передает рассказ Н. В. Долгорукова Петр Долгоруков, — можно легко себе представить, что творилось 60 или 80 лет до того»[150].

Фельдмаршал Салтыков умер в глубокой старости. Дети его, унаследовавшие от отца скупость, решили сдавать дом внаем. В 1828 г. в «СПБ. Ведомостях» появилась публикация об отдаче «внаем каменного дома под № 17, выходящего на набережную и Суворовскую площадь, со всею мебелью, бронзами, мрамором и пр. украшениями, доставшийся кн. Салтыковым». Дом был вскоре нанят австрийским посланником гр. Фикельмон[151], с которым Пушкин поддерживал добрые отношения. В библиотеке Пушкина сохранились два тома французского перевода «Oeuvres» Генриха Гейне, подаренные Пушкину австрийским посланником. Это издание было запрещено в России, являясь до некоторой степени «контрабандой»[152].

Жена графа Фикельмон Дарья Федоровна принадлежала к числу наиболее интересных женщин того времени. В блестящем салоне «посланницы богов, посланницы австрийской», по словам Вяземского, вся животрепещущая жизнь, европейская и русская политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски: в нем можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная с политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим произведением одного из

любимцев той литературной эпохи». Желанным гостем здесь был и Пушкин.

По словам Вяземского — у Фикельмон и ее матери Е. М. Хитрово, подолгу жившей вместе с ней, «и дипломаты и Пушкин были дома».

Пушкин не остался равнодушным к обаянию этой блестящей женщины, одаренной редкой красотой и тонким умом. М. Цявловским был недавно опубликован записанный П. И. Бартеневым со слов близкого друга Пушкина, П. В. Нащокина рассказ об одной любовной истории Пушкина, героиней которой была гр. Фикельмон.

Когда Пушкин приехал в Петербург с молодой женой, гр. Д. Ф. Фикельмон написала Вяземскому в Москву 25 мая 1831 г.: «Пушкин к нам приехал к нашей большой радости. Жена его прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастия. Физиономия мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину всего только один раз».

Полгода спустя Фикельмон снова писала Вяземскому: «Пушкин у вас в Москве; жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее чела заставляет меня трепетать за ее будущность».

Тут, на набережной, на одном из раутов Фикельмон произошло 16 ноября 1836 г. столкновение поэта с Дантесом, повлекшее за собою первый вызов на поединок[153]. Все дамы были в трауре по случаю смерти бывшего французского короля Карла X. «Одна Катерина Николаевна Гончарова... отличалась от прочих белым платьем, — сообщает В. А. Соллогуб в своих мемуарах. — С нею любезничал Дантес-Геккерн. Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николавне говорить с Дантесом и, как узнал я потом, самому Дантесу высказал несколько более чем грубых слов. С

д'Аршиаком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы»[154].

Здесь же Пушкин дал поручение В. Соллогубу переговорить с д'Аршиаком о дуэли. «Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь»[155].

«Ночь я, сколько мне помнится, не мог заснуть, — писал впоследствии в своих записках Соллогуб. — Я понимал, какая лежала на мне ответственность перед всей Россией». Вспоминая при этом, как Пушкин полгода назад вызвал его самого на дуэль, Соллогуб записал: «Со мной я за Пушкина не боялся. Ни у одного русского рука на него бы не поднялась, но французу русской славы жалеть было нечего».



Глава шестая

В 1831 г. на Галерной улице[156] поселился Пушкин со своей молодой женой. Это была его первая петербургская квартира.

Много препятствий стояло на пути к этому браку. «Черт меня догадал бредить о счастии, — писал с горечью Пушкин, — как будто я для него создан».

Известный набросок, якобы «с французского», носящий на самом деле яркий автобиографический характер, передает нам мысли и настроения поэта перед браком.

«Участь моя решена. Я женюсь... Я женюсь, т. е. жертвую независимостию, моей беспечной, прихотливой независимостию, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастии, я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?..

Итак, уже это не тайна двух сердец. Это сегодня новость домашняя, завтра — площадная.

Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи при свете луны, продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками.

Все радуются моему счастию, все поздравляют, все полюбили меня...

Молодые люди начинают со мной чиниться: уважают во мне уже неприятеля. Дамы в глаза хвалят мой выбор, а заочно жалеют о моей невесте: «Бедная! Она так молода, так невинна, а он такой ветреный, безнравственный...»

Жена Пушкина не принадлежала к родовитой семье. Ее отец был правнуком калужского «посадского человека», нажившего громадное состояние парусиновыми фабриками.

В глазах родителей Гончаровой Пушкин отнюдь не являлся завидной партией. Они видели в нем лишь небогатого дворянина, не имеющего ни влиятельной родни, ни «выгодного» места. Был момент, когда этот брак едва не расстроился. Однако Пушкин преодолел все препятствия.

Поэт приехал в Петербург с женой весною 1831 г. Прожив некоторое время в гостинице «Демут», он переехал в Царское Село, где оставался до поздней осени, возвратясь в город лишь в середине октября.

Он поселился на Вознесенском проспекте, близ Садовой, в доме обер-прокурора Сената А. С. Берникова (теперь № 47 по проспекту Майорова). В письме, адресованном П. А. Вяземскому, Пушкин указал свой адрес: «У Измайловского мосту на Воскресенской улице в доме Берникова». Конечно, это описка, так как дом Берникова стоял на Вознесенской улице, а не на Воскресенской, где нет Измайловского моста. Датируется это письмо 15—19 октября 1831 г.

Нам, однако, неизвестно, когда именно Пушкин поселился на Вознесенском. В газетных объявлениях осени

1831 г. не встречается публикаций о сдаче помещений в доме Берникова (тогда № 309 третьей Адмиралтейской части), что могло бы помочь точнее фиксировать эту дату. В этом доме Берникова поэт прожил всего лишь несколько дней. Уже 23 октября О. С. Павлищева писала своему мужу, что брат с женой, по возвращении в город, «не совсем еще устроились; по приезде они нашли квартиру, которая им не понравилась, и они нашли другую на Галерной за 2 500 рублей».

Участок на Галерной улице, куда переселился Пушкин, в конце XVIII века принадлежал Жеребцовым и был застроен лишь со стороны Английской набережной. Тут стоял небольшой особняк (ныне № 52 по набережной Красного Флота), с великолепным вестибюлем. Дом сохранился без изменений; уцелела также и старинная решетка у подвала. Здесь жила Ольга Александровна Жеребцова, урожденная Зубова, сестра екатерининского фаворита. Одаренная блестящим даром речи, лично знавшая Вольтера, Жеребцова принимала у себя весь светский Петербург. В павловское время ее самым желанным гостем был английский посол, известный красавец лорд Уитворт.

Он использовал свою близость к сестре влиятельных Зубовых в деле заговора против Павла I, изменившего дотоле дружественной Англии политике. После убийства Павла Жеребцова уехала за границу. По возвращении в Петербург она поселилась в другом своем доме на Английской наб., так как особняк, в котором она раньше жила, перешел во владение генерал-адъютанта Александра I — Якова Потемкина.

Командир лейб-гвардии Семеновского полка, он стал известен благодаря совершенно необычному для того времени распоряжению — полной отмене в полку телесных наказаний. Однако эта мера не только не ослабила, но даже укрепила среди солдат дисциплину. Но «генерал

от шпицрутенов» Аракчеев не мог простить Потемкину подобной вольности и вскоре Семеновский полк был отдан под начальство славившегося своей жестокостью полковника Шварца, вызвавшего впоследствии возмущение в полку. Потемкин же, «распустивший» полк, впал в немилость, и только ревностным участием в Восточных войнах ему удалось завоевать доверие вступившего на престол Николая I. Еще при жизни Потемкина его дом на набережной перешел к его теще — «тайной советнице Брискорновой». Как сообщает Греч в своих записках, родоначальником всех Брискорнов был придворный аптекарь Максим Брискорн, «количество детей которого могло соперничать лишь с числом стклянок в его аптеке». Один из его сыновей, Федор Максимович, воспитанный вместе с побочным сыном Павла I, известным Семеном Великим, дослужился до сенаторского звания. Имея тяжебное дело с некоей вдовой Струковой, он, по выражению Греча, «для решения дела», женился на ней в 1807 г. и зажил хорошо и гостеприимно в своем доме.

После смерти мужа Брискорн решила застроить свой участок по Галерной улице, на которую он выходил другой стороной (№ 53). В мае 1829 г. ей была разрешена постройка тут доходного четырехэтажного дома. Его выстроили без излишних затей, и лишь бельэтаж был украшен двумя небольшими балконами. В сентябре 1830 г. в «СПБ. Ведомостях» уже публиковалось о сдаче внаем «в доме состоящем 1-й Адмиралтейской части под № 225, по Галерной улице и Английской набережной», — «вновь отделывающихся квартир, удобных для помещения, со службами и с отоплением всех мест. Поварни в оных снабжаются посредством машин». Однако не все квартиры были сразу заняты. Две из них долгое время пустовали, и через год, 1 октября 1831 г., в «СПБ. Ведомостях» снова появилось объявление: «По Галерной улице, в доме под № 225, отдаются внаем квартиры: в

бельэтаже одна о 9, а другая о 7 чистых комнатах с балконами, кухнями, конюшнями, сараями, ледником, сухим подвалом, чердаком... на хозяйских дровах каждая по 2 500 рублей в год»[157].

Судя по цене, которую платил Пушкин — 2 500 руб., он, видимо, занял одну из этих двух пустовавших квартир. «Женясь, — писал он Нащокину в том же октябре месяце, — я думал издержать втрое против прежнего, вышло вдесятеро».

В этом доме Брискорн Пушкины прожили до весны 1832 г., переехав отсюда на Фурштадтскую улицу, в дом Алымовой.

Через год по отъезде Пушкина был несколько переделан корпус на набережной. По смерти старой Брискорн ее дома на Английской набережной и Галерной улице, где жил Пушкин, перешли к ее сыну Струкову. В 1917 г. им владели его потомки.

Фасад дома на Галерной улице (ныне Красная) за истекшее время не подвергся снаружи существенным изменениям. Прикрепленная к нему 1935 г. памятная доска должна предохранить его и в будущем от переделок.

Близ дома Брискорн у моста Лейтенанта Шмидта стоит на набережной Невы, ближе к Адмиралтейству, длинное двухэтажное здание с колоннами по фасаду, принадлежавшее некогда Коллегии иностранных дел (ныне дом № 32 по набережной Красного Флота).

Здесь одновременно служили Грибоедов и Пушкин.

Оба они были определены сюда на службу в июне 1817 г. Первый — 9 июня, а второй — 13 июня. И оба оставили Петербург против своего желания. Грибоедов был отправлен в почетную ссылку за причастность к одной дуэли. Пушкин заплатил изгнанием за дерзновенные песни юной музы.

5 Зак.№ 125

Вероятно, здесь, в стенах Коллегии и произошло их знакомство. «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 г., — отметил Пушкин. — Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, — самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества — все в нем было необыкновенно привлекательно».

В феврале 1822 г. среди чиновников Коллегии появился восемнадцатилетный юноша Ф. И. Тютчев. Кандидат словесных наук Московского университета, будущий поэт здесь начал свою служебную карьеру. Его пребывание в стенах Коллегии было очень непродолжительно. В мае того же года он был причислен к русской дипломатической миссии в Мюнхене и уехал в Москву проститься с родными. В Мюнхен он выехал вместе со своим родственником А. И. Остерманом-Толстым, потерявшим в сражении при Кульме руку. Поэт прожил за границей 21 год. «Странная вещь — судьба человеческая, — писал в 1840 г. Тютчев своим родителям. — Надобно же было моей судьбе вооружиться уцелевшею Остермановскою рукою, чтобы закинуть меня так далеко от вас».

В конце 1826 г. в Коллегии иностранных дел появилось новое лицо. Это был московский «архивный юноша» Д. В. Веневитинов, уже прославленный поэт, приехавший в Петербург делать дипломатическую карьеру. «Это был красавец в полном смысле этого слова, — вспоминала П. Н. Лаврентьева. — Высокого роста, словно изваяние из мрамора. Лицо его имело кроме красоты какую-то еще прелесть неизъяснимую. Громадные глаза голубые, опушенные очень длинными ресницами, сияли умом. Голос его был музыкальным, в нем чувствовалось, что он очень хорошо поет, что потом и оказалось. Он нам своим голосом, идущим из души, читал свои стихи».

Сердце поэта не лежало к Петербургу.

И тихоструйная река
И невский берег величавый

были ему чужды. Кляня «холодный ум и северную душу», он уныло бродил в сумерках по пустынной набережной реки.

Когда я вдоль Невы широкой
Скитаюсь мрачный, одинокой.

Веневитинов недолго прослужил в Коллегии. Когда управляющий министерством иностранных дел Нессельроде спросил директора азиатского департамента Родофиникина, у которого работал Веневитинов, как понравился ему его новый чиновник, тот ответил, что Веневитинов подает большие надежды и обещает принести в будущем много пользы. «Но он недолго пробудет с нами. У него смерть в глазах. Он скоро умрет», — прибавил Родофиникин. Его предсказание сбылось очень скоро. Несколько месяцев спустя поэта не стало.

Одно время Коллегия иностранных дел помещалась на Морской улице на углу Почтамтского переулка. Дом же на Английской набережной был куплен у Куракина, «под иностранную коллегию», в 1764 г.[158] Однако по архитектуре своей здание несомненно относится к более позднему времени. Очевидно, оно было переделано в конце XVIII века.

При перестройке дома вытянутый по горизонтальной линии фасад здания был в центре перебит полуколоннами. Не довольствуясь этим, архитектор подчеркнул вертикальные оси установкой на фронтоне трех статуй. Таковым мы видим здание на акварели Патерсона 1799 г. Но в начале XIX века признали необходимым его разукрасить, вследствие чего подвергались переделке окна первого этажа. Впоследствии был стилизован и орел, украшавший тимпан фронтона.

Кто же был автором основного проекта перестройки здания? В редкой и очень ценной для истории города книге «Zeichnungen eines Gemahldes von Russland»* ано-

* «Описания картины России» (*нем.*). — *Ред.*

нимный автор ее указывает, что лицевой фасад здания Коллегии иностранных дел принадлежит Кваренги[159]. Эти сведения подтверждает сам Кваренги в подписанной его рукой автобиографии[160]. Исполненный им чертеж проекта здания Коллегии хранится в Музее города. Вдоль фасада здания Кваренги проектировал расставить ряд высоких массивных тумб — столбов, соединенных цепями.

В лицевом корпусе на Английскую набережную помещались присутствие Коллегии и ее канцелярия. Надворные же постройки были заняты казенными квартирами канцеляристов и протоколистов. Некоторые из чиновников благодаря своей долгой службе становились как бы «живою летописью» Коллегии. К таковым относился некто Дубинин, из шестидесяти лет своей жизни проведший пятьдесят на службе в канцелярии. Он славился своим убористым почерком и пристрастием к «чарочке». Поэтому в предупреждение несвоевременных его отлучек со службы безжалостные обер-секретари приказывали его разувать. Большой известностью пользовался также сторож Воронин, доживший до 95 лет, «очевидец происшествий, известных только по преданиям, и то не весьма верным». Был тут и экспедитор Веньяминов, более сорока лет занимавшийся одним и тем же делом — изготовлением конвертов и запечатыванием их. Эти конверты он делал мастерски, по принятому в Коллегии обычаю, без помощи ножниц.

Когда сюда был определен на службу актуариусом С. П. Жихарев, светский юноша, автор поэм и трагедий, старый экспедитор приветствовал его следующими словами: «Вот, батюшка, милости-ко просим к нам: выучим тебя делать кувертики...» В своем дневнике, много месяцев спустя, Жихарев с грустью отметил: «До сих пор я ничего другого не делаю, как только дежурю в месяц раз да толкую о Троянской войне». Эти дни дежурства, по

словам одного из сослуживцев Жихарева, были очень тягостны, так как приходилось оставаться в Коллегии бессменно целые сутки. Тогда обед, а также подушки и одеяло приносили из дома. Спать приходилось на тех же столах, за которыми днем работали.

Коллегия помещалась на Английской набережной до 1828 г., когда ее перевели в новое здание, выстроенное архитектором Росси для министерства иностранных дел на Дворцовой площади (ныне площадь Урицкого)[161]. В этом новом здании Коллегии Нессельроде объявил Грибоедову о назначении его министром-резидентом при персидском дворе; а вскоре у одного из столов архива стала подолгу склоняться над старинными документами курчавая голова Пушкина.

Лишь несколько домов отделяют от бывшего здания Коллегии на набережной небольшой трехэтажный дом № 10, принадлежавший до революции Воронцовым-Дашковым. Здесь в 1887 г. в присутствии Александра III читалась впервые «Власть тьмы», долгое время находившаяся под запретом и лишь по «высочайшем» одобрении увидевшая свет.

Участок этот некогда принадлежал приближенной Екатерины II Анне Никитичне Нарышкиной, свадьбу которой Екатерина описала в своих «Записках». Но стоящее ныне на набережной здание построено следующим владельцем этого участка А. И. Остерманом-Толстым[162]. Его дом считался в то время одним из лучших в столице. Одна отделка белой залы в два света стоила почти 50 000 руб. Все окна были из цельного богемского стекла, тогда еще большой редкости в Петербурге. На пышных приемах у Остермана бывал весь город.

По целым окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

Среди ценных картин и статуй, украшавших комнаты, обращал на себя внимание заранее заготовленный надгробный памятник владельца дома работы Кановы, изображавший графа распростертым на поле битвы после ранения. Некоторые помещения были отделаны весьма своеобразно, например, комната, обложенная распиленными бревнами, придававшими ей вид русской избы. Достопримечательностью столовой были живые орлы и дрессированные медведи, стоявшие во время обеда с алебардами. Разгневавшись однажды на чиновников и дворянство одной губернии, Остерман приказал одеть своих медведей в мундиры той губернии.

Человек чрезвычайно богатый, жестокий крепостник, Остерман, вместе с тем, не терпел Николая I. Он все же добился от царя смягчения участи своего внучатого племянника Александра Голицына, замешанного в декабрьских событиях. Но его усиленные хлопоты о брате Александра — Валериане Голицыне оказались тщетны. По словам декабриста Д. И. Завалишина это и послужило причиной отъезда за границу обиженного вельможи, оставившего навсегда Россию.

Пользуясь большим покровительством Остермана, Завалишин в декабрьские дни жил в его особняке на Английской набережной. «По уму и способностям это был человек выходивший из ряда обыкновенных», — записал о нем декабрист Беляев. Даже в следственных документах были отмечены его «чрезвычайная проницательность, наблюдательность и прозорливый ум».

Широко образованный молодой моряк, перед которым открывалось блестящее будущее, Завалишин много работал над составлением проектов преобразований России и, «храня все горючие составы в сердце», вступил в сношения с членами Тайного Общества. Здесь в этом особняке на набережной у него часто бывали Рылеев и его друзья.

«Презренный Рылеев! — писал после событий 14 декабря Следственной комиссии Завалишин. — Каких коварств ты не употребил, чтобы завлекать меня, — лесть способностям моим, возвышенные чувства, непрерывность убеждений... Я не устоял против ложной славы и поскользнулся, возмечтал о себе высоко — считая себя необходимым даже самому Небу»... — «Вот пред вами, — продолжал он, — Дмитрий Завалишин в обнаженном виде, в зерцале Истины. — Несчастная жертва коварства, тщеславия и стечения странных обстоятельств. — Рожденный и сохранивший всю жизнь чувства непорочные, в два месяца заблуждения невольного»...

Но покаянная исповедь не смягчила сурового приговора его судей. Он был присужден к вечной каторге, замененной двадцатью годами.

Завалишин долго не мог примириться с крушением своих честолюбивых надежд. По пути в Сибирь, непрестанно возвращаясь мыслью к недавнему прошлому, он заметил с горечью одному из своих сотоварищей: «И с такой высоты так низко пасть!» — И он указал при этом на свои закованные в кандалы ноги. Этих слов никогда не простили ему его сотоварищи. Известно, с какой гордостью носили они свои кандалы, бережно храня их до конца жизни, даже по возвращении из ссылки.

Дворовый флигель дома Остермана своей другой стороной выходил на Галерную (ныне Красная) улицу. Это скромный двухэтажный дом начала XIX века. Тут в августе 1819 г. поселился адъютант Остермана, поручик л.-гв. Павловского полка И. И. Лажечников, впоследствии известный писатель, автор «Ледяного дома». Он жил здесь в нижнем этаже, занимая две комнаты. Одну из них, первую от входа, он уступил приехавшему в Петербург майору Денисевичу.

Однажды, рассказывал Лажечников, в переднюю вошел небольшой человек во фраке, курчавый, с арабским профилем. За ним важно выступали два гвардейских

офицера. Это был Пушкин, приехавший со своими секундантами вызывать Денисевича на дуэль. Поводом к вызову послужило замечание, сделанное майором Пушкину, сидевшему рядом с Денисевичем в театре и мешавшему ему слушать пьесу. Благодаря вмешательству Лажечникова, запугавшего Денисевича последствиями дуэли с «сыном знатного человека», поединок не состоялся и майор извинился перед Пушкиным.

Тридцать шесть лет спустя, вспоминая об этом, Лажечников написал: «И я ныне могу сказать, как старый капрал Беранже: «Я послужил великому человеку».

От пушкинского времени уцелел на набережной рядом с Сенатом пышный особняк Лаваля (наб. Красного Флота, № 4), Здесь 16 мая 1828 г. Пушкин читал «Бориса Годунова». Его слушателями были Мицкевич и Грибоедов.

Дом Лаваля является одним из немногих памятников строительного искусства начала XIX века. Он построен известным зодчим Тома де Томоном, строителем Биржи, и, по преданию, закончен Воронихиным. Длинные, узкие панно дома Лаваля, так же как и перекрытые фронтонами боковые окна, встречающиеся в некоторых творениях Воронихина, придают большую вероятность этому предположению. Дом украшен аттиком и стройной колоннадой. Весьма эффектны балконы и прорезанные уверенной рукой окна третьего этажа, лишенные каких бы то ни было украшений[163].

Высокий дом
На берегу Невы,
Обита лестница ковром,
Перед подъездом львы...

Участок этот принадлежал в XVIII веке Трубецким, затем, последовательно, Муравьевым и А. Н. Строганову. И наконец, Тома де Томон, роялист, бежавший в Россию от бурь Французской революции, построил здесь для Лаваля великолепный особняк. «Его гранитная лестница является,

вероятно, самой красивой в Петербурге, — описывал особняк Лаваля сардинский посланник Жозеф де Местр в письме к своему другу графу Блака в декабре 1811 г. — Это лучшее произведение нашего друга Тома де Томона»[164].

Лаваль был сыном французского виноторговца, получившего графский титул за денежную ссуду, выданную будущему королю Людовику XVIII, «Луи Дизвитскому», в годы его изгнания. Попав в Россию учителем Морского корпуса, молодой речистый француз обратил на себя внимание юной А. Г. Козицкой, наследницы богатейших купцов Мясниковых и Твердышевых, пожелавшей соединить с ним свою судьбу. Но мать ее, уже имевшая своим зятем российского посланника в Турине князя Белосельского-Белозерского, решительно закрыла двери своего дома перед бедным учителем. Тогда невеста подала Павлу I особую челобитную, опустив ее в существовавший для этой цели «просьбоприемный ящик». Павел затребовал объяснения, и Козицкая привела следующие резоны своего отказа: «Во-первых, Лаваль не нашей веры; во-вторых, никто не знает откуда он; в-третьих, чин у него больно не велик». Павел на это отвечал: «Во-первых, он христианин; во-вторых, я его знаю; в-третьих, для Козицкой у него чин достаточен, и потому обвенчать»[165].

Повеление это было тотчас выполнено, несмотря на то что последовало накануне постного дня. Ходил слух, что женитьбе Лаваля содействовал военный генерал-губернатор Петербурга Пален, отрекомендовавший Павлу Лаваля, как пострадавшего от террора эмигранта.

С этого времени началась блестящая карьера Лаваля. Он был пожалован в церемониймейстеры двора и получил вскоре орден Александра Невского и чин действительного тайного советника. Немалую роль в его карьере сыграли пышные празднества в честь высоких особ, которые он устраивал в своем роскошном доме.

Тут был, однако, цвет столицы,
И знать, и моды образцы,
Везде встречаемые лица,
Необходимые глупцы.

Салон Лаваля служил также местом встреч петербургских литераторов. Как вспоминал Ш. Сен-Жюльен, «тут по определенным дням собирались самые выдающиеся представители поэзии и литературы; это здесь между 1827 и 1830 годами я имел возможность видеть Пушкина, Крылова и Жуковского, то есть московитских Байрона, Лафонтена и Ламартина, также — Гнедича, переводчика Гомера, и Козлова, слепого, как певец Улисса, давшего образцы прекрасной и тонкой русской поэзии»[166].

Лаваль любил похвалиться перед гостями своими ценнейшими собраниями первоклассных картин и произведений скульптуры. Посланник Северо-Американских Штатов Джен Куинси Адамс видел здесь «Точильщика ножей» Тенирса, «Римское милосердие» Гверчино, «Водопад в Тиволи» Клода, «Давида с головою Голиафа» Гвидо Рени, «Гермафродита» Альбани, «Св. семейство» Фра Бартоломмео. В отделе скульптур выделялись бюсты Германика и Цицерона из базальта и статуя императора Бальбина в натуральную величину. Одну из зал занимала колоссальная фигура Дианы. Тут же находились статуи Вакха и Ариадны, Плутона и Терминуса. В следующем зале были выставлены древние ростральные колонны, античная квадрига, фигура римского консула и собрание редкого оружия. Особое внимание посетителей привлекали надгробный барельеф и саркофаг с надписью «Юлия, дочь Августа»[167].

Одна из дочерей Лаваля, Екатерина Ивановна, вышла замуж за С. П. Трубецкого, жившего со своей женой здесь же в доме тестя. Тут у будущего «диктатора» собирались его друзья по Тайному Обществу. Недавно установлено, что Трубецкой в организации декабрьского восстания играл значительно большую роль, чем это полагали до сих пор. Дом, где он жил, оказался в центре

событий, разыгравшихся 14 декабря на Сенатской площади. «Мертвые тела солдат и народа валились и валились на каждом шагу, — записал впоследствии [Н.] Бестужев, — солдаты забегали в дома, стучались в ворота, старались спрятаться между выступами цоколей, но картечи прыгали от стены в стену и не щадили ни одного закоулка». Благодаря своей близости к площади особняк Лаваля явился убежищем для участников бунта. Дом был оцеплен поэтому войсками и тщательно обыскан. Однако розыски Трубецкого остались тщетны. Он скрылся у австрийского посланника Лебцельтерна (женатого на свояченице Трубецкого), откуда и был доставлен во дворец.

Трубецкой, как известно, заплатил за участие в заговоре многолетней ссылкой в Сибирь, куда последовала за ним его жена, Екатерина Ивановна, воспетая за свой подвиг Некрасовым. Но ни трагическая судьба молодого заговорщика, ни разлука с любимой дочерью не наложили траура на дом Лаваля. Здесь по-прежнему устраивались спектакли и празднества, на которые по-прежнему приглашались и члены царской семьи[168].

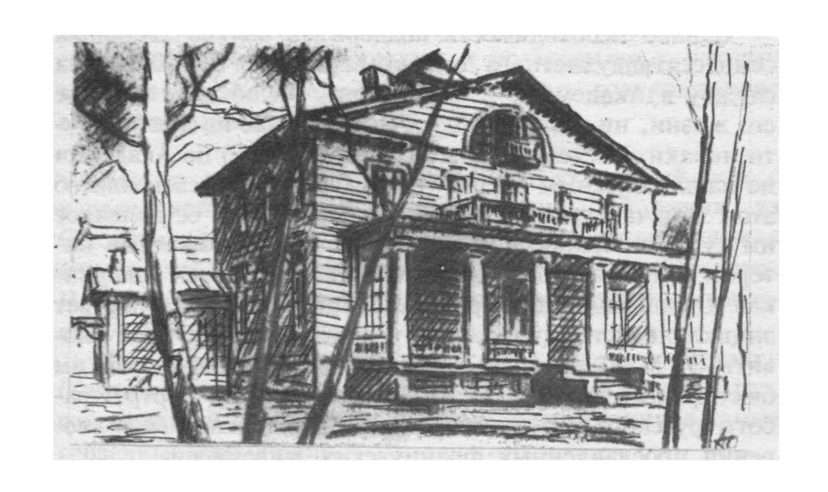
В тридцатых годах дом Лаваля служил местом собраний «Музыкальной Академии»; в сороковых годах тут на вечерах выступали Виардо, Рубини и Тамбурини[169]. На одном из балов Лавалей в феврале 1840 г. состоялась известная встреча Лермонтова с сыном французского посланника де Баранта. Здесь между двумя поклонниками М. А. Щербатовой произошло столкновение. Де Барант потребовал объяснений по поводу каких-то, якобы дошедших до него оскорбительных слов, произнесенных Лермонтовым по его адресу. Но Михаил Юрьевич с негодованием отверг это обвинение. В результате вспыхнувшей ссоры француз заявил, что если бы он был в своем отечестве, «то знал бы, как кончить дело». — «Поверьте, ответил Лермонтов, — что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и русские не

меньше других позволяют оскорблять себя безнаказанно». Тогда со стороны де Баранта последовал вызов. Тут же на вечере Лермонтов пригласил Столыпина в свои секунданты.

В летнее время многочисленные гости Лавалей собирались на их даче на Аптекарском острове. Типичная постройка классической архитектуры начала XIX века, дача выделялась среди густой зелени своим куполом и стройными колоннами портика. Гранитная лестница, обсаженная по сторонам деревьями, вела к реке. Красивая ферма в псевдоегипетском стиле была выстроена Томоном[170]. Гости Лаваля тут часто слушали заезжих знаменитостей, выступавших между колоннами портика. Молодой итальянец граф Палловичини описал 8 (21) июля 1843 г. в своем письме один из таких вечеров: «Общество было очаровательно. Г-жа Пушкина, вдова поэта, убитого на дуэли, — прекрасна; омраченное тяжелым несчастьем ее лицо неизъяснимо печально»[171].

Дача на Аптекарском острове и блестящий особняк на набережной Невы перешли, после смерти старых хозяев, к их дочери, графине Борх[172]. В 1853 г. по проекту архитектора А. Камуцци особняк Лавалей был увеличен пристройкой небольшого флигеля на Галерную улицу. Следующим владельцем участка был известный «железнодорожный король» С. С. Поляков. Начав свою жизнь скромным штукатуром в Киеве, Поляков впоследствии оказался владельцем ряда русских железных дорог, а также великолепного палаццо, построенного Томоном. По желанию Полякова архитектор Ю. Бруни перестроил в 1873 г. корпус на Галерной улице, лишив его первоначальной простоты. Наконец, в девятисотых годах бывший дом Лаваля был приобретен для расширения помещений Сената.

Но грандиозный вестибюль с колоннами и расписанные залы времен Рылеева и Пушкина уцелели до наших дней. Здесь ныне помещается Центрархив[173].



Глава седьмая

На Кадетской линии Васильевского острова, в небольшом домике (ныне № 23 по Съездовской линии) жил выдающийся русский портретист рубежа XVIII—XIX веков Дмитрий Левицкий[174].

Сын провинциального священника, он родился в мрачные годы правления Анны Иоанновны. Отец его, по фамилии Нос, принял при женитьбе на некоей Левицкой ее фамилию. Этот скромный священник был крупным гравером своего времени. Молодой Левицкий унаследовал от отца любовь к искусству, посвятив ему свою долгую жизнь. Плодом неустанной работы художника явилась замечательная портретная галерея его современников. Отдав работе в Академии Художеств всю свою жизнь, состарившийся и немощный художник вышел, наконец, в отставку и, получив жалкую пенсию в 200 руб. в год, зажил со своей овдовевшей дочерью в небольшом домике на Кадетской линии.

Однако необходимость поддержать внуков заставила семидесятидвухлетнего старца вернуться в 1807 г. на службу в Академию. К сожалению, ни об этом периоде его жизни, ни о его молодых годах до нас не дошло почти никаких сведений. Даже сотоварищи его по Академии не нашли нужным сохранить для потомства сведений об этом замечательном художнике. Между тем оставленное им художественное наследие представляет огромный интерес. В технике своего мастерства он не имел соперников. Одной из лучших работ Левицкого является портрет энциклопедиста Дидро, чьи тонкие черты не смог уловить Э. М. Фальконе, уничтоживший исполненный им бюст философа. Дидро сам признал, что его портрет работы русского художника стоял значительно выше творений прославленных французских живописцев.

Один из просвещеннейших людей своего времени, Н. А. Львов, с которым Левицкий очень дружил, получив свой портрет от художника, написал[175]:

Скажите, что умен так Львов изображен? —
В него с искусством ум Левицкого вложен.

Чуждый профессиональной зависти, Левицкий стремился передать свое искусство многочисленным ученикам, к которым относился по-отечески. Многие из них и по окончании Академии Художеств продолжали навещать патриархальную семью любимого всеми учителя, жившего в своем маленьком домике на Кадетской линии. Особенно шумно и весело праздновался тут день именин художника в середине мая. Праздник длился три дня, заканчиваясь уже в день рождения Левицкого.

Левицкий умер 87 лет. Но для нас утеряна даже его скромная могила. Не уцелел и его дом. На Кадетской линии сохранился без изменения длинный ряд зданий начала XIX века. Но двухэтажный домик Левицкого,

имевший по фасаду всего четыре окна, оказался надстроенным четырьмя этажами и превратился к нашему времени в узкое шестиэтажное здание, разукрашенное глазурованными кирпичами с разводами.

Весьма интересный одноэтажный старинный дом с характерной высокой крышей в конце 2-й линии, за Средним проспектом (№ 43), долгие годы принадлежал известному ученому и писателю Н. Я. Озерецковскому. После его смерти участок перешел к титулярному советнику Шоберту.

Тут во дворе поселился по своем выходе в отставку бывший директор пушкинского лицея Е. А. Энгельгардт, сохранивший со многими из своих воспитанников самые сердечные отношения.

Одетый по моде 1805 г. в синий фрак и короткие панталоны с черными шелковыми чулками, старик подолгу грелся на солнце, сидя на скамье своего укромного дворика. Сперанский однажды шутя сказал, что «Энгельгардт 25 лет не переодевался». В 1824 г. в дружеском письме к одному из своих бывших учеников, пушкинскому товарищу Ф. Матюшкину, Энгельгардт писал: «Я поселился на краю Васильевского острова в маленькую квартиру, в заду на дворе, и Божье солнышко светит в мои окна не хуже, как в окна дворца».

Он прожил здесь недолго, перебравшись в дом Флетчера на Большом проспекте между 7-й и 8-й линиями (теперь дом № 25 по проспекту Пролетарской Победы[176], впоследствии надстроенный). Энгельгардт прожил тут девять лет, вернувшись в 1836 г. на 2-ю линию, где и нанял квартиру в доме Пальянова, ныне № 31. Он с любовью вспоминал свое старое жилье: «Как ни ветх и ни холоден Hôtel Fletcher, — писал Энгельгардт, — но мне было грустно расставаться со старым знакомцем, в котором каждый уголок напоминает о каком-нибудь

происшествии... Новое мое жилище просторнее, теплее и удобнее, лучше, но оно новое, я его не знаю, оно мне ничего не говорит».

Недалеко отсюда, на 3-й линии, между Средним проспектом и Малою Невою, жил в 1825 г. будущий декабрист А. Е. Розен, пользовавшийся репутацией человека высокой нравственности и стойких принципов. Он переехал сюда после своей женитьбы на А. В. Малиновской, сестре пушкинского лицейского товарища.

Присужденный к ссылке за участие в событиях 14 декабря, Розен, описывая впоследствии в своих мемуарах Петропавловскую крепость и свой путь в Сибирь, вспомнил близкий его сердцу уголок Васильевского Острова: «Свет луны и ярко горящих звезд освещал нашу дорогу. Тихою рысью переехали Неву. Я все глядел в сторону Васильевского острова, благословлял жену и сына. Я знал, что жена в эту минуту стояла на молитве; она, извещая отца моего о моей отправке и припоминая эту светлую, звездную ночь, написала ему слова Паскаля: «Нет ничего в мире прекраснее звездного неба и чувства долга в человеческом сердце».

На 7-й линии Васильевского острова, в скромном домике мещанина Гурьева (ныне это участок № 18) находилось «гнездо Бестужевых». Здесь жила со своими многочисленными детьми мать декабристов, Прасковья Михайловна Бестужева[177].

В декабре 1825 г. внешне жизнь семьи еще текла по-прежнему и ничто не предвещало грозных событий. 13 декабря, накануне восстания, тут обедал Рылеев. В тот же день сюда заезжали Батеньков и Пущин. А через день грозный удар разразился над семьей Бестужевых. Много слез пролила в гурьевском доме мать декабристов, оплакивая судьбу своих сыновей. Петр Бес-

тужев был разжалован в рядовые и послан на Кавказ. Александр присужден к пятнадцати годам каторжных работ, Михаил и Николай — к двадцати годам каждый[178].

Николай Бестужев по своим блестящим дарованиям занимает по праву одно из первых мест среди декабристов. Недавно опубликованное литературное наследство Николая Бестужева вполне оправдывает тот авторитет, которым он пользовался в среде декабристов. Как отметил в своих записках Якушкин, «в глазах высшей власти главная виновность Николая Бестужева, как кажется, состояла в том, что он очень смело говорил перед членами Комиссии и столь же смело действовал, когда его привели во дворец».

Прасковии Михайловне Бестужевой было суждено пережить смерть двух сыновей — Петра и Александра. Петр сошел с ума на Кавказе и умер в Петербурге в сумасшедшем доме. Его брат, талантливый писатель Бестужев-Марлинский, был переведен из Сибири рядовым также на Кавказ. Там, получив известие о трагической смери Пушкина, он написал старшему брату Николаю: «В монастыре св. Давида на могиле Грибоедова слушал я панихиду, которую просил служить в память Пушкина; когда священник возгласил за упокой боярина Александра и боярина Александра, я заплакал, зарыдал; мне казалось, мне чувствовалось, что отец духовный уже поминает и меня».

Полгода спустя после смерти Пушкина погиб и Александр Бестужев. Беспросветная жизнь на Кавказе, без каких-либо надежд на будущее довела его до отчаяния, и он стал искать смерти. В 1836 г. Александр Бестужев писал брату Николаю в Сибирь: «Когда я кончу это нищенское кочеванье по чужбине, вдали от всяких средств к занятиям?! Об одном молю я, чтоб мне дали уголок, где бы я мог поставить свой посох... Видно не хотят это-

го. Да будет! Не могу ли, гоняемый из конца в конец, не проводя двух месяцев на одном месте, без квартиры, без писем, без книг, без газет, то изнуряясь военными трудами, то полумертвый от болезней, не вздохнуть тяжело и не позавидовать тем, которые уже кончили земное скитальничество». При взятии мыса Адлер Бестужев с мужеством отчаяния устремился глубоко в ряды горцев и был изрублен в куски. Получив известие о его смерти, А. В. Никитенко с горечью отметил в своем дневнике: «Новая потеря для нашей литературы: Александр Бестужев убит. Да и к чему в России литература!»

Юный Владимир Философов, горячий почитатель Бестужева, с волнением прочел напечатанные в «Литературных Прибавлениях» стихи Бестужева «Шебутуй»:

Стенай, шуми, поток пустынный,
Неизмеримый Шебутуй,
Сверкай от высоты стремнинной
И кудри пенные волнуй!..
Катись под роковою силой,
Неукротимый Шебутуй!
Твое роптанье — голос милой;
Твой ливень — братний поцелуй!..
О жребий! Если в этой жизни
Не знать мне радости венца —
Хоть поздней памятью обрызни
Могилу тихую певца.

«Вот по моему мнению, — записал в своем дневнике восторженный юноша, — лучшие стихи русской литературы. И про такого человека, как Бестужев, осмелился сказать Николай, что смерть на поле битвы слишком для него хороша... О если бы всевышний дал мне когда-нибудь силу отомстить за Бестужева, я бы с охотой пожертвовал жизнью, ненужной для человечества. Всевышний, я верю, что рано или поздно кровь праведника возопиет о мщении, — и на развалинах самодержавной власти воздвигнется сильное и цветущее здание, и на месте Александровской колонны благодарное потомство воз-

двигнет памятник Бестужевым и другим жертвам 14-го числа».

После жестокого удара, постигшего семью Бестужевых, мать и сестры переехали на 15-ю линию в дом купца Штильцова, оставив навсегда дом Гурьева, с которым у них было связано столько тяжелых воспоминаний. Дом Гурьева представлял собою в то время небольшое двухэтажное строение в семь окон с интересными пилястрами и наличниками. Посредине возвышалось высокое крыльцо со ступенями, спускавшимися по обеим сторонам подъезда. Постройка здания относится к первой половине XVIII века. В свое время оно являлось, вероятно, одной из лучших частных построек на острове. Первоначально дом был крыт черепицей, и только весной 1824 г. его перекрыли железом. Сохранившийся в городском архиве чертеж фасада гурьевского дома, относящийся к этому же году, воспроизводится при настоящей работе[179]. Этот небольшой домик с очень высокой крышей устоял на углу 7-й линии и Глухого переулка, теперь Днепровского, вплоть до девятисотых годов. В 1907 г. аптекарь Пель (один из его предков, также аптекарь, владел уже этим участком в 50-х годах XIX века) путем пристроек и перестроек превратил домик Гурьева в пятиэтажное строение. Теперь тут возвышается громадное здание аптеки.

На 9-й линии Васильевского острова № 22 в настоящее время стоит большое, недавно отстроенное здание. В 1830 г. дом этот, тогда № 228, принадлежал купцу Волгову. Сюда в эту отдаленную часть острова переехала в 1830 г. А. П. Керн, разойдясь со своим мужем. Здесь по-прежнему навещали ее старые друзья. До нас дошли стихи, написанные в 1832 г. братом А. С. Пушкина

Львом Сергеевичем, навестившим Керн по своем приезде в северную столицу.

Приехавши на берег Невский,
Лев Пушкин ныне был у Вас,
А вместе с ним и Соболевский,
Прождали здесь Вас целый час.

В 1837 г. она переехала еще дальше, на 14-ю линию в дом Вестмана (ныне № 27)[180]. От старых построек здесь ничего не сохранилось до настоящего времени. Не уцелело и скромное жилище Керн. Но имя ее не забыто. Образ Керн вдохновил юную музу Пушкина, посвятившего ей свои самые прекрасные, по отзыву Белинского, стихи. Большой заслугой Керн перед последующими поколениями являются ее записки, в которых она сумела запечатлеть подлинный, живой облик поэта.

Малый проспект между 11-й и 12-й линиями представляет собой ряд новых построек. От прошлого здесь сохранилось лишь одно небольшое двухэтажное строение в два (!) окна и старый деревянный сарай во дворе на каменный столбах (№№ 33—37). Это остатки владений известного ученого, переводчика «Омира» (Гомера) И. И. Мартынова. Он был одним из составителей устава лицея, а его сын, Аркадий Иванович, был школьным товарищем Пушкина. В 1811 г. Мартынов купил тут участок и на собранные от издания своих трудов деньги выстроил хороший дом[181]. В дни наводнения 1824 г. вода затопила дом и уничтожила оранжерею и сад. Ценная библиотека, собиравшаяся в течение свыше тридцати лет, оказалась затопленной. Старик Мартынов плакал навзрыд, видя, как его любимые, ценные фолианты уносила вода через разбитые окна.

На 16-й линии, где теперь стоит под № 17 небольшой деревянный дом с мезонином, жил Рылеев. Выйдя

в отставку после женитьбы, он переехал со своей молодой женой в Петербург. Рылеев поселился здесь в небольшом деревянном доме Белобородова, нанятом за 750 руб. в год. «Квартера выгодная, — писал он матери, — 4 комнаты довольно большие, из коих одна перегороженная. Людская с кухней особенная... Сарай и ледник, в который можно будет складывать дрова». Тут и поныне сохранились следы сада, по дорожкам которого когда-то ходил Рылеев[182].

Некогда известный поэт Туманский воспел Черную речку в следующих стихах:

Пора покинуть терем древний,
Пора мне воспевать луга,
Свободу, светлые деревни
И Черной речки берега.

Местность эта обязана своим названием темному цвету воды. Эту окраску придают ей прибрежные заросли ольхи, опускающие свои корни в воду. Она на корнях настаивается и становится темной. Отсюда и название — «Черная речка», которое она носила уже в петровское время, когда вся местность эта была в 1721 г. подарена Остерману. В старину здесь было расположено сельцо, носившее название Никольское, все население которого составляли крестьяне трех фамилий: Вдовины, Баулины и Дрожины. В начале XIX века они стали сдавать тут неимущим жителям столицы, главным образом немцам, небольшие домики, получая за лето 25 руб. Кухонь при них не было вовсе, их заменяли вырытые на берегу реки ямы, завешенные рогожами.

Небольшие дачи появились здесь лишь к двадцатым годам. «На Черной речке, — сообщали в 1823 г. булгаринские «Литературные Листки», — живут по большей части люди среднего состояния, Пасторы, Ученые,

литераторы и чиновники, не имеющие больших доходов, а потому здесь всякий день можно быть в самом хорошем обществе, освежить ум и душу в приятной беседе и в излиянии благородных чувствований»[183].

Вскоре здесь стала селиться и аристократия; среди новых обитателей Черной речки уже появились имена Элизы Хитрово, Д. Фикельмон, медальера Федора Толстого. На одной из дач жил Н. И. Греч, которого в следующем году сменил тут А. И. Тургенев, писавший Вяземскому: «Третьего дня обедали у нас на Черной речке — Жуковский, Крылов, Гнедич, Сабуренок, Дашков, Греч, Мейстер и пр.» Жилых строений было здесь не много, и даже двадцать лет спустя на Черной речке насчитывалось всего сорок домов и столько же в прилегающих переулках — Языковом, Глухом и т. д. По сделанному подсчету, в то время здесь жило летом всего до двухсот сорока семейств.

Один из крупных участков принадлежал здесь в пушкинское время некоему Миллеру. Его знала вся Россия, так как метрдотель Миллер, совместно с лейб-медиком Виллие и кучером Байковым, неотлучно сопровождал Александра I при его постоянных разъездах.

Надо помянуть — повара или историографа Миллера...

Так в шуточных стихах Пушкин и его друзья вспоминали метрдотеля Миллера. Он был с Александром и в Таганроге. «Кочующий деспот», как называл Александра Пушкин.

Всю жизнь провел в дороге
И умер в Таганроге.

После его смерти Миллер перешел на службу к Николаю I, также сопровождая его в поездках. Однажды, при посещении Николаем Вязьмы, Миллер, покровительствовавший иностранцам, устроил невесте декабри-

ста Анненкова Полине Гебль аудиенцию у царя. В результате последовало высочайшее разрешение на ее выезд в Сибирь к жениху.

Миллер разбогател на придворной службе (в архивах Шереметевых сохранились приказы 1798 г. по дворцовому ведомству, изобличающие крупные злоупотребления, совершенные Миллером). Купив у Бахерахта участок на Черной речке, он построил тут ряд сельских домиков, «которые по ценам, — сообщает современник, — принадлежат к высшему разряду. Жители сих дач составляют особую колонию». По свидетельству одного журнала, дачники «под вечер иногда прогуливаются в весьма неважном саду дачи г-на Миллера; говорят, что деревья этого сада были свидетелями бесчисленных пламенных признаний и клятв в вечной страсти, нарушенных тотчас по переезде в город».

На одной из этих дач во второй половине мая 1833 г. поселился Пушкин. 24 мая мать Пушкина сообщил своей дочери Ольге Сергеевне в Варшаву: «Александр и Натали на Черной речке, они взяли дачу Миллера, которую в прошлом году занимали Маркеловы. Она очень красива, есть большой сад; дача очень велика: 15 комнат с верхом»[184]. Здесь, на Черной речке, у Пушкиных родился 6 июля сын Александр.

Работая в архивах, Пушкин, несмотря на отдаленность дачи, каждый день бывал в городе, совершая путь туда и обратно пешком. Он был, как известно, большой любитель дальних прогулок и ходил пешком даже в Царское Село.

Миллеровский сад настолько понравился Пушкину, что в 1835 г. он снова летом поселился здесь, но уже, видимо, на соседней даче, так как на одной из рукописей Пушкина сохранилась пометка: «1835, Черная речка, за Мил... 25 июня».

Сосед Пушкина по даче К. В. Гроссгейнрих, наставник известной поэтессы Елизаветы Кульман, так рано умершей, отметил следующее: Я жил в соседстве с ним (Пушкиным) на островах, внутри большого и отрытого для публики сада*, и через милых детей его познакомился с ним самим. Этот приветливый и, несмотря на громкое свое имя, снисходительный человек помнил, что слыхал имя наставника Елизаветы от других еще прежде, нежели от него самого. — «Моя покойная ученица, — сказал я, — при всем неограниченном почтении к вашему гению, находила в вас один недостаток». — «Какой?» — спросил он с любезной улыбкой. — «Тот, что вы написали одну только сказку, вместо того, чтобы пройти всю чреду русских сказок». — «На это не стало бы человеческой жизни». — «Но я сказал вам только половину упрека», — продолжал наставник. — «Что же еще?» — «Что после вас никто не пойдет с успехом этим путем»[185].

Где же стояла эта дача Миллера? По сообщению журнала «Беседа», — «Пушкин на Черной речке жил в том самом доме, который впоследствии 11 лет подряд занимал покойный Сергей Атава (Терпигорев). Дом этот до сих пор цел». Установить, где именно жил и умер Атава, не представляет больших трудностей. В газетном извещении о смерти писателя сообщалось: «Вынос тела из квартиры по Строгановской набережной, дом № 17»[186]. Таким образом, если верны сообщенные «Беседой» сведения, дача Миллера должна стоять на Строгановской набережной, на углу Строгановской улицы, под № 17[187].

Однако при ближайшей проверке сведения эти оказались не точными. На всех планах этой местности 1828—

---

* Под названием Мюллеровой дачи на Черной речке, насупротив сада гр. Строгановой.

1849 гг. участок метрдотеля Миллера, а затем наследников, показан не на Строгановской набережной, а по набережной Черной речки. Этот обширный участок был в свое время застроен рядом дач. Каждая из них имела свой особый сад; в глубине стояли службы. Участок Миллера был впоследствии разделен. Теперь это участки по набережной Черной речки на углу Языкова переулка[188], расположенные от № 55 по направлению к Сердобольской улице. Точные указания на то, где именно находилась дача Пушкина, мне удалось найти лишь недавно в книге, изданной дочерью Сперанского Е. М. Фроловой-Багреевой в Брюсселе в 1858 г. «Остановимся на минуту перед этим угловым домиком, перед которым играют прелестные дети в русских рубашках, — пишет автор, — здесь в этом доме Пушкин провел последние годы своей жизни»[189].

Как видно из слов Е. Фроловой-Багреевой, дом Миллера, в котором жил Пушкин, существовал еще в 1858 г. Указание на «угловой» участок дает полное основание считать, что миллеровская дача стояла на набережной Черной речки, на углу Языкова пер., на территории нынешнего участка № 55 [190].

Проведя лето 1835 г. на Черной речке, Пушкин в следующем году поселился на Каменном острове.

По преданию, остров получил свое название от большого камня, лежавшего в Малой Невке. Первым владельцем острова был канцлер Г. И. Головкин, получивший его в подарок от Петра I в 1704 г. Затем он перешел во владение другого канцлера, А. П. Бестужева-Рюмина, на жалевшего средств на украшение острова. Здесь был разведен голландский сад и проведены выложенные камнем рвы. Затем остров перешел к великому князю Павлу Петровичу, построившему тут дворец[191].

Здесь же впоследствии был основан инвалидный дом для стариков-матросов.

Однако местность все еще оставалась не заселенной. Сообщение с соседними островами поддерживали старики-инвалиды, державшие для перевоза целую флотилию лодок.

Когда же Александр I избрал Каменный остров своей излюбленной резиденцией, здесь все преобразилось. «Вдруг прервалось угрюмое молчание окрест лежащих островов, — пишет Вигель, — везде на них застучали топор и молот и засвистела пила; болота их осушились и поросли дачами». Вскоре остров приобрел настолько привлекательный вид, что посетивший его известный английский путешественник нашел, что после окрестностей Калькутты он не видел ничего более прекрасного[192]. Французский посол бар. де Барант в одном из своих писем 1836 г. к Анисон дю Перрон так описал дельту Невы: «Острова составляют одну из красот Петербурга. Вообразите себе по ту сторону реки, за мостом, целый лабиринт, около двух квадратных верст, дерна, лесов, садов, перерезанных тысячами потоков, то маленькими ручейками, то речками или озерами; все это граничит с большими сосновыми лесами, прилегающими к морю. Здесь у каждого своя дача, тщательно отделанная, обсаженная цветами. Никакой ограды, все места для гулянья общие и тем не менее этот огромный общественный сад отлично содержится». Невские острова вскоре избрал своим местопребыванием двор, а за ним последовала туда вся петербургская аристократия.

Люди более скромного достатка продолжали селиться на Петергофской дороге, Крестовском острове и Колтовской набережной.

Пушкин поселился на Каменном острове на даче Добровольского[193]. Это был громадный участок по набережной Большой Невки, недалеко от Каменно-

островского театра. От известной театральной дачи у моста он отделялся лишь участками Штиглица и Челищева. На этом живописном месте стояло несколько дач. Это видно из письма К. Булгакова, сообщавшего 17 мая 1834 г., что Лазаревы поселились на Каменном острове на «одной из дач Добровольского». На планах Каменного острова 1828—49 гг. на участке Добровольского также показано несколько строений. Теперь тут сплошь новые постройки (набережная Большой Невки № 20/18)[194]. Владелец дач, Ф. О. Доливо-Добровольский, был в эпоху наполеоновских войн полевым инспектором почт. В пушкинское время он занимал должность члена совета при главноуправляющем над почтовым департаментом. Богатый человек, он владел также домом на Гороховой улице близ Загородного проспекта, рядом со съезжим домом.

Как сказано выше, Пушкин поселился на даче Добровольского в 1836 г. Здесь после смерти матери гостила у брата Ольга Сергеевна. К этому периоду времени, проведенному на Каменном острове, относятся два замечательных произведения Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и «Когда за городом, задумчив, я брожу». Последнее стихотворение имеет пометку: «14 августа 1836. Кам. Остр.». Эти исполненные печали стихи были навеяны, очевидно, посещением кладбища; но это не могло быть еще не существовавшее тогда Новодеревенское кладбище, как указано в примечании к этому стихотворению в собрании сочинений А. С. Пушкина под ред. Венгерова. Между тем из окон дачи Пушкина виднелась вдали, по ту сторону реки, ограда Благовещенского кладбища, основанного в 1762 г. Вероятно, бродя там среди могил, поэт отметил:

Купцов, чиновников усопших мавзолеи
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах[195].

Дальше за мостом, соединявшим с середины XVIII века Каменный остров с Аптекарским, тянулся между небольшими глухими улицами Каменноостровский проспект. Современники еще в шестидесятых годах отмечали там «кривые, неправильные, грязные улицы; дома деревянные, большею частью ветхие; обилие садов; вместо тротуаров — мостки или просто кое-как брошенные на землю доски; плохое освещение и пр.».

В районе Аптекарского острова Каменностровский проспект, по левой стороне, был застроен в начале XIX столетия дачами, принадлежавшими ряду известных петербургских архитекторов, образовавших свою особую колонию. Тут стояли «мызы» Готлиба Паульсона, участника постройки Зимнего дворца, Якова Феррари, строителя башни городской думы на Невском проспекте, и, наконец, Андрея Воронихина, автора проекта Казанского собора. Рядом с ним на большом участке расположены были «мызы» прославленного зодчего Василия Баженова.

Из всех строений этой маленькой колонии петербургских архитекторов до нашего времени уцелела лишь дача А. Н. Воронихина (ныне № 62 по Кировскому проспекту). Исполнившееся 120-летие со дня смерти зодчего было отмечено рядом собраний, организованных ленинградской общественностью[196]. По сообщению журнала «Старые Годы», Воронихин прожил в этом доме свои «последние годы»[197]. Хорошие формы дачи, обличающие уверенную руку большого мастера, дают полное основание приписать эту постройку А. Воронихину. К сожалению, за 125 с лишним лет своего существования дом этот неоднократно варварски переделывался и снаружи и внутри. Старинные круглые кафельные печи уничтожены совсем недавно. По рассказам старожилов, весь верхний двусветный зал дачи служил Воронихину проектировочной мастерской[198].

Тут же поблизости, у Карповки, на нынешнем участке № 56 стояла дача составителя петербургского адрес-

календаря С. Аллера. В двадцатых годах ее занимал известный А. С. Шишков. Этот старинный двухэтажный дом с пилястрами пришел ныне в такую ветхость, что летом 1935 г. его пришлось разобрать.

Когда заболел психическим расстройством поэт Батюшков, его привезли в Петербург к его тетке К. Ф. Муравьевой, жившей в своем доме на Фонтанке. Переехав на свою дачу на Каменном острове, она наняла для больного поэта стоявшую против ее дома по другую сторону реки дачу Аллера. При даче находился, как гласили публикации, «большой Английский сад, с качелями и каруселью»[199].

Некогда воспетый Пушкиным «чудотворец» стихов

Философ резвый и пиит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых аонид —

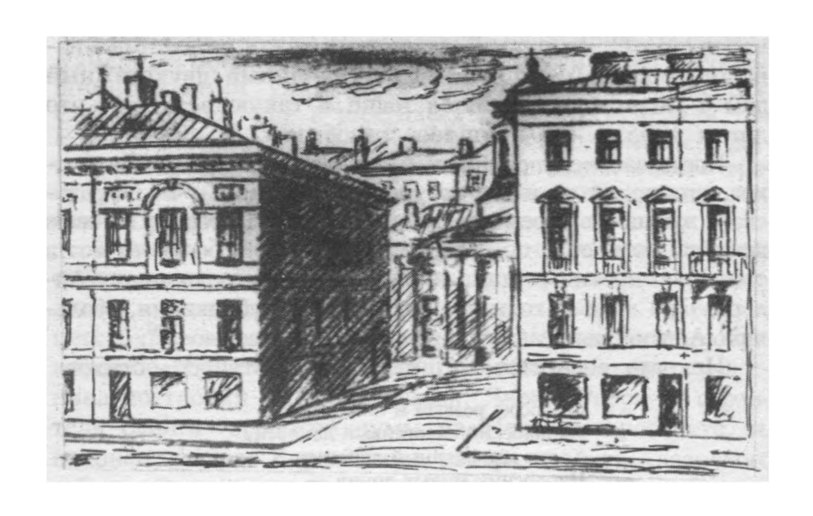
теперь одиноко бродил по своему уединенному саду, избегая встреч с людьми. И когда один из навестивших его друзей спросил поэта, не написал ли он что-либо новое, Батюшков ответил: «Что писать мне и что говорить о стихах моих? Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди, узнай теперь, что в нем было!..»

Скажи, мудрец младой, что прочно на земле,
Где постоянно жизни счастье?

Через несколько лет на той же даче Аллера поселился Гнедич, тщетно искавший следов пребывания здесь поэта. Лишь на одном окне он прочел нацарапанную на стекле надпись: «Есть жизнь и за могилой» и на другом — «Ombra adorata!»* — Это было все, что осталось от пребывания здесь Батюшкова.

---

* Обожаемая тень (итал.) — *Ред.*



Глава восьмая

Случайно уцелевший скромный двухэтажный дом на углу проспекта Огородникова, бывшего Рижского проспекта (д. № 76/6), и Эстляндской улицы[200] связан с летописью жизни декабриста М. С. Лунина, одного из выдающихся людей своей эпохи. Благодаря ряду опубликованных за последнее время работ, посвященных Лунину, его образ встает перед нами в новом, достойном его освещении[201].

Человек большого образования и блестящих способностей, он был, по словам французского драматурга Ипполита Оже, «поэт и музыкант и в то же время реформатор, политикоэконом, государственный человек, изучивший социальные вопросы, знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями». «В нем чувствовалась сильная воля... Голос у него был резкий, пронзительный; слова, точно сами собой, срывались с насмешливых губ

и всегда попадали в цель. В спорах он побивал противника, нанося раны, которые никогда не заживали; логика его доводов была так же неотразима, как и колкость шуток. Он был высокого роста, стройно и тонко сложен, но худоба его происходила не от болезни: усиленная умственная деятельность рано истощала его силы».

В своих воспоминаниях о Лунине И. Оже подробно рассказывает о постоянных столкновениях, происходивших между стариком Луниным и молодым кавалергардом, жившим в отцовском доме. После одной жестокой ссоры с отцом Лунин, проведя бессонную ночь над обдумыванием своего положения, поутру послал своего камердинера доложить отцу, что он просит разрешения к нему зайти. Поднимаясь по лестнице в апартаменты старого барина, слуга встретил его камердинера.

«Болваны останавливаются на лестнице побалагурить, — рассказывал М. Лунин Ипполиту Оже. — В это время я выхожу и иду наверх; отец мой спускается вниз... Мы встречаемся, лакеи уступают нам свое место...

— Отец мой, — говорю я весьма почтительно, — умоляю вас, простите меня: я виноват перед вами.

— Сын мой, — отвечает он мне, — я был слишком суров, это правда... Но, подумай, Миша: если я выплачу твои долги, ты опять наделаешь новых... Нужно как-нибудь умиротворить твоих кредиторов.

— Отец мой, самое лучшее средство — расплатиться с ними; иного исхода нет.

— Но если я заплачу им, они опять тебе дадут взаймы.

— Батюшка, я боюсь, что именно так и будет.

— Черт возьми, да именно этого-то я и не хочу.

— Ну так я вам предложу очень разумную вещь.

— Говори, я слушаю.

— Но, дорогой батюшка, вам неудобно на лестнице...

— Мне очень ловко; какое твое разумное предложение? Говори.

— Батюшка, вы заплатите за меня долги.

— Да я не хочу платить твоих долгов.

— Позвольте, дайте договорить. Вы заплатите долги и кроме того вы мне еще выдадите небольшую сумму, которая мне необходима. <...>

— Да ты с ума сошел, бедный Миша!

— Батюшка, до некоторой степени это верно. Вы увидите сами, дайте договорить: если вы заплатите долги мои и дадите мне еще деньжонок, то вы навсегда разделаетесь со мной. Я выйду в отставку... <...>

— У тебя десять тысяч долгу?

— Может быть даже немного больше.

— Ты хочешь путешествовать?

— Из экономии, батюшка: я соблюдаю ваши выгоды.

— На это потребуется тысяч пять?

— По крайней мере.

— И больше тебе ничего не нужно?

— Мне нужно ваше благословение, батюшка.

— Благословляю тебя.

— Вы начинаете с конца, батюшка. <...>.

— Тогда (продолжал Лунин уже другим тоном), так как он все еще сидел на ступеньке и жалобно смотрел на меня, с мольбою простирая руки, я помог ему встать. Он объявил, что принимает мои условия. Я его проводил и вернулся к себе. Вот моя просьба об отставке, только что испеченная: еще чернила не успели высохнуть! В ней моя будущность, моя свобода. По-испански свобода libertade. <...>

Прочь обязательная служба! Я не хочу быть в зависимости от своего официального положения: я буду приносить пользу людям тем способом, какой мне внушают разум и сердце. Гражданин вселенной — лучше этого титула нет на свете. Свобода! Libertade! Я уезжаю отсюда».

Когда Александру I доложили о желании Лунина выйти в отставку, царь сказал: «Это самое лучшее, что он может сделать». — «Он просит позволения ехать за границу». — «Позволяю: с Богом!»

Лунин получил отставку в ноябре 1815 г., но собрался выехать за границу лишь через полгода. В мае и июне 1816 г. в «С.-Петербугских Ведомостях» появились публикации об отъезде за границу «Михаило Сергеевича Лунина, отставного Гвардии Ротмистра и Кавалера с дворовым человеком Алексеем Еремеевым; жив. в Малой Коломне в доме госпожи Дубецкой, № 7». Дом Дубецкой сохранился до нашего времени. Теперь это дом № 14 по улице Союза Печатников, ранее Торговой улице[202].

Судя по тому, что Лунин, уезжая за границу, уже не жил в доме отца, надо думать, что к этому времени они уже окончательно рассорились между собою. Как сообщает его спутник по путешествию, Ипполит Оже, отъезд их состоялся лишь 10 сентября 1816 г.[203] Приехав в Париж, Лунин вступил в тесную связь с тайными политическими кружками; смерть отца вынудила его вернуться для устройства своих дел в Петербург. Здесь от примкнул к недавно основанному Союзу Спасения. Вскоре Лунин стал членом Союза Благоденствия, а затем и Северного Тайного Общества, где он сразу занял самую крайнюю позицию. Согласно следственным документам, именно от Лунина исходила идея цареубийства. Ему же принадлежал проект устройства тайной литографии.

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры...

К этому времени Пушкин только что окончил лицей. Общность симпатий связала юного поэта с кружком Лунина и его друзей. Пушкин встречался с Луниным у Тургеневых, у Карамзина, у К. Ф. Муравьевой, приходившейся теткой Лунину. В октябре 1819 г., провожая

6 Зак.№ 125

Батюшкова, уезжавшего за границу, Лунин и Пушкин вместе обедали в Царском Селе в тесном кругу друзей больного поэта, которому врачи предписали пребывание на юге[204]. Вскоре север оказался «вреден» и для Пушкина, вынужденного в 1820 г. уехать в Бессарабию.

Лунин также вскоре оставил Петербург.

Предлагаемые Луниным «решительные меры» — «умертвить императора на царскосельской или другой какой-либо дороге» — не нашли реальной поддержки. Убедившись в «безуспешном и непостоянном ходе занятий Общества», Лунин уехал в Варшаву, где вновь поступил на военную службу. В бумагах Лунина, относящихся к этому периоду его жизни, недавно найден карандашный портрет Пушкина, единственная зарисовка, исполненная самим Луниным, не считая автопортретов[205].

Когда после восстания 14 декабря имя Лунина было занесено в список активнейших членов Тайного Общества, в. кн. Константин Павлович, очень благоволивший к Лунину, призвав его к себе, предложил ему, как говорили, бежать за границу. «Бежать, избегая той участи, которой подвергнутся мои товарищи, было бы малодушием, — ответил Лунин. — Я разделял с товарищами их убеждения, разделю и наказание». На всех допросах Лунин, один из немногих декабристов, проявил удивительную твердость духа, не выдав никого из своих сотоварищей. Присужденный к двадцати годам каторжных работ, сокращенных потом до 15 лет, он провел несколько лет в казематах Петропавловской, Свеаборгской и Выборгской крепостей, откуда в 1828 г. был отправлен в нерчинские рудники, в Сибирь[206].

Лишения ссылки не сломили твердый дух Лунина. Как передает декабрист Свистунов, Лунин был того мнения, что «настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны, сло-

вом и примером, служить делу, которому себя посвятили». Ряд его исключительных по интересу писем из Сибири бросают яркий свет на личность этого «замечательного», по выражению Пушкина, человека. «Я любил справедливость и ненавидел несправедливость и потому нахожусь в изгнании», — записал Лунин. «Мысли, за которые приговорили меня к политической смерти, будут необходимым условием гражданской жизни», — отметил он в своем дневнике. «В России два проводника, — говорил Лунин, — язык до Киева, а перо до Шлиссельбурга».

Язвительное перо Лунина его погубило. Блестящие памфлеты, написанные им в далекой ссылке, стали известны правительству Николая I, и Лунин был заключен в Акатуевский тюремный замок. Недавно опубликованы дотоле неизвестные письма Лунина, рисующие картину медленного умирания этого человека непреклонной воли и героического мужества[207]. Лунин был заживо погребен в темной камере, настолько сырой, что одежда и книги его покрылись плесенью. «Чай без сахара, хлеб, вода, иногда каша, — вот моя ежедневная пища», — записал Лунин. С горькой иронией отметил он, что «единственное его развлечение заключается в присутствии при наказании кнутом во дворе тюрьмы».

Посетившему его в остроге сенатору Толстому Лунин сказал: «Окажите честь посетить меня в моем гробу».

Лунин умер в Акатуе в декабре 1845 г. «Могила его, — сказал Волконский, — должна быть близка каждому доброму русскому». Герцен назвал Лунина «одним из тончайших умов и деликатнейших», сожалея о том, что современное ему поколение не обладало «гордой, непреклонной... отвагой Лунина»[208].

Годы ссылки Пушкина совпали с усиленной застройкой Петербурга. И тщетно искал поэт по возвращении

знакомые дома старой Коломны, связанные с воспоминаниями его юности.

Исчезла и «смиренная лачужка» у Покрова, приют бедной вдовы и ее дочери Параши.

Дни три тому туда ходил я вместе
С одним знакомым перед вечерком.
Лачужки этой нет уж там. На месте
Ее построен трехэтажный дом...

На высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя. Странным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредем
Одни или с товарищем вдвоем.

«Наружность столицы, видимо, изменяется, — писал в то время Греч. — Кто не побывает в течение года в некоторых частях города, тот с трудом их узнает. Так, например, квартал Коломны, между Фонтанкой и Мойкой, у Калинкина моста, обстроен в короткое время и с удивительным богатством»[209].

Однако слова Греча были, видимо, преувеличены, так как Гоголь в это же время дал совершенно иное описание Коломны. «Здесь ничто не похоже на столицу, но вместе с этим не похоже и на провинциальный городок... Тут совершенно другой свет, и, въехавши в уединенные коломенские улицы, вы, кажется, слышите, как оставляют вас молодые желания и порывы. <...> Здесь всё тишина и отставка. <...> Сюда переезжают отставные чиновники, которых пенсион не превышает пятисот рублей в год; вдовы, жившие прежде мужними трудами... выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавке и забирающие каждый день на пять копеек кофию и на четыре копейки сахару... <...> Жизнь в Коломне всегда однооб-

разна; редко гремит в мирных улицах карета, кроме разве той, в которой ездят актеры и которая звоном, громом и бряканьем своим смущает всеобщую тишину. Здесь почти все — пешеходы. <...> Цена квартир редко достигает тысячи рублей; их больше от пятнадцати до двадцати и тридцати рублей в месяц, не считая множества углов, которые отдаются с отоплением и кофием за четыре с полтиною в месяц. Вдовы чиновницы, получающие пенсион, самые солидные обитательницы этой части.... За ними следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны. <...> После этих тузов, этого аристократства Коломны, следует необыкновенная дробь и мелочь; и для наблюдателя так же трудно сделать перечень всем лицам, занимающим разные углы и закоулки одной комнаты, как поименовать все то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе»[210].

Коломна еще долгие годы оставалась самой бедной и малонаселенной частью города. К. Н. Лебедев, автор известных записок, отметил в шестидесятых годах полное отсутствие здесь магазинов. А в девятисотых годах известный архитектор Н. Султанов говорил, что он знавал в Петербурге одного старожила, хорошо помнившего время, когда на площади, в конце Торговой улицы, было такое глубокое болото, что петербургские чиновники ходили туда по праздникам стрелять куликов[211].

Острая нужда заставила поселиться в Коломне писателя Николая Полевого. Здесь была его последняя квартира. Он жил у Аларчина моста, близ Английского проспекта, в скромном трехэтажном доме, ныне № 75 по Екатерингофскому проспекту[212]. В девятисотых годах дом был надстроен двумя этажами.

Литературная карьера Полевого началась в Москве. Он приехал туда из Курска, где вел торговые книги

одного богатого купца. В Москве Полевой сблизился с рядом передовых людей и вскоре целиком отдался литературной работе. Ему удалось добиться разрешения на издание нового журнала; весть о выходе в свет «Московского Телеграфа», издаваемого второй гильдии купцом Николаем Полевым, взволновала весь литературный Олимп. Насмешкам над выскочкой-купцом не было конца.

Он первой гильдии подлец,
Второй он гильдии купец
И третьей гильдии писатель.

Между тем, по словам Белинского, «Московский Телеграф» был несомненно лучшим журналом в России от начала журналистики.

Герцен заметил о Полевом, что «он родился быть журналистом, летописцем успехов и открытий политической и ученой борьбы». Для правящих кругов 30-х годов буржуазно-демократический писатель показался «опасным либералом». Помещенная им в «Телеграфе» критика патриотической пьесы Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» послужила поводом для обвинения издателя журнала «в революционном направлении мыслей, которое справедливо можно назвать нравственной заразой». «Телеграф», «по высочайшему повелению», был закрыт. Полевому было запрещено редактировать какие-либо издания и подписывать своим именем статьи в журналах. Совершенно разоренный журналист уехал в 1837 г. в Петербург. Здесь ему пришлось испить до дна горькую чашу унижений. Надо было заботиться «о политическом и гражданском спасении своем». Полевой начал писать патриотические пьесы. Наконец, острая нужда заставила его сблизиться со своими прежними литературными противниками. В письме к брату он писал: «Я боялся эгоизма Греча, поляцизма Булгарина, трусости Смирдина... Надобно было решиться — я отправился к Гречу, Булгарину, Смирдину: сказал им все... говорил

сильно и искренно. Нет! Все могут быть людьми: Булгарин расплакался, Греч обнял меня, Смирдин сказал, что меня с ним ничто не разлучит. Все мы подали друг другу руку и, благословясь, подписали наши условия». Новый, знаменательный союз был заключен.

По переезде в Петербург Полевой первоначально поселился в небольшом доме Смирдина на Лиговской улице, на углу Гусева переулка[213]. Он занял тут со своей многочисленной семьей тесное, сырое помещение в первом этаже. Убогая квартира литератора стала вскоре известна многим петербуржцам. В конце 1838 г. в дневнике Полевого встречаются записи о посещении его «юношей Белинским», Некрасовым, кавалерист-девицей Дуровой, Каратыгиным, Глинкой. Здесь в доме Смирдина Полевой потерял сына. «Сорок третий год тернистого пути, — писал он брату, — сорок третий год страданий».

Тяжелые воспоминания, связанные с домом Смирдина, заставили Полевого переехать осенью 1839 г. на Большую Мастерскую в дом Зейделя, а затем на Екатерингофский проспект. Однако новые литературные связи создали резкое отчуждение между Полевым и его прежними друзьями. Далеко в прошлом было теперь время, когда Пушкин и его друзья горячо поддерживали начинания московского журналиста, сотрудничая в его издании. Различие убеждений разделило их навсегда.

Весть о внезапной смерти Пушкина глубоко потрясла Полевого. «Я забыл мое горе, мои ничтожные, но тяжкие заботы жизни, горькими слезами почтил память Пушкина, — записал Полевой. — В порыве души я призывал тогда всех литераторов воздвигнуть достойный памятник на могиле Пушкина. Голос мой не нашел отзыва других... Не льстил я Пушкину при жизни его, а чувство уважения к нему, чувство сознания его высоких дарований хранил я и тогда постоянно в душе моей... я сохраню их до конца моей жизни — кто знает — может быть

удаленного еще несколькими грустными годами, а может быть и близкого...»

Его предчувствия оправдались. Пережитые испытания и суровая нищета сократили его жизнь. Он умер внезапно.

Его отпевали в Никольском соборе. Полевой лежал в гробу, согласно его воле, в том виде, в каком настигла его смерть — в халате, небритый. Когда гроб выносили из церкви, Булгарин пожелал нести его с другими. — «Полноте, — заметил ему П. А. Каратыгин, — зачем вам? Вы уже при жизни довольно его поносили».

Похороны отличались большой торжественностью. Многочисленная толпа пришла отдать последний долг талантливому русскому журналисту.

Его гроб несли на руках до самого Волкова кладбища. Впоследствии мостки, пролегавшие возле его могилы, получили название «Литераторских мостков». Здесь, близ Полевого, нашли себе последний приют Белинский, Добролюбов и Писарев[214].

На том же Екатерингофском проспекте под № 51 стоит один из лучших домов старой Коломны. Фронтон, мощный карниз, прекрасной лепки узкие панно и хорошие маски на замковых камнях, так же как и выдвинутая вперед центральная часть дома, подчеркивают некоторую торжественность форм здания, по архитектурному замыслу очень скромного. Неблагоприятное впечатление производит дурное состояние раскраски дома и утеря четкости рисунка скульптурных вставок благодаря заливке. Во двор выходят любопытные балконы.

Участок это в начале XIX века принадлежал некоему статскому советнику Андрею Карцеву, от наследников которого перешел к коллежскому советнику Рогинскому, вероятно и построившему ныне существующий дом[215].

Здесь, по возвращении из похода в Исландию, поселился в 1823 г. будущий декабрист, мичман Гвардейско-

го экипажа Александр Беляев. Он занял квартиру, состоявшую из двух «отделений» в первом и втором этажах. В одном поместились братья Беляевы и их сотоварищ, мичман Дивов, в другом их общий друг и сослуживец Бодиско. Братья Беляевы и их друзья — Мусин-Пушкин, Вишневский, Бодиско, Дивов и другие составляли кружок флотской свободомыслящей молодежи. Здесь, на Екатерингофском проспекте частыми гостями были лейтенант Арбузов и Завалишин, оказавшие большое влияние на образ мыслей Беляевых. Своими пламенными речами они утвердили Беляевых в мысли о необходимости учреждения в России Республиканского Федеративного правления. Согласно следственным документам, молодые заговорщики «стремились к сей цели с горячностью»[216]. Здесь у Беляевых лейтенант Завалишин декламировал написанные им стихи:

Ах, скоро ль кончится терпенье
И долго ль будем в рабстве жить;
Свободы нашей похищенье,
Ах, долго ль будем мы сносить?!

Я песни страшные слагаю,
Моих песней не петь рабам;
Дворяне — вас так называю
И гибель возвещаю вам.

Участники событий 14 декабря, Беляевы были заключены в Петропавловскую крепость. Старший из них оставил подробную историю своего заключения, описав свою камеру, величиною в четыре шага, «немного больше гроба».

Участие Беляевых в декабрьских событиях могло пройти незамеченным; их погубило предательство их соседа по квартире, мичмана Дивова, который «раскаялся» и выдал всех своих сотоварищей. Беляевы были присуждены к восьми годам каторжных работ и долголетней ссылке в Сибирь.

Когда до сосланных декабристов дошла весть о «всемилостивейшем» освобождении их от ношения кандалов, Беляев отметил в своих записках: «Кто поверит, но скажу истину, нам стало жаль этих оков, с которыми мы уже свыклись в течение этих трех-четырех лет и которые все же были для нас звучными свидетелями нашей любви к отечеству»[217].

В Сибири А. П. Беляеву пришлось пережить тяжелую минуту расставания с горячо любимым братом. «Где, бывало, встретитесь вы с Александром, там наверное увидите и Петра, — писал о них декабрист Лорер. — Эти братья-друзья должны были расстаться: одного ссылали за 1 000 верст в одну сторону, другого — за 600 в другую... Я провожал их до заставы, где братья, обнявшись, может быть, в последний раз в сем мире, повалились каждый отдельно в сани и были увезены неумолимыми казаками...»

Близ дома Рогинского, где жили Беляевы, дальше по Екатерингофскому, за Кашиным мостом, возвышается дом № 39, долгие годы принадлежавший финляндскому статс-секретариату (ныне финляндское консульство). Этот старый дом, украшенный фронтоном, сохранил, в главных чертах, свою отделку. Уцелели и старинные балконы.

Участок этот против Никольского собора принадлежал в XVIII веке одному из замечательных русских зодчих В. И. Баженову. «Посмотрите на церкви, на дома, воздвигнутые Баженовым, — писал современник, — какая смелость, благородство, величие, прочность дела. Сличите лучшие труды других зодчих — какая бедность воображения, какое жалкое безвкусие». Знаменитый Новиков назвал Баженова «фантастом, которому кажутся небылицы».

Этот участок на Екатерингофском проспекте стал собственностью Баженова, вероятно, по переезде его из Москвы в начале девяностых годов XVIII века. Возможно, что он был пожалован ему великим князем Павлом

Петровичем, весьма к нему благоволившим. По вступлении Павла на престол Баженов тотчас же получил чин действительного статского советника, звание вице-президента Академии Художеств и тысячу душ крестьян. Баженов вскоре внезапно умер, будто бы отравленный завистниками. Посвященная Баженову работа В. Згуры, пытавшегося дать общий формальный анализ его творчества, к сожалению, осталась незаконченной, за внезапной смертью талантливого молодого искусствоведа[218]. Между тем давно назрела необходимость полного пересмотра списка архитектурных произведений, приписываемых Баженову в Ленинграде. Так, например, во вновь выпущенном Управлением дворцами и парками Ленсовета издании «Центральный парк культуры и отдыха» в Ленинграде к постройкам Баженова отнесена церковь Иоанна Предтечи на Кировском проспекте. Между тем в планировке здания и внутреннем пространственном разрешении совершенно отсутствуют обычные приемы Баженова. Проект церкви с полной достоверностью можно приписать архитектору Фельтену[219].

Первоначально на этом участке на Екатерингофском проспекте расположен был морской полковой двор, против которого, по другую сторону улицы, архитектор Чевакинский построил Никольский собор[220]. Однако составленный в 1798 г. при Сенате атлас Петербурга свидетельствует, что означенный участок принадлежал уже тогда действительному статскому советнику В. И. Баженову. Те же сведения мы находим и в «Истории Петербурга» П. Н. Петрова[221].

В XVIII веке участок Баженова простирался от Крюкова канала до нынешней улицы Глинки. Наследники архитектора, разделив место, распродали его трем различным владельцам[222]. Один из них вскоре после 1805 г. построил на Екатерингофском проспекте уцелевшее до нашего времени здание (ныне № 39), носящее несомненные

следы некоторых позднейших переделок. Они относятся к сороковым годам, когда стоявший здесь дом княгини Хованской был приобретен статс-секретариатом по делам великого князя Финляндского и приспособлен (1844 г.) для его нужд известным архитектором Боссе[223].

Этот дом на Екатерингофском проспекте занимал в свое время «Петербургский Крез», заводчик Всеволод Андреевич Всеволожский[224]. Человек предприимчивый, основатель волжского пароходного дела, Всеволожский принадлежал к тем кругам русской аристократии, которая тесно связала свои интересы с промышленным капиталом.

Большую часть времени Всеволожский проводил в окрестностях Петербурга в своем имении Рябово, на которое он затратил несколько миллионов рублей.

Рябовские оранжереи славились по всей России, и в день Нового года, поздравляя императрицу, Всеволожский неизменно подносил ей на золотом блюде фрукты и ягоды собственного «выроста». На его обедах часто бывало до 100 приглашенных, к услугам которых была огромная дворня из 400 слуг. Для крепостного театра Всеволожского писали сцены и комедии Хмельницкий, Федор Глинка, Шаховской и Крылов.

Здесь же, на Екатерингофском проспекте, жил и сын Всеволожского Никита[225],

Счастливый сын пиров,
Балованный дитя свободы.

Это был известный театрал и затейник, объединявший вокруг себя кружок веселящейся молодежи. Федор Глинка так охарактеризовал Никиту Всеволожского:

Он весел, любит жизнь простую,
И страх, как всеми он любим!
И под кафтаном золотым
Он носит душу золотую...
Зимой живет он в Петрограде
Для службы, света и связей,
А летом он гостит в «Отраде»
И сам отрада для друзей.

В пушкинские дни этот дом на Екатерингофском проспекте служил приютом «Зеленой Лампе»; тут у Всеволожского за круглым столом, при свете зеленой лампы, обсуждались новости литературы и политики. Гнедич декламировал здесь свои гекзаметры, мечтательный Дельвиг читал послания к друзьям. Тут, не стесняясь, говорили —

Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного...

Покончив с литературными темами, члены «Зеленой Лампы» переходили к «зеленому полю». Нередко карточный азарт сменялся веселыми пирушками, украшением которых являлись

Красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой.

То были, большею частью, «театральные сильфиды», всегда желанные гости Всеволожского, страстного поклонника театра, переводчика ряда комедий и опер. При их участии здесь устраивались веселые представления, как например, «Изгнание Адама и Евы» или «Гибель Содома и Гоморры».

На одном из слуг Всеволожского, калмыке, лежала обязанность строго следить за беседою гостей; услышав излишне нескромное слово, калмык тотчас подносил провинившемуся «штрафной» бокал со словами: «Здравия желаем».

Ревностным посетителем кружка был Пушкин, назвавший Всеволожского «лучшим из минутных друзей моей минутной младости». Известный актер П. А. Каратыгин рассказывал, что он однажды видел юного Пушкина, весело приветствовавшего из окна квартиры

Всеволожского проходивших мимо друзей. Пушкин размахивал при этом своим париком, снятым с наголо обритой после горячки головы.

Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый — но живой;
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной...

Членами кружка «Зеленой Лампы» были также — приятель Пушкина и Грибоедова гусар Каверин, будущий диктатор декабристов С. П. Трубецкой, философ и политик Яков Толстой и др. Есть предположение, что на собраниях кружка бывал и Грибоедов[226].

Многие посетители кружка состояли в то же время членами «Союза Благоденствия». Связь «Союза» с «Лампой» была, конечно, совершенно негласной, но умонастроение его членов передавалось кружку Всеволожского. Пушкин, как известно, не был членом «Союза Благоденствия» и не принадлежал ни к одному из тайных обществ, но через кружок «Зеленой Лампы» он также испытал на себе влияние «Союза». Оторванный ссылкою от своих петербургских друзей, от с грустью вспоминал

Пустынный дом,
Где мы так часто пировали...

Поэт переносился мыслью к беззаботному прошлому.

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?..
    Вновь слышу, верные поэты,
    Ваш очарованный язык...
    Налейте мне вина кометы,
    Желай мне здравия, калмык!

Дальше за Харламовым мостом, на углу канала стоит многоэтажный доходный дом № 25/104. Это известный в старину дом Вальха. В екатерининское время тирольцы

Вальхи вели в городе торговлю птицами. У них можно было достать «преизрядных канареек, в числе коих и обученные, папогаев и какатунов с хохлами». В начале XIX века один из Вальхов, водочный и уксусный заводчик, владел уже на канале, «на весьма выгодном месте», большим двухэтажным домом[227].

Тут поселился приехавший впервые в Петербург Грибоедов. «Квартира у меня славная, — писал он в 1816 г. своему другу Бегичеву, — как приедешь, прямо у меня остановись на Екатерининском канале у Харламова мосту, угольный дом Валька.... Приезжай, приезжай, приезжай скорее. В воскресенье я с Истоминой и с Шереметевым еду в Шустер-клуб; кабы ты был здесь, и ты бы с нами дурачился. — Сколько здесь портеру и как дешево»[228].

Воспетая Пушкиным знаменитая танцовщица Истомина была приятельницей Грибоедова, близкий друг которого кавалергард Василий Шереметев заплатил жизнью за любовь легкомысленной красавицы. Участие Грибоедова в качестве свидетеля в состоявшейся дуэли Шереметева с камер-юнкером Завадовским послужило одной из причин ссылки писателя. Трагический исход дуэли произвел на него неизгладимое впечатление. Грибоедов никогда не мог забыть «бедного Васю».

Екатерининский канал, где жил писатель в этот период своей жизни в Петербурге, получил после революции наименование канала Грибоедова. Но дом, в настоящем его виде, не сохранил ничего от своего прежнего облика. В тридцатых годах он был надстроен двумя этажами. В начале XX века его вновь надстроили. И скромные, до сих пор отличающиеся своей отделкой два этажа старого вальховского дома теперь несут на себе тяжесть шести надстроенных этажей[229].

С именем Грибоедова связан также старинный трехэтажный дом № 5 по улице Союза Печатников, ранее

Торговой улице. Буква «Б» над воротами означает недавних владельцев дома, купцов Балуевых.

В городском архиве сохранился первоначальный вид этого дома (воспроизводится чертеж фасада дома 1848 г.)[230]. Он имел в свое время два этажа; третий этаж надстроен в 1894 г., когда дом был значительно видоизменен по проекту Андреева. В первые годы XIX столетия дом этот принадлежал корабельному мастеру И. Амосову, вероятно его и построившему. Следующим его владельцем была жена коллежского асессора Погодина.

Н. Греч в своих записках оставил яркую характеристику ее мужа, В. В. Погодина. Он начал свою карьеру женитьбой на любовнице Шереметева и, сделав себе этим состояние, вышел в люди. «Что лучше, — думал Погодин, — как служить у Аракчеева?» И он втерся к нему, соглашался на все его гнусные мероприятия и, как ему казалось, обратил на себя милостивое внимание графа. Но однажды, во время его доклада Аракчеев был вызван из кабинета. Воспользовавшись этим, Погодин заглянул в лежавшие на столе формулярные списки. Против своего имени он увидел знакомый почерк Аракчеева: «глуп, подл и ленив». Погодин рассказывал всем об этом, жалуясь на несправедливость и неблагодарность Аракчеева. При Николае I он пристроился к Паскевичу, заняв должность генерал-интенданта русской армии в Польше (при Погодине служил одно время в Варшаве Н. И. Павлищев, женатый на Ольге Сергеевне Пушкиной). Любимец Пескевича, Погодин был однажды обвинен в хищениях неким Петрашко. В залог справедливости своих обвинений Петрашко отдавал «честь, жизнь и имущество». Но варшавский проконсул оставил это сообщение без внимания. Погодин дослужился до сенаторства и даже получил в подарок от Николая I майорат в Царстве Польском.

В этом доме Погодина жил в 1824 г. молодой поэт Александр Одоевский, будущий декабрист. Здесь у него поселился А. С. Грибоедов, возвратившийся в Петербург после шестилетнего отсутствия[231]. Грибоедов был к этому времени уже видный дипломат, любимец всесильного Ермолова, автор прославленной комедии.

С первых же дней появления Грибоедова в Петербурге у него «голова пошла вихрем». Шаховской, Греч, Жандр, Паскевич требовали, чтобы он поселился у них. И всем им он должен был читать свою пьесу. «Читал я ее Крылову, Жандру, Хмельницкому, Шаховскому, Гречу и Булгарину, Колосовой, Каратыгину, дай счесть — 8 чтений,— писал Грибоедов Бегичеву. — Нет, обчелся — двенадцать... Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет». Весь город заговорил о пьесе, и у Одоевского на Торговой собирались любители литературы переписывать под диктовку грибоедовскую комедию. Часто какой-либо гусар, расхаживая по комнате и звеня шпорами, диктовал тут прославленные слова Скалозуба:

Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ гимназий;
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;
А книги сохранят так: для больших оказий.

Военная молодежь, как записал декабрист Завалишин, уезжая в отпуск, развозила пьесу по всей России. А некоторые канцелярские писцы, отличавшиеся быстротой почерка, составили себе даже капиталы на ее переписке. Ни одна книга не превзошла грибоедовской пьесы по количеству переписанных от руки экземпляров. К петербургскому литературному миру Грибоедов относился с большим презрением: «Вчера я обедал со всею сволочью здешних литераторов, — писал он из Петербурга Бегичеву. — Не могу пожаловаться, отовсюду коленопреклонения и фимиам, но вместе с этим сытость от их

дурачеств, их сплетен, их мишурных талантов и мелких их душишек». Много тяжелых дней пережил он, пытаясь добиться постановки комедии на сцене. «Жду, урезываю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем пополовели, — писал Грибоедов, переделывая для цензуры пьесу, — сержусь и восстанавливаю стертое, так что, кажется, работе конца не будет...» Но принесенные жертвы были напрасны. Пьесу в печать «не пускали», и эта неудача тяжело отразилась на авторе.

Тесная дружба, связывавшая Грибоедова с Одоевским, его близкие отношения с Кюхельбекером, Рылеевым, Бестужевым-Марлинским дают основания предположить, что Грибоедов был посвящен своими друзьями в планы Тайного Общества. Вот почему, быть может, в герое «Горя от ума» — Чацком есть некоторые черты будущих декабристов.

Здесь, в доме Погодина, живя с Одоевским в нижнем этаже, Грибоедов пережил наводнение 1824 г. Он подробно описал эту катастрофу, когда в «мгновенье ока» из-под пола выступили ручьи и все комнаты оказались затопленными. Пришлось спешно спасаться у соседей во втором этаже[232]. А на Торговой, «где за час пролегала оживленная проезжая улица, катились ярые волны, с ревом и пеною».

Через несколько лет, в 1828 г., когда Одоевский, осужденный за участие в событиях 14 декабря, был сослан в нерчинские рудники[233], Грибоедов вспомнил в письме к нему дни их совместной жизни в погодинском доме на Торговой улице: «...Ты, верно, теперь тот же мой кроткий, умный и прекрасный Александр, каким был в Стрельно и в Коломне, в доме Погодина. Помнишь, мой друг, во время наводнения, как ты плыл и тонул, чтобы добраться до меня и меня спасти». Тщетны были все хлопоты Грибоедова, умолявшего Паскевича о смягчении участи своего друга. А вскоре и самого Грибоедова не стало.

Когда весть о его внезапной смерти дошла до Одоевского, узник-поэт оплакал своего друга трогательными стихами:

Он и погиб и погребен;
А я — в темнице! Из-за стен
Напрасно рвуся я мечтами:
Они меня не унесут,

И капли слез с горячей вежды
К нему на дерн не упадут.

После десяти лет ссылки в Сибири Одоевский послан был рядовым на Кавказ,

в страну,
Где яхонт неба рдеет
И где из роз себе гнездо природа вьет.

Он отыскал в Тифлисе могилу «милого, славного Саши». И много скорбных часов провел в монастыре св. Давида у надгробной плиты Грибоедова его старый друг — «могилы памятник живой»[234].

По другую сторону Торговой улицы, ныне улицы Печатников, на углу Мастерской (теперь № 10/8), стоял некогда дом, принадлежавший генерал-майору Никите Васильевичу Арсеньеву, родному брату деда М. Ю. Лермонтова[235]. Это был большой барский двухэтажный особняк. Оба фасада на Торговую и Мастерскую улицы были украшены в центре тяжелыми аттиками.

В двадцатых годах XIX века Арсеньев занимал должность директора Военно-Сиротского Дома у Обухова моста[236]. Относясь с исключительной небрежностью к своим обязанностям, он появлялся в корпусе лишь в дни больших экзекуций. Для этого в рекреационном зале собирали всех кадет, с трепетом ожидавших появления Арсеньева. Входя в зал, он, не здороваясь, тотчас набрасывался с бранью на провинившихся и в ответ на мольбы о пощаде бил их тяжелой табакеркой по лицу.

Однако вследствие обнаруженных в корпусе непорядков Арсеньев был уволен, получив новую должность директора вновь открытой на Петергофской дороге больницы для умалишенных. Очевидно, его грубость и жестокость почитались достоинствами, вполне соответствующими его новым обязанностям.

Обширный двухэтажный дом Арсеньева замыкал с трех сторон двор. При доме был сад, тянувшийся по Мастерской улице, ныне Лермонтовскому проспекту, с большой деревянной беседкой, существовавшей еще в шестидесятых годах. Садовый участок был впоследствии продан и на нем возвели новое большое здание. Не уцелел и старый дом Арсеньева. Архитектор Долгинов в 1912 г. перестроил и надстроил арсеньевский дом, превратив его в шестиэтажное здание, отделанное в стиле модерн[237]. Но во дворе заметны еще и поныне следы старого двухэтажного здания. На лестнице по улице Печатников выступают заложенные аркады.

В этом доме Арсеньева его дальний родственник Н. М. Лонгинов встречал в 1832 г. Лермонтова. Юный поэт, приехавший в Петербург для поступления в университет, был поручен попечению своего деда. Но поэту, как известно, не удалось вступить в число студентов, и вскоре Лонгинов увидел его здесь в форме юнкера школы гвардейских подпрапорщиков. Следующая их встреча произошла уже в Царском Селе, где стоял гусарский полк, в котором по окончании школы служил Лермонтов.

В 1836 г. они снова встретились в доме Арсеньева, где поэт, приезжавший из Царского Села, обычно занимал комнаты нижнего этажа. «После обеда, — рассказывает Лонгинов, — Лермонтов позвал меня к себе вниз, угостил запрещенным тогда плодом — трубкой, сел за фортепьяно и пел презабавные русские и французские куплеты (он был живописец и немного музыкант). Как-

то я подошел к окну и увидел на нем тетрадь in folio и очень толстую; на заглавном листе крупными буквами было написано: «Маскарад, драма». Я взял ее и спросил у Лермонтова: его ли это сочинение? Он обернулся и сказал: «Оставь, оставь, это секрет». Но потом подошел, взял рукопись и сказал, улыбаясь: «Впрочем, я тебе прочту что-нибудь; это сочинения одного молодого человека», — и действительно, прочел мне несколько стихов...»

Напрасно я ищу повсюду развлеченья,
Пестреет и жужжит толпа передо мной...
Но сердце холодно, и спит воображенье:
Они все чужды мне, и я им всем чужой!

Недалеко от улицы Печатников, на Театральной площади (№ 16) на углу улицы Глинки стоит бывший дом Анненковой[238]. Он связан с именем жившей здесь в двадцатых годах XIX века известной танцовщицы А. Истоминой, пользовавшийся поклонением всего светского Петербурга. Пушкин также увлекался Истоминой в свои юные годы, когда «под сению кулис младые дни» его «неслись».

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина...

Знаменитая танцовщица вела открытый и шумный образ жизни. Часто всю ночь тут не смолкала музыка и только под утро толпа ревностных поклонников покидала ее дом. В начале тридцатых годов, по свидетельству А. И. Дельвига, Истомина жила уже на Фонтанке в доме Колотушкина, рядом с владением Полторацких. К тому времени уже тяжеловесная и немолодая танцовщица вышла замуж за юного актера Экунина. Получив от жены в подарок целое состояние в бриллиантах, Экунин украшал ими свои кольца, булавки для галстуков и даже пуговицы жилетов. Но супружеское счастье знаменитой

танцовщицы длилось недолго — она вскоре умерла от холеры[239].

С отъездом Истоминой с Театральной площади дом Анненковой не утратил своего интереса для петербуржцев. Здесь поселился один из видных персонажей николаевской эпохи — Л. В. Дубельт. «Один из первых крикунов-либералов в южной армии» Дубельт, по словам Греча, в двадцатых годах был членом масонских обществ. Поэтому, когда арестовывали участников «14 декабря», то все, по свидетельству Греча, спрашивали: «Что же не берут Дубельта?» Однако он не только уцелел, но в 1835 г. был уже начальником штаба корпуса жандармов. Благодаря своей ловкости он быстро завоевал себе положение в III Отделении. Бенкендорф называл его своей «правой рукой», современники же считали его «головой» графа. «Вашего сиятельства нижайший раб» — подписывался в своих донесениях Бенкендорфу «почтительно» преданный Дубельт. Еще с большим раболепием относился он к «престолу». «Про Александра Павловича говорили, что он был на троне человек, — записал Дубельт, — про Николая надо сказать, что это на троне ангел, сущий ангел».

«Дубельт — лицо оригинальное, — заметил Герцен. — Он наверно умнее всего третьего и всех трех отделений Собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу, ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил, или лучше, — накрыл все, что там было». Очень характерной для Дубельта была его привычка выдавать вознаграждение агентам, придерживаясь цифр, кратных трем, «в память тридцати серебреников», — пояснял он в кругу друзей.

Состоя попечителем театральной школы, Дубельт завел здесь свой гарем под покровительством театрального

начальства, снисходительно взиравшего на «забавы» всесильного жандарма.

С литераторами, артистами и художниками Дубельт старался быть приветливым, называя каждого «мой добрый друг». Достоевский, допрошенный им по делу петрашевцев, отозвался о Дубельте как о «преприятном человеке». Однако при допросе Костомарова этот «приятнейший из жандармов» не постеснялся его «ругать площадными словами и даже угрожать».

В доме Анненковой на Театральной площади Дубельт жил с начала тридцатых годов. Сюда к нему возили на допрос арестованных. Иногда их здесь временно задерживали. Николай Полевой, осмелившийся поместить в «Московском Телеграфе» критику «патриотической» пьесы Кукольника, был доставлен сюда из Москвы. Дубельт оставался в доме Анненковой до приобретения им собственного дома на Захарьевской улице, где он поселился в начале сороковых годов. Впоследствии вместе с ним жил и его сын, женившийся на Наталье Александровне Пушкиной, дочери поэта[240]. Такова была ирония судьбы, соединившей дочь Пушкина с сыном николаевского жандарма.

Имя Пушкина не пользовалось милостью Дубельта. Недаром он сказал Краевскому, собиравшемуся издавать сочинения поэта: «Довольно этой дряни, сочинений-то вашего Пушкина при его жизни печатано, чтобы продолжать еще и по смерти отыскивать неизданные его творения, да печатать их!»[241].

В квартире своего тестя дочь Пушкина могла любоваться бюстом старого жандарма со следующей надписью:

Быть может, он не всем угоден,
Ведь это общий наш удел,
Но честен, добр он, благороден, —
Вот перечень его всех дел.

Булгарин

От старинного дома статского советника Клеопина на Средней Подьяческой (ныне участок № 12) осталась лишь груда кирпичей. Небольшой дом этот недавно разобран. В начале двадцатых годов тут жил известный писатель и драматург А. А. Шаховской, один из видных театральных деятелей первой четверти XIX века[242]. Его частым гостем бывал Пушкин. В письме к Катенину поэт вспоминал впоследствии «один из лучших вечеров моей жизни — на чердаке у Шаховского». Обычно громче всех здесь ораторствовал Катенин, но и ему не удавалось перекричать хозяина дома. Шаховской, легко раздражаясь, быстро переходил в состояние неистовства, бил себя в грудь и, ударяя по лысине ладонью, проклинал всех громовым голосом. Его гневные окрики раздавались и во время происходивших тут репетиций. «Ты, миленькая, дурища, — кричал он какой-нибудь молоденькой актрисе, — уха у тебя нет, где у тебя размер стиха? В прачки тебе идти надо было». Не щадил он и стариков. «Зарычал, завыл, — набрасывался он на Каратыгина. — На ярмарках, в балагане тебе играть». Доставалось, бывало, и Сосницкому: «Опять зазюзюкал, миленький, — язвительно замечал Шаховской. — Ведь ты с придворной дамой говоришь, а не с горничной, что губы сердечком складываешь? Раскрывай рот!»

Такое обращение с актерами и учениками школы, пристрастие к любимчикам и склонность к интригам создали ему множество врагов. По словам Р. Зотова, Шаховской, возвращаясь однажды домой на Подьяческую, был окружен близ своего дома толпой театральной молодежи и сильно избит.

Здесь же на Средней Подьяческой жил в декабрьские дни 1825 г. один из главных участников восстания — штабс-капитан л.-гв. Московского полка Д. А. Щепин-

Ростовский, пришедший первым со своим батальоном на Сенатскую площадь.

Тут в его квартире происходили собрания офицеров его полка, в которых принимали участие В. Ф. Волков, А. А. Корнилов, А. А. Броке, Михаил Бестужев, А. А. Кудашев и П. П. Цицианов. Человек увлекающийся, «вечно без толку кипятящаяся натура», как характеризует его Бестужев, Щепин-Ростовский участвовал также в известном собрании у Рылеева и так горячился, что «бил ногами и руками».

Он пользовался большой любовью в полку, а потому, при первом же сигнале к возмущению, поданном молодым энтузиастом, его солдаты изъявили готовность следовать за ним на Сенатскую площадь. Когда же генерал Фредерикс попытался его остановить, Щепин-Ростовский в пылу возбуждения ударил его своей остро отточенной татарской саблей по голове. У выхода он столкнулся со своим командиром Шеншиным, который обратился к солдатам с речью, убеждая их вернуться назад, — и тут же упал под ударом сабли Щепина-Ростовского. Наконец в воротах ему преградил путь полковник Хвощинский, также не избежавший удара его сабли. Выйдя на улицу, солдаты, по приказанию своего командира, избили прикладами полицейского офицера, пытавшегося отогнать простой народ, бежавший на площадь за солдатами. Прибыв на место, Щепин построил свой батальон в каре, и, когда к нему подъехал с увещеваниями Милорадович, восставшие солдаты, по приказанию Щепина, обстреляли Милорадовича.

Щепин-Ростовский был арестован в доме Кусовниковой на Сенатской площади и отвезен во дворец[243]. Герцог Вюртембергский, встретивший его там, с презрением отметил в своих мемуарах: «Его мрачная, но решительная физиономия обличала, казалось, скрытого злодея». Осужденный на вечную каторгу, сокращенную до 20 лет,

Щепин был сослан в Нерчинские рудники, где он провел тринадцать лет[244]. И только манифест 1856 г. позволил ему вернуться на родину, где он и умер через три года в большой бедности.

Дом, в котором жил Щепин-Ростовский в памятные декабрьские дни, уцелел до нашего времени. Это небольшой скучный дом на Средней Подьяческой улице под № 7. Здесь несколько подновлены балкон и окна третьего этажа.

Одним из центров театральной жизни начала XIX века была известная театральная школа на Екатерининском канале у Львиного мостика. Теперь это дом № 93 по каналу Грибоедова, близ Фонарного переулка.

В литературе встречаются совершенно ошибочные указания на то, что театральная школа находилась в нынешнем доме № 101 по Екатерининскому каналу (теперь каналу Грибоедова)[245]. В действительности же, как совершенно точно указывает атлас Петербурга, составленный в 1828 г. Шубертом, театральная школа помещалась в нынешнем доме № 93 по каналу Грибоедова.

По правилам 1809 г. сюда принимали лишь детей «свободного состояния». Школа состояла из четырех отделений. В первом учились дети до тринадцати лет, после чего переходили во второе отделение, где и заканчивали свое обучение. В третье отделение переводились воспитанники и воспитанницы, оказавшие «особые и превосходные способности в каком-либо роде театрального искусства». Четвертое отделение состояло из учеников, не обнаруживших способностей «к какому-либо драматическому искусству». Таковых обучали живописи или нужным для театра рукоделиям и мастерствам.

Общеобразовательные предметы были здесь поставлены так слабо, что ученики не могли похвалиться даже

простою грамотностью. Один из окончивших, по фамилии Полетаев, при получении денег из Кабинета его величества расписался: «Пучи из бента танцер Полита», что должно было значить: «Получил из Кабинета танцор Полетаев». Оканчивавшие школу обязывались в течение 10 лет нести службу в императорских театрах.

По сообщению известного театрального деятеля Р. М. Зотова, школа помещалась на канале со времени Екатерины II (другим фасадом здание выходило на Офицерскую ул.[246]). Однако, согласно сенатскому плану 1798 г., участок этот еще значится принадлежащим «булошнику Ивану Гарверцу»; на этом плане показано каменное строение на Офицерскую ул. и большой сад на канал. В 1804 г. владельцем участка был портной Крепс, у которого театральная дирекция и приобрела, видимо, этот участок. По сообщению С. В. Танеева, место это было куплено казною в 1807 или 1808 гг. за 35 000 руб. Между тем в 1806 г. здесь уже была устроена церковь. Едва ли дирекция произвела бы этот расход, если б здание не принадлежало к тому времени казне. Поэтому следует, вернее, отнести приобретение участка и постройку нового здания на канале к 1806 г.

В 1810—20-х гг., по свидетельству бывших учеников школы, театр, классные комнаты, столовые, квартиры служащих при школе помещались в надворном флигеле. Второй этаж на Екатерининский канал был отведен воспитанникам. Над ними жили в третьем этаже воспитанницы. Помещение школы было, однако, крайне тесно и неудобно, и только благодаря содействию председателя Театрального комитета Милорадовича была, наконец, ассигнована крупная сумма на переделку здания.

Летом 1822 г. под наблюдением архитектора Штауберта было значительно улучшено помещение школы[247]. Тогда же в особом флигеле был устроен для учеников постоянный театр. Во избежание какого-либо общения

между воспитанницами и их поклонниками, непрестанно разъезжавшими мимо школы по набережной канала, окна дортуара были специально сделаны очень высоко от пола, а подоконники так узки, что на них нельзя было стоять. При этом три нижних стекла в окнах были закрашены белой краской. Но все эти меры не достигали цели и случалось, что, подкупив прислугу, поклонники проникали в школу под видом полотеров или даже трубочистов. Однажды в Малом театре, во время переодевания воспитанниц в уборной, полураздетые девицы в неловком портновском подмастерье, помогавшем им одеваться, узнали молодого сенатского чиновника Хлопова, поплатившегося за свой смелый поступок отправкой в полицию. Были случаи, когда офицеры проникали на сцену переодетыми в солдатские шинели, изображая музыкантов. Особенной изобретательностью в подобных проделках отличался молодой офицер Якубович, будущий декабрист. То он проникал в школу под видом сбитенщика, угощая всех горячим шоколадом, то оказывался в театральной карете, предназначенной для возвращения воспитанниц из театра. Случалось, что экипажи многочисленных поклонников занимали всю набережную против школы, задерживая этим движение. Тогда для поддержания порядка сюда посылали жандармов, но и это не помогало.

Местом встреч влюбленных часто служила открытая для посторонних училищная церковь. В письме к Никите Всеволожскому Пушкин напомнил ему в 1824 г., как однажды, в дни пылкого увлечения своего друга воспитанницей Овошниковой, он в страстную пятницу провел его под руку в училищную церковь — «да помолишься Господу Богу и насмотришься на госпожу Овошникову».

По словам Панаевой, Пушкин, подобно другим, очарованный какой-то «танцоркой», целую весну прогуливался близ школы по каналу.

Зимою 1824 г. ученики школы решили поставить у себя, в строгой тайне, запрещенное «Горе от ума». Пьеса репетировалась под руководством самого автора, приехавшего на одну из репетиций вместе с Кюхельбекером и Бестужевым-Марлинским. Но кто-то услужливо донес обо всем Милорадовичу, воспретившему постановку пьесы накануне спектакля.

Грозою школы был известный балетмейстер Дидло. В ожидании его прихода, уже с шести утра, при свете сальной свечи воспитанники подготовлялись к уроку в холодной танцевальной зале. Наконец, в одиннадцать часов дверь с шумом растворилась и в шляпе на затылке, в шинели, спущенной с плеч, входил грозный балетмейстер. Каратыгин, вспоминая об этих уроках, говорил, что здесь он увидел, как Дидло был «легок на ногу и тяжел на руку». «В ком он находил больше способностей, на того больше обращал внимания и щедрее наделял колотушками. Синяки часто служили знаками отличия будущих танцоров. Малейшая неловкость и непонятливость сопровождалась тычком, пинком или пощечиной».

Яркую картину жизни школы оставил Лермонтов в своем «Монго».

Встаешь, бывало, утром рано,
Бренчит уж в зале фортепьяно,
Поют все врозь, трещит в ушах;
А тут сама, поднявши ногу,
Стоишь, как аист, на часах.
Флёри хлопочет, бьет тревогу...
Но вот одиннадцатый час,
В кареты всех сажают нас.
Тут у подъезда офицеры,
Стоят все в ряд, порою в два...
Какие милые манеры
И всё отборные слова!
Иных улыбкой ободряешь,
Других бранишь и отгоняешь,

Зато — вернулись лишь домой —
Директор порет на убой:

Ни взгляд не думай кинуть лишний,
Ни слова ты сказать не смей...
А сам, прости ему Всевышний,
Ведь уж какой прелюбодей!. .

Почти рядом с театральной школой, всего лишь через один участок отсюда (тогда дровяной склад) помещался известный в театральной летописи дом Голидея. Своими тремя фасадами он выходил на канал, небольшой Мариинский переулок и Офицерскую улицу.

Дом этот представлял собою в то время красивое трехэтажное здание с небольшими колоннами. На Мариинский переулок выходили службы с громадными арками[248]. Участок этот в конце XVIII века принадлежал поручику Порохову; в начале девятнадцатого столетия владельцем его был Джульяно Сеппи, содержатель «Северного трактира», от которого дом перешел к купцу Голидею и, наконец, к известному доктору Вольфу. Свой нынешний ординарный облик здание приняло в 1888 г. после перестройки его новым владельцем, купцом Эшем.

Дом Голидея был занят театральной дирекцией вскоре по окончании войны 1812 г. В нижнем этаже поместилась типография, печатавшая афиши и пьесы. В верхнем этаже поселили хористов. Это были крепостные певчие в количестве тридцати человек, приобретенные дирекцией театров у Д. Нарышкина. Остальные помещения были заняты театральными чиновниками и актерами. Здесь жил знаменитый трагик Яковлев. Близ него, в небольшой квартирке, теснились Каратыгины. Соседями их была семья театрального деятеля Зотова; его сын, впослед- ствии известный литератор, вспоминал, как он играл тут во дворе с сыновьями актера Брянского и как часто ему доставалось от их младшей сестры, черноглазой Дуни. Эта Дуня, впоследствии жена И. И. Панаева, долгие годы была подругой жизни Некрасова. Ее интересные мемуары только недавно нашли себе должную оценку.

Отец ее, известный трагический актер Брянский, занимал в доме Голидея большую квартиру, в которой собирались его многочисленные друзья и поклонники. Ни один актерский дом в Петербурге не славился таким гостеприимством. Частым гостем Брянского был петербургский генерал-губернатор Милорадович, игравший с хозяином на биллиарде. Ревностный поклонник женщин, он навещал проживавшую в этом же доме танцовщицу Телешову, воспетую Грибоедовым.

О, кто она? — Любовь, Харита,
Иль Пери, для страны иной
Эдем покинула родной,
Тончайшим облаком обвита?

Здесь же, в доме Голидея, в корпусе, выходившем на Офицерскую улицу, помещался «Северный трактир». У Джульяно Сеппи, владевшего всем домом с конца XVIII века, «господа путешественники и приезжающие» могли найти «чистые и хорошо меблированные комнаты, хороший стол, наемные кареты и служителей, кои говорят на разных языках, в Европе употребляемых».

Долгие годы этот «Hôtel du Nord» («Готель дю Норд») служил местом встреч комиссариатских чиновников и близ живущих актеров. Случалось, что скромные музыканты пропивали тут казенные инструменты. Тогда в трактире тотчас появлялась треуголка местного квартального, учинявшего допрос. В морозные дни в «Северном трактире» собирались «обожатели», поджидавшие здесь выхода воспитанниц из театральной школы.

Театральная дирекция занимала в течение долгих лет эти два дома на Екатерининском канале. Когда же архитектор Росси построил, в середине тридцатых годов, по вновь проложенной Театральной улице за Александринским театром два корпуса, получившие название «Пале-рояль», директор театров Гедеонов возбудил ходатайство о передаче левого корпуса в распоряжение теат-

ральной дирекции. Ходатайство это было удовлетворено, и дирекция со всеми своими учреждениями оставила в 1836 г. Екатерининский канал.

Дом театральной школы был продан аптекарю Шенбергу, надстроившему четвертый этаж со стороны канала. Отделка центральной части дома, его старинный балкон и замковые камни над окнами первого этажа остались без изменений. Добавлены были лишь типичные для своего времени надоконные украшения третьего этажа; кроме того, существовавшие дотоле ворота заменили дверью. Во дворе сохранились остатки конюшен конца XVIII века.

Дом этот является любопытным памятником истории и быта театральной жизни первой половины XIX века.

Небольшой Толмазов переулок у Александринского театра славился в те времена своим питейным домом, двери которого украшал двуглавый орел[249].

Дальше по переулку стоял старый, почти развалившийся домик. Ветхая лестница вела в подвал; намалеванные на вывеске ветчина, жареные цыплята и паштеты свидетельствовали, что тут помещается трактир. Вся обстановка его состояла из стола и нескольких стульев. Ножи и жестяные ложки были из предосторожности прикреплены к столу железными цепями. Вилки вовсе отсутствовали. Салфетки и скатерти почитались также излишней роскошью. Зато мясной обед стоил 25 коп., а ужин 16 коп. По объяснению хозяина, ужин отличался от обеда лишь тем, что «когда народ поест, так мы подливаем воду в щи, да привариваем... »[250].

Сюда приезжали иногда обедать Дельвиг и его друзья, интересовавшиеся нравами посетителей трактира. Они являлись переодетыми, не желая вызывать любопытства окружающих. С ними бывал тут и Пушкин[251].

Завсегдатаями такого рода трактиров бывали извозчики, лакеи, торговцы. Мелкие же чиновники после службы посещали «кофейные дома».

Один из известных в городе «кофейных домов» — Соколова — помещался долгое время на Екатерининском канале в длинном двухэтажном здании с небольшими окнами[252]. Участок на углу канала и Вознесенского проспекта[253], где помещалась кофейная (ныне № 79/23), в начале XIX века принадлежал поручику Губкину, а затем перешел к его зятю Александру Мюссару. Он происходил из семьи известных швейцарских выходцев Мюссаров и, «подобно своему дяде Жан Жаку Руссо» (Мюссары хвалились родством с Руссо), занимался часовым мастерством. Фирма Мюссаров была широко известна в самых знатных домах столицы.

Магазин одного из них служил даже местом встреч дипломатов. Безбородко и Кобенцель, Сегюр и Гаррис часто посещали магазин Мюссара, подолгу ведя тут интимные беседы, полагаясь на скромность хозяина. Его дочь была замужем за литератором Н. И. Гречем[254].

В конце первой четверти века кофейный дом Соколова сменила гостиница «Неаполь». Здесь стали сдаваться «для господ, приезжающих в сию столицу, в лучшем виде отделанные большие и малые квартиры под номерами. Тут можно получать и кушанья из самых свежих припасов, равно и напитки превосходных доброт за умеренную цену».

В декабрьские дни 1825 г. здесь в бедном номере жил Каховский.

Вечером 14 декабря, после всех событий этого памятного дня, Каховский направился на Сенатскую площадь, но ему не удалось туда проникнуть, так как площадь оказалась оцепленной войсками[255]. Тогда он повернул назад и, дойдя до Синего моста, зашел к Рылееву. Предвидя приближение неминуемой развязки, Каховский вручил находившемуся тут Штейнгелю свой кинжал со

7 Зак.№ 125

следами крови раненного им свитского офицера: «Вы спасетесь, — сказал он, — а мы погибнем. Возьмите этот кинжал на память обо мне и сохраните его».

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды...

Переночевав у своего товарища Кожевникова, Каховский лишь на следующий день явился в гостиницу. Но полиция уже с вечера разыскивала его по городу и казак, поджидавший Каховского в «Неаполе», тотчас же повез его во дворец, где состоялся известный допрос его Николаем I. «Говоря с государем, я заметил слезы на глазах его; — писал Каховский, — и они сильнее меня тронули,чем все лестные обещания и угрозы. К несчастью народов, история не много представляет нам людей на престолах»[256].

Каховский не ошибся в царском великодушии. Николай «не пролил его крови, предав казни, с пролитием крови не сопряженной». Каховский был повешен.

Множество жильцов перебывало после Каховского в этой скромной гостинице на Вознесенском проспекте. Однажды сюда явился в сопровождении слуги молодой человек, занявший бедный номер в самом конце коридора. Он несколько раз уходил со своим слугой и снова возвращался, принося каждый раз тяжелые пачки книг. К вечеру новый жилец затопил в номере печь и стал бросать в огонь, одну за другой, принесенные им книги. Это был молодой Гоголь, сжигавший скупленные им по всему городу экземпляры своего злополучного «Ганца Кюхельгартена», над которым так жестоко посмеялись журналисты[257].

На Сенную площадь выходит скромный Таиров переулок, некогда носивший название Сенного[258]. Тут, рядом с домом № 6, вошедшим в летопись жизни Ленина, стоит в глубине переулка под № 4 четырехэтажное

мрачное здание. Когда-то это был маленький дом в два этажа, владельцем которого в александровскую эпоху был лицейский учитель Пушкина Теппер. Он был сыном «богатейшего варшавского банкира, славившегося своими финансовыми операциями во всей Европе». Этот Крез внезапно разорился, и его сын, оставшийся без всяких средств к существованию, приехал в Петербург. Здесь при помощи своего старого знакомого Е. Энгельгардта, директора лицея, он получил место преподавателя музыки и пения в лицее. Это открыло ему доступ в царскосельский дворец, и через несколько лет Теппер был уже учителем музыки императрицы Елизаветы Алексеевны и вел. кн. Николая Павловича, будущего Николая I.

Человек образованный и «приятный», Теппер был дружески принят в доме известного банкира Северина, на дочери которого он женился. Ее племянница, бар. Софья Вельо, пользовалась, как известно, благосклонностью Александра I, о чем упоминает Пушкин в одном из своих ранних стихотворений. На полученные за женой 100 000 руб. Теппер купил дом на Сенном пер. и дачу в Царском Селе. Этот прекрасный ампирный домик близ Александровского дворца, против памятника Пушкину в лицейском саду, сохранился без всяких изменений до наших дней[259]. Здесь незадолго до революции жила фрейлина Вырубова, у которой происходили встречи императрицы Александры Федоровны со «старцем» Распутиным. Став петербургским домовладельцем, Теппер не бросил своих уроков в лицее, приезжая для этого в Царское Село. Летом же, живя на своей даче, он, по рассказам М. А. Корфа, «зазывал к себе кого-нибудь из нас, человек трех или четырех: пили чай, болтали, пели, музицировали». В день торжественного акта при выпуске первого курса была исполнена сочиненная Дельвигом лицейская прощальная песня; музыка к ней была написана Теппером, дирижировавшим хором.

Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: шествуйте сыны!
　　Прощайтесь, братья, руку в руку!
　　Обнимемся в последний раз!
　　Судьба на вечную разлуку,
　　Быть может, здесьароднила нас!

Ученики Теппера с любовью вспоминали впоследствии своего старого учителя. «Это был вдохновенный старик», — записал о нем один из них.

Дом Теппера в Петербурге после его смерти перешел во владение крупного петербургского домовладельца Таирова. В 1825 г. новый хозяин дома предоставил свой дом под больницу, после чего Сенной пер., уже в то время переименованный в Телячий, был назван в честь жертвователя — Таировым переулком. Бывший дом Теппера стал известен всему городу в 1831 г., во время свирепствовавшей в Петербурге холерной эпидемии. Ворвавшаяся в больницу разъяренная толпа, заподозрившая врачей в отравлении больных перебила их, выбросив трупы на улицу.

Бунт на Сенной площади был быстро усмирен, но больницу власти поспешили закрыть.

Бывший дом Теппера долгое время пустовал, пока литератор А. Ф. Воейков не устроил тут типографии. Ее открытие было отпраздновано торжественным обедом, на котором присутствовало до 150 приглашенных. Как рассказывает И. И. Панаев, здесь наряду с Крыловым, Жуковским, Вяземским, Одоевским присутствовали все петербургские литераторы, до последнего фельетониста. С отъездом почетных гостей обед превратился в страшную попойку, на которой Полевой и Кукольник пустились вприсядку[260].

Дальше по каналу в нынешнем доме № 44 на углу Спасского переулка жил известный музыкант Рупини[261].

Крепостной человек большого любителя музыки Юшкова, Иван Рупин был отдан своим владельцем в обучение к известному московскому певцу, итальянцу Мускети. Последний сразу оценил прекрасное дарование своего ученика, и вскоре певец «Рупини» стал широко известен в Петербурге как исполнитель русских песен, переложенных им на музыку. Он написал до пятидесяти песен, романсов и кантат, в том числе: «Вот мчится тройка удалая», «Кого-то нет, кого-то жаль», «Не белы снеги», «Ах, не одна-то во поле дороженька».

Рупини занимался также преподаванием, приобретя славу прекрасного учителя пения. Его открытый, простодушный характер сблизил его с кружком литераторов и поэтов. Пушкин, Туманский, Дельвиг считались в числе его близких друзей. Увлеченный талантом Рупини, Дельвиг написал под его влиянием ряд своих лучших стихотворений, переложенных композитором на музыку. После смерти жены, глубоко потрясенный горем, Рупини стал небрежно относиться к своим урокам. Возникшие вскоре материальные затруднения принудили его переехать в Малую Коломну, в небольшую квартиру во дворе, где он и зажил в полном одиночестве. Когда его навестил однажды известный литератор и театральный деятель Федор Кони, композитор сыграл своему гостю «Последнюю песню Рупини»:

И некому уж мне пенять:
Мои все близкие далеко —
Они лежат в земле глубоко,
И мне их больше не видать.

«При последних словах песни, — записал Кони, — голос певца задрожал и слезы полились на клавиши».

Пять месяцев пролежал больной певец в своей убогой квартире, где и скончался, всеми забытый. «В хороший весенний день, — передает Кони, — из маленькой на-

дворной квартиры одного из домов близ Николы Морского потянулась к Смоленскому кладбищу скромная похоронная процессия. Никто не обратил на нее внимания, никто не остановил вопросом: кого хоронят?» Тело певца опустили в могилу и его имя забыли. Но песни Рупини его пережили.

За проспектом 25 Октября[262], на канале Грибоедова, на углу улицы Ракова возвышается здание, построенное некогда архитектором Луиджи Руска для иезуитов (ныне № 8). По красоте своих пропорций это здание может поспорить с домом Бобринских на Галерной и церковью «Всех скорбящих», прекрасными постройками того же талантливого зодчего. Путешественники с удивлением говорили об этом здании, «фасад которого, украшенный колоннами, возвещал скорее жилище принца, чем несколько служителей Христа»[263]. Странное впечатление производил этот дворец, выстроенный общиной монахов, давших обет нищеты. Между тем «смиренные отцы» владели в России на правах помещиков 14 000 душ крестьян, получая ежегодно 700 000 руб. доходов.

Дом этот на Екатерининском канале обязан своим существованием патеру Груберу. Пользуясь особой милостью Павла, он получил от него разрешение выстроить здесь здание иезуитского коллегиума. Этот угловой участок был в 1801 г. продан казною иезуитам за 20 000 руб.[264]. Здание коллегиума было закончено уже в царствование Александра I, и в начале 1803 г. здесь открылся благородный пансион для знатного русского юношества.*

* Родители А. С. Пушкина специально ездили в Петербург для переговоров об определении сюда их сына, и только открытие лицея изменило их планы. — П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб. 1855 г., стр. 15. — А. С. Пушкин записал в своей автобиографии: «Меня везут в П. Б. Езуиты. Тургенев. Лицей».

Не прошло и двух лет, как пансион оказался заполненным молодыми аристократами — Голицыны, Вяземские, Одоевские, Гагарины, Толстые, Строгановы, Шуваловы и множество других воспитывались иезуитскими патерами .

Представители древних русских родов молились по латыни, читали Евангелие по латыни и во время католической мессы прислуживали в церкви патерам. Каждому воспитаннику предоставлена была отдельная комната, но входная дверь была снабжена небольшим отверстием для наблюдения брата-гувернера. И этот, постоянно светившийся, испытующий глаз приводил в трепет даже самых исполнительных и скромных воспитанников.

Но не долго благодетельствовал иезуитский орден в великолепном доме, построенном Руска. Испуганный возникшим ночью пожаром в доме иезуитской коллегии, патер Грубер внезапно умер в припадке астмы. Прошло несколько лет, и правительство, подозрительно относившееся к деятельности иезуитов, решило выслать их из Петербурга. 16 декабря 1815 г. в коридорах загремели солдатские ружья — все иезуиты были арестованы. А через неделю, во избежание отговорок святых отцов в неподготовленности к внезапному выезду, патеры, одетые в казенные шубы и теплые сапоги, были отвезены в Полоцк и Витебск. Ученики их были распущены по домам, училище закрыто. Коллегия на канале перестала существовать[265].

Дальше по каналу на углу Инженерной ул. возвышается новое здание филиала Русского Музея (дом № 2), так называемый «Дворец искусств». Условия конкурса, объявленного в 1911 г. Академией Художеств, гласили, что «стиль здания» должен быть «в соответствии с соседним дворцом». Но построенное по проекту Л. Н. Бенуа

и С. О. Овсянникова здание, крайне неудачно оформленное, никак не может почитаться достойным дополнением ансамбля Михайловской площади, созданного когда-то Карло Росси.

На участке, ныне занимаемом выставочным помещением, в екатерининское царствование стоял дом садовых служителей. При Александре I в период господства религиозно-мистических настроений стоявшее тут здание было передано Библейскому обществу, ставившему себе задачей распространение среди народа Библии[266]. Однако Николай I, опасаясь широко развившейся деятельности общества, основавшего 289 отделений, закрыл его вскоре по своем вступлении на престол. Дом Библейского общества перешел в казну, и здесь разместилась типография «Собственной его величества канцелярии». Сюда в казенную квартиру въехал вскоре управляющий типографией М. Л. Яковлев, товарищ юности Пушкина[267]. Это был известный «лицейский староста», восторженный хранитель школьных преданий и устроитель лицейских собраний — «головщин 19 октября», связанных с днем основания лицея. «Паяс», как называли Яковлева товарищи, пользовался всеобщей любовью. Здесь у него постоянно собирались друзья, играл М. И. Глинка, пела звучная скрипка самого хозяина.

Когда в 1836 г. исполнилось 25 лет со дня основания лицея, решено было, по примеру прежних лет, торжественно отпраздновать этот день в «лицейском подворье» у Яковлева на Екатерининском канале.

19 октября 1836 г. у Яковлева днем стали собираться лицейские первокурсники. Сначала было шумно; шутили, выпили за процветание лицея. Но когда вспомнили отсутствующих товарищей, томившихся на поселении в Сибири, шутки смолкли. Все задумались. Пушкин был мрачен, какие-то смутные предчувствия волновали его. К нему приступили с просьбой прочесть стихи. Он вынул

из кармана сложенный лист, долго его не раскрывал, наконец, стал читать. И тут зазвучали прекрасные слова:

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой...
Теперь не то: разгульный праздник наш

С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш;
Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим...

При первых же словах его грустной элегии слезы полились из глаз поэта. Он опустил бумаги на стол и, отойдя в темный угол, бросился на диван. Элегия оборвалась, голос Пушкина смолк. А через три месяца уста, которые могли бы сказать еще так много, умолкли навсегда. И лицейский товарищ Матюшкин писал Яковлеву: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев! Яковлев! Как ты мог это допустить? Наш круг редеет, пора и нам убираться...».



Глава девятая

Михайловская площадь и Михайловская улица являются для Петербурга приобретением XIX века[268].

В начале XVIII века на месте Михайловской улицы было болото, и для проезда через него на Невском пришлось проложить гать. При распланировке города все пространство между Екатерининским каналом, Мойкой, Итальянской и впоследствии проложенной Садовой улицей отведено было под «Третий императорский сад». Тут выстроили большую оранжерею, насадили фруктовые деревья. В 1747 г. «СПб Ведомости» вызывали желающих поставить для сада 25 000 кленовых шпалерных деревьев. Несколько дубов и лип елизаветинской эпохи уцелели в Михайловском саду до настоящего времени.

В конце XVIII века площадь сада сократилась и границы его стали доходить не до Итальянской, а до нынешней Инженерной улицы. В двадцатые годы XIX столетия место, занимаемое ныне Михайловским дворцом и площадью

перед ним, представляло собой пустырь, куда окрестные жители сваливали мусор.

Когда возник проект постройки дворца для вел. кн. Михаила Павловича, было избрано именно это место, как расположенное в центре города и позволявшее окружить дворец садом. Это был последний в городе дворец, построенный по старинному типу городских феодальных дворцов-усадеб.

Здание было закончено в 1823 г. Однако внутренняя отделка его затянулась и окончательно дворец был готов лишь к осени 1825 г.[269] Условия местности позволили его строителю, архитектору Росси, создать два фасада. Грандиозное здание это, с его лоджией-колоннадой, производит наибольшее впечатление со стороны сада. Ничто в этом творении Росси не нарушало его строгой гармонии, и даже мебель дворца была сделана по рисункам самого архитектора[270].

По словам Вигеля, Павел I при рождении своего младшего сына приказал ежегодно откладывать для него по несколько сот тысяч рублей, «дабы сей Вениамин, коему не суждено было царствовать, достигнув совершеннолетия, по крайней мере, мог жить по-царски». Когда постройка была закончена, А. Я. Булгаков написал своему брату: «Все говорят, что Михайловский дворец превеликолепная игрушка, теперь, видно, экономнее строят. Замок Михайловский стоил 17 миллионов, а как сравнить его с новым Михайловским, стоящим только 7 миллионов».

Дворцовый сад был разбит тогда же по плану известного архитектора Менеласа. Он был украшен двумя павильонами, вазами, статуями и бюстами[271]. В 1913 г. возник, неосуществленный, к счастью, проект вырубки сада для сооружения здесь здания Государственной Думы.

План Росси не ограничивался постройкой Михайловского дворца. Им был представлен проект устройства перед дворцом новой площади и улицы. Ученик Бренны,

Росси принимал, как известно, участие в работах по постройке Михайловского замка для Павла I. Поэтому при составлении проекта нового дворца Росси воспользовался замыслом Бренны и распланировал все окружающее дворец пространство в строгом соответствии с новой постройкой, развертывая постепенно эффект ее от Невского проспекта. Так в свое время Бренна постепенно развертывал панораму Михайловского замка — сначала манеж и конюшни, потом оба павильона, площадь коннетабля и, наконец, замок.

В соответствии с этим было решено прорезать новой улицей длинную линию домов Невского проспекта от Екатерининского канала до Садовой. Для этого были куплены два участка Экерта и Сабира, стоявшие тут постройки были в 1834 г. снесены и на этом месте проложена Новомихайловская улица. В целях создания единого ансамбля проекты всех зданий, строившихся на площади и новой улице, подлежали утверждению Комиссии по постройке Михайловского дворца. Новые здания должны были составлять с ним единое целое.

Планы Новомихайловской улицы были закончены к августу 1823 г., но Росси, занятый другими проектами, не имел возможности взять на себя выполнение работ по застройке новой площади и улицы. Это задание было поручено его ученику Александру Брюллову, брату живописца. Он явился строителем зданий по Михайловской площади и улице, разработав их, хотя и в соответствии с планами Росси, но скромнее по замыслу, и только фасады по Михайловской ул. были им намечены несколько богаче.

Пространство, оставшееся свободным по сторонам Михайловской площади, было тогда же роздано в виде отдельных участков частным лицам для застроек. Некоторые участки были оставлены за казною.

К числу таковых относится ближайшее к Михайловскому дворцу с левой стороны площади место, на котором, по проекту Росси и А. Брюллова, возведено было здание Михайловского театра[272]. Скромное снаружи, оно было отделано внутри с большой роскошью. Плафон был расписан кистью художника Козрое Дузи (1803-59) из Венеции[273], а вся резьба принадлежала известному резчику Василию Захарову[274].

Театр торжественно открыли 8 ноября 1833 г. «Театр, — писала «Северная Пчела», — внутренним расположением, удобством, просторностью и сообразностью с целью подобного здания займет первое место. Кажется, только в «раю» видно не слишком много. Да и возможно ли и видеть и слышать за полтину? За эти деньги довольно одного последнего!».

Стоящий рядом с Михайловским театром скромный трехэтажный дом принадлежал в свое время генералу Голенищеву-Кутузову (ныне № 3); здесь, в верхнем этаже, поселилась в 1833 г. Катерина Андреевна Карамзина. Два нижних этажа кутузовского дома занимал М. Ю. Виельгорский[275]. Вскоре он отсюда переехал в соседний дом, где в 1840 г. по случаю празднования свадьбы молодой С. М. Виельгорской с В. А. Соллогубом дан был концерт с участием знаменитой итальянской певицы Паста. Дом, в котором поселились Виельгорские, принадлежал доброму знакомому Пушкина И. А. Яковлеву (ныне площадь Лассаля № 5, угол улицы Ракова). Правнук известного богача Саввы Яковлева (Собакина), он жил тут с большой роскошью; множество рассказов ходило по городу про этого несметно богатого человека. Этот дом стал известен в девятисотых годах всему артистическому и литературному Петербургу; здесь в подвале был открыт Прониным ночной кабачок «Бродячая собака». Заброшенный пыльный подвал был расписан

Судейкиным, Сапуновым, Борисом Григорьевым и др. Впоследствии кабачок перевели на Марсово поле[276].

По другую сторону площади, против Михайловского театра, большое, теперь пустопорожнее, место было когда-то занято известным домом петербургского городского головы, коммерции советника И. Жербина (ныне № 2). Этот дом, одна из первых построек на площади, другим своим фасадом выходил на Инженерную улицу (по сообщению И. Грабаря, он построен Абр. Мельниковым. Однако в городском архиве не имеется подписанных А. Мельниковым проектов этого дома). Первоначально он был трехэтажный, на подвалах, с замками над окнами. Высокий второй этаж имел красиво отделанные окна с сандриками и балюстрадами. Третий этаж был украшен фризом и увенчан небольшим аттиком с гербом.

Одним из первых обитателей этого дома был широко известный в Петербурге литератор и путешественник П. П. Свиньин. Как написал о нем А. Е. Измайлов —

Павлушка, медный лоб, приличное прозванье,
Имел ко лжи большое дарованье.
Мне кажется, еще он в колыбели лгал.

Измайлов не ошибался в расценке достоинств «Павлушки», который не только лгал, но и грубо льстил, когда это было ему выгодно. Своему пребыванию в знаменитом имении Аракчеева «Грузино» Свиньин посвятил следующие восторженные стихи:

Я весь объехал свет,
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою,
Дивился многому умом,
Но только в Грузине одном
Был счастлив сердцем и душою
И пожалел, что не поэт.

Страстный коллекционер и любитель редкостей, Свиньин собрал в своей квартире «Музеум», занимавший большую часть его квартиры, расположенной в третьем этаже жербинского дома. Каждый провинциал считал своим долгом здесь побывать. Посещали его и иностранцы, в том числе знаменитый Гумбольдт[277]. Составлению этого музея Свиньин отдавал очень много времени, и для него не было большего удовольствия, как похвастать перед знакомыми своими новыми приобретениями. Заметив из окна кого-либо из друзей, он поспешно сбегал по лестнице на площадь и с криком: «мивый, мивый», увлекал свою жертву любоваться его новыми приобретениями.

«Музеум» занимал в квартире три большие комнаты. В первой кроме картин помещались минералогический кабинет и собрание медалей и миниатюр. Во второй зале были развешаны картины Кипренского, Венецианова, Левицкого, Лосенко, Щедрина, Егорова, Варнека и др. Тут же помещался отдел скульптуры с произведениями Козловского, Шубина и Рашетта и хранились предметы из малахита и яшмы, фарфор и старинное серебро. Здесь же была выставлена мозаичная работа Ломоносова. Над дверями висело древнее оружие. Рядом был выставлен сшитый из паутины чепчик, работы некоей Бородиной. Ей же принадлежала целая картина из паутины — «знак неимоверного терпения благородной девицы Бородиной».

Особое внимание посетителей обращал на себя портрет основателя «Музеума» кисти Тропинина. По описанию современника, Свиньин был одет «просто в сертук, коего покрой и воротник закрыт плащом, весьма натурально наброшенным на плечи и застегнутым серебряною бляхою; он сидит у подножия Ниагарского водопада, переносит на бумагу прелести американской природы, но мысли его, кажется, летают далеко от тех

мест и взор говорит ясно, что душа его на отчизне; между тем, ветерок играет листками раскрытого его альбома».

Недостаток средств заставил Свиньина объявить в 1834 г. о продаже «Музеума» с аукционного торга, который и состоялся вскоре на Морской улице в помещении диорамы Палацци. В «Северной Пчеле» помещено было любопытное описание этого аукциона. При продаже публика высказала сомнение в подлинности некоторых вещей. «Где доказательства?» — раздались голоса. «Доказательства не продаются», — отвечал находчивый аукционист. Сообщая об этом, хроникер газеты попутно рассказал, как в одном губернском городе некий любитель старины забыл свою старинную трость в аукционном зале. На другой день он нашел ее уже на гвозде, посреди других редкостей, с надписью: «Посох царя Ивана Васильевича». На аукционе же Свиньина, прибавляла газета, продавались ковш Годунова и кашник царя Алексея Михайловича.

В бельэтаже дома Жербина, под «Музеумом», жил одно время известный Мехти-хан, владетель Дагестана. Пожалованный в генерал-лейтенанты русской армии, Мехти-хан, удивлявший петербургский свет исключительной роскошью своей жизни, однако лишь в Петербурге впервые ознакомился с употреблением носового платка. Покидая русскую столицу, он имел неосторожность пригрозить своему управляющему, уличенному в хищениях, что он, по приезде в Дагестан, отрубит ему голову. Последний, сговорившись с секретарем и камердинером, принял свои меры, и лишь только девяностолетний старик в июньскую жару сел в карету, его там заперли и гнали лошадей до самого Новгорода. Когда карету открыли — хан лежал мертвый, сраженный апоплексическим ударом.

После смерти Жербина (1840 г.) дом перешел к жене генерал-лейтенанта Крыловой. К этому времени тут поселился известный литератор О. И. Сенковский.

В начале шестидесятых годов дом снова вернулся к Жербиным, но владельцем его был уже не купец, а гвардейский офицер Ф. И. Жербин, сын бывшего городского головы; он быстро сделал свою карьеру, дослужился до чина генерал-лейтенанта. Ревностный поклонник театра, он устроил у себя постоянную сцену. Памятные доски свидетельствовали о том, что здесь наряду с любителями играли М. Г. Савина, В. П. Далматов, Н. Ф. Сазонов и др.

Такова история дома Жербина*. Остается добавить, что по переходе его к молодому Жербину новый владелец возбудил в 1870 г. ходатайство о разрешении надстройки двух этажей. Однако намеченное при этом уничтожение фриза здания не получило утверждения и надстройка была разрешена при условии сохранения первоначальной отделки дома. В этом сказалось стремление предотвратить полное уничтожение проектированных когда-то Росси фасадов зданий по Михайловской площади.

Но в 1903 г., после смерти Ф. Жербина последовало разрешение снести здание за его ветхостью. Место Жербина перешло к Международному обществу спальных вагонов, предполагавшему приступить весной 1906 г. к постройке нового многоэтажного здания. Проект, однако, не был осуществлен, и тогда возник вопрос о сооружении здесь здания городской думы. Начались переговоры, которые ни к чему не привели. Место осталось незастроенным и перешло, наконец, во владение Государственного банка. И. А. Фоминым и М. М. Перетятковичем

---

* В этом доме Жербина жил в двадцатых годах, как об этом сказано ниже, величайший польский поэт Адам Мицкевич[278].

были составлены чрезвычайно интересные проекты постройки здесь здания для Отделения вкладов хранения и Отдела зернохранилищ. Но они также не были приведены в исполнение, как не был осуществлен и разработанный Л. Н. Бенуа уже после революции конкурсный проект постройки здесь здания Государственного Банка[279]. В настоящее время тут намечена постройка школы[280].

Рядом с бывшим участком Жербиных на Инженер-ной ул., на углу улицы 3 Июля (№ 3—5)[281], возвышается громадный дом ордонанс-гауза (комендантское управление), типичное здание николаевского времени, отличающееся интересной обработкой двора. Журнал «Зодчий» относил в свое время это здание к постройкам А. И. Мельникова. Однако в помещенной в 1827 г. в «Отечественных Записках» статье «Выставка в Академии Художеств» отмечено было, что «Г. старший профессор архитектуры, исправляющий должность ректора, *Михайлов* кончил производившееся под его смотрением, по сочиненному им же плану, строение нового ордонанс-гауза... » Сооружение это начато было в 1824 г. и окончено в 1826 г.[282].

Здесь содержался под арестом Лермонтов после дуэли с де Барантом*.

Не дождаться мне видно свободы,
А тюремные дни, будто годы;
И окно высоко над землей!
И у двери стоит часовой!
Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки!. .
Мы проснулись сегодня с зарей,
Я кивнул ей слегка головой...
У окна лишь поутру я сяду,

---

* Лермонтов содержался под арестом в третьем этаже, и у дверей его стоял часовой. «... Я в ордонансгаузе, на верху в особенной квартире», — писал Лермонтов С. А. Соболевскому. — А. Виноградов. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928 г. Стр. 72

Волю дам ненасытному взгляду...
Вот напротив окошечко: стук!
Занавеска подымется вдруг...

Эти строфы лермонтовского стихотворения «Соседка», написанные в заключении[283], относились к замеченной поэтом из окна молодой девушке, вероятно, дочери одного из комендантских чиновников.

Но бледна ее грудь молодая,
И сидит она долго вздыхая,
Видно, буйную думу тая,
Все тоскует по воле, как я.

По словам А. П. Шан-Гирея в ордонанс-гауз никого не допускали. Однако Белинскому удалось его навестить. «Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!!! — говорил он И. Панаеву. — Вы знаете мою светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женировать*, он меня... » — Однако их беседа длилась четыре часа. — «Боже мой! — восклицал Белинский. — Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем! <...> Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою... »

Здание ордонанс-гауза находится, как было указано выше, рядом с нынешним пустопорожним местом, принадлежавшим ранее Жербиным. По другую же сторону жербинского дома участок на углу Михайловской площади и Итальянской улицы принадлежал, в свое время, генералу Ланкри, от которого перешел к Юрию Долгорукову. В документах архива на проекте фасада дома

* Стеснять (от фр. gener) — Ред.

Долгорукова имеется надпись: «Высочайше конфирмованный фасад г-на архитектора Росси по Ново-Михайловской площади»[284]. Случайно уцелевшие проекты некоторых мелких надворных построек, таких как колодец и сушилка, показывают, с какой тщательностью и вкусом они были разработаны. Дом был закончен к весне 1832 г., и уже в марте в «СПб Ведомостях» объявлялось, что «на Михайловской площади во вновь выстроенном доме, подле дома коммерции советника Жербина, будут отдаваться разные большие и малые квартиры, также помещения для торговых заведений, как-то: погребов, магазинов, аптек и пр. »

После Долгорукова домом этим владел известный табачный фабрикант Жуков. Сюда переехали из кутузовского дома Карамзины. Тут у них бывал Пушкин, связанный давней дружбой с вдовой историка. Катерину Андреевну, одну из немногих, поэт посвятил в историю своей назревавшей личной драмы. И на смертном одре Пушкин вспомнил о Карамзиной и пожелал с ней проститься. Из других жильцов этого дома следует упомянуть А. О. Смирнову, а также Алексея Толстого, известного поэта, поселившегося тут в начале сороковых годов. К этому времени дом (ныне № 4) уже перешел (1844 г.) к Михаилу Юрьевичу Виельгорскому[285].

Виельгорский был одним из самых образованных людей своего времени. Его жизнь тесно связана с Михайловской площадью, где он прожил долгие десятилетия в домах Кутузова и Яковлева и, наконец, в приобретенном им доме Жукова.

По словам П. Плетнева, Виельгорский был «старик многообъятнейшего образования и удивительной еще юности. Он во всей полноте обнял все науки, все искусства и даже ремесла. Он — блистательнейший придворный, первый в России знаток музыки и готов прогулять

целую ночь с молодежью». В нем «с зрелой осенью еще цвела весна»...

Всего прекрасного поклонник иль сподвижник,
Он в книге жизни все перебрал листы:
Был мистик, теозоф, пожалуй, чернокнижник,
И нежный трубадур под властью красоты.

Тонкими чертами лица Виельгорский напоминал Россини. «Тучный, он держался, однако, прямо, выступал плавно, в разговоре сильно напирал на букву «р» и отличался утонченной нежностью». Обстановка его жизни была очень скромна. К ужину подавался начатый ростбиф, простой медок и жареный картофель с луком. Кабинет Виельгорского, его большая библиотека (пожертвованная его дочерьми после смерти отца Румянцевскому музею), биллиардная и пр. помещались по Михайловской площади в верхнем этаже.

Всемирной ярмонкой и выставкой всесветной
Был кабинет его, открытый настеж всем;
Кто приносил туда залог мечты заветной,
Кто мысль, кто плод труда, кто приходил ни с чем.

Бельэтаж здания занимали приемные и гостиные хозяйки дома и большой зал, хорошо известный в петербургском музыкальном мире. Тут постоянно давались музыкальные вечера, на которых наряду с любителями выступали лучшие артистические силы столицы.

У Виельгорского собирался в течение долгих десятилетий весь цвет русского образованного общества: тут были своими людьми Жуковский, Гоголь, Вяземский, Лермонтов, В. Ф. Одоевский, Глинка, Даргомыжский, Брюллов и целая плеяда их учеников и последователей. Это была «своеобразная живая и многосторонняя академия искусств».

С Пушкиным Виельгорского соединяли самые дружественные отношения. Он был одним из слушателей пер-

вого чтения Пушкиным «Бориса Годунова» в Москве. И, как гласит предание, сюжет «Медного Всадника» был отчасти навеян одним из тех образных рассказов Виельгорского, которые так ценил Пушкин. При последних минутах поэта, в числе немногих, присутствовал и Виельгорский.

Как сказал П. А. Вяземский о Виельгорском —

Он старостою был, душой и запевалом
Бесед аттических и дружеских трапез;
С Жуковским чокался он пенистым бокалом
И с Пушкиным в карман он за слово не лез.
Способный в спор вступать с раввином о Талмуде,
С Россини, как знаток, Моцарта оценить,
С врачом про мозг спинной, про тиф и о простуде,
Как будто врач он сам, мог с толком говорить.

Виельгорский был блестящим пианистом; по словам одного современника, «главная прелесть и главное достоинство игры его состояли в том, что он редко исполнял уже знакомые ему вещи, а чаще всего импровизировал и импровизации его, гармоничные, увлекательные, вдохновенные, так далеко уносили его в мир фантазии, что он на время совершенно отрешался от всего его окружающего и весь отдавался своему вдохновенному искусству». Помимо больших вечеров раз в неделю у Виельгорского для ограниченного кружка любителей устраивался вечер классической музыки.

Когда Глинка закончил в 1836 г. своего «Ивана Сусанина», он явился к Виельгорскому с просьбой помочь ему с постановкой оперы на сцене Большого театра. Тут, на Михайловской площади состоялась первая репетиция оперы. Хоры исполнялись придворными певчими, партии пели артисты, оркестром, составленным из театральных музыкантов, дирижировал сам Глинка. Музыканты, однако, недостаточно разучили партитуру, и первое исполнение увертюры вышло неудачным. Глинка сердился, бегал, отбивал такт. По окончании оперы, зал огласился

бурными рукоплесканиями. Вскоре, благодаря хлопотам Виельгорского, опера была поставлена в Большом театре, где имела громадный успех. В кругу приятелей Глинка называл Виельгорского своим «Иоанном Крестителем».

Здесь на Михайловской площади у Виельгорского бывали все иностранные знаменитости того времени — Вьётан, Виардо, Гризи, Марио, Тамберлик, Серве, Лаблаш. В 1844 г. под управлением Роберта Шумана тут была исполнена с громадным успехом одна из его симфоний. В 1847 г., когда Берлиоз впервые приехал в Россию, он прежде всего явился к Виельгорскому в его «маленький храм изящных искусств в России», по его выражению[286]. Выразительное, со следами глубоких переживаний, лицо Берлиоза привлекло всеобщее внимание. В 1842 г. здесь запросто бывал Лист. Если в дни его визитов, случалось, играли в карты, великий музыкант облачался, по примеру хозяина, в халат и туфли и присоединялся к играющим.

«Какими торжествами окружил он (Виельгорский) пребывание здесь любимцев своих, — писал Плетнев Жуковскому. — Сколько денег брошено в одну нынешнюю зиму на венцы им из натуральных и золотых цветов».

Здесь в гостиной Виельгорского целые дни просиживал в мягком шелковом халате его младший брат Матвей, не расстававшийся со своей знаменитой виолончелью. Блестящий музыкант, он долгие годы увлекал виртуозной игрой своих друзей. Слепой поэт И. И. Козлов писал ему:

Когда же виолончель твой дивный,
То полный неги, то унывный,
Пробудит силою своей
Те звуки тайные страстей...

Человек одинокий, он все свое состояние оставил детям брата. Их было много, и они жили здесь же, вместе с родителями, на Михайловской площади. Старший из

них, Иосиф, был большим любителем и знатоком русской истории. Постоянно роясь в книгах, он «жаждал науки, как будто спеша жить, готовил запас навеки». Этот, по выражению А. О. Смирновой, «прекрасный цветок» погиб в Италии на руках Гоголя. «Я провожу теперь бессонные ночи у одра больного, умирающего моего друга Иосифа Виельгорского, — писал Гоголь Балабиной 20 мая 1839 г. — Я живу теперь его умирающими днями, ловлю минуты его». Но уже 5 июня Гоголь написал Данилевскому: «Я похоронил на днях моего друга, которого мне судьба дала в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются». Брат Иосифа Виельгорского, Михаил, весьма одаренный и образованный человек, был хромым от рождения; он умер от тифа во время Крымской войны, заразившись при оказании помощи больным и раненым.

Тут же на Михайловской площади, в «Ноевом ковчеге», как называли в городе дом Виельгорского, жили и его замужние дочери. Старшая, Аполлинария, вышла замуж за А. В. Веневитинова, брата поэта. Плетнев писал Гроту: «Она по-прежнему умна и мила, а муж по-прежнему и не умен и не мил». Относительно второй дочери Виельгорского — Софьи Михайловны тот же Плетнев писал: «Она вся в белом, точно чистый ангел... Это роза, сорванная в тени, куда не доходили ни палящие лучи солнца, ни дерзкие взгляды». Софья вышла замуж по любви за В. А. Соллогуба, молодого писателя. Но его тяжелый и беспорядочный характер омрачил ее жизнь.

Третья дочь, Анна Михайловна, «Нози» или Анолит, наряду с умом и прекрасным образованием, проявляла выдающиеся способности к музыке. Не желая вовсе выходить замуж, Анолит уступила просьбе отца на его смертном одре и согласилась на брак с совершенно ничтожным А. И. Шаховским. Она вскоре умерла от родов, оставив дочь. Анолит Виельгорская была, по-видимому,

единственной в жизни любовью Гоголя. Он просил ее руки. «У нее есть то, чего я не знаю ни у одной из женщин, — писал Гоголь Плетневу, — не ум, а разум; но ее не скоро узнаешь: она вся внутри».

Дочь Анолит — Мария Шаховская, Аполлинария Веневитинова и Софья Соллогуб после смерти старика Виельгорского продали этот дом в 1872 г. известному кондитеру Кочкурову[287].

При взгляде на панораму Невского проспекта тридцатых годов вновь проложенная Михайловская улица представляется нам оформленной по обеим сторонам однотипными постройками. С левой стороны, на углу Михайловской улицы и площади, в начале тридцатых годов стоял небольшой деревянный дом Дюклу. Он был вскоре продан за 130 000 руб. асс. Половцовой, выстроившей тут каменный дом. Здесь в 1836 г. книгопродавцы Смирдин и Глазунов открыли типографию по печатанию афиш. Этот угловой дом был широко известен Петербургу, так как тут издавна помещался популярный ресторан Кулона, впоследствии перешедший к Клее.

Интересна также судьба двух домов, ныне №№ 11 и 13, по улице Ракова. В середине XVIII века первый из этих участков, сквозной на Невский проспект, принадлежал Саблукову. Тут жил в 60-х годах XVIII века архитектор Растрелли, величайший представитель барокко в России.

Дом № 13 по улице Ракова (ныне театр) был построен на месте стоявшего тут с первых лет царствования Александра I небольшого деревянного дома. Владелец его, Л. Я. Лазарев, крупнейший заводчик, отделал свой дом внутри с таким великолепием, что многие ездили специально его осматривать. В городском

архиве не сохранилось сведений о строительстве здания, но в заседании Общества «Старый Петербург — Новый Ленинград» И. И. Эбертом было сообщено в январе 1927 г., что дом построен архитектором де Симоном. Этот дом служил часто местопребыванием иностранных послов. Здесь жил посол Американских Соединенных Штатов Генри Мидльтон, а также английский посол лорд Вудгауз. Недолгое время тут помещался Английский клуб. В начале восьмидесятых годов здесь поселился Алексей Бобринский, квартира которого служила местом встреч представителей петербургского литературного мира. Здесь запросто бывали Майков, Гончаров, Лесков, Минаев, Алексей Толстой. От наследников Лазарева дом перешел во владение вел. кн. Николая Николаевича, который жил здесь вплоть до пожара, значительно повредившего здание. Когда был закончен новый дворец на Петровской набережной, дом на Итальянской улице был продан под опереточный театр. Его перестроили в 1910 г.[288].

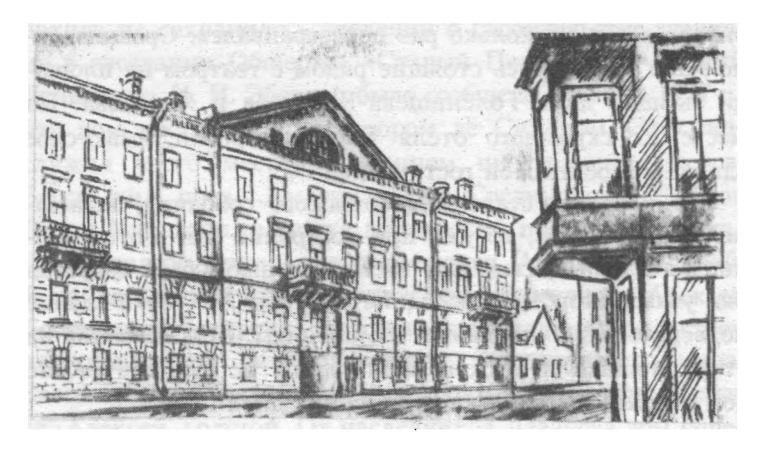
Каков же ныне вид Михайловской площади? Что сохранилось здесь от проекта Росси? Царский Петербург не сумел сохранить общий вид площади даже в течение одного века. Ни министерство императорского двора, ни высокоцензовая Городская дума, ни петербургское дворянство не позаботились оградить от варварских переделок строгий ансамбль площади. Не сохранился в неприкосновенности даже Михайловский дворец. В девяностых годах, несмотря на решительные протесты художественных кругов, при постройке Этнографического музея на месте одного из служебных флигелей дворца, новое здание было повышено на целый аршин. В меньшей степени пострадал фасад Михайловского театра. Но

внутри театр несколько раз перестраивался. Сравнительно мало изменились стоящие рядом с театром на площади бывшие дома Голенищева-Кутузова и Яковлева. На месте же скромного отеля Клее выстроено безвкусное здание «Европейской гостиницы».

Что касается старого Дворянского собрания, нынешней Филармонии, то уже при постройке его, в отступление от плана Росси, над третьим этажом был прорезан ряд узких окон*. В последние же годы XIX века здание подверглось значительным изменениям. Дом Жербина на углу площади и Инженерной улицы не существует, но дом Виельгорского уцелел до наших дней[289].

---

* Основной проект здания, разработанный Росси, утвержден Николаем 13 декабря 1834 г. Дальнейшая разработка проектов, одобренных 18 марта 1839 г., принадлежит архитектору Павлу Жако. Помощником Жако при производстве работ состоял архитектор Буржуа (Общ. Архив Лен. Отд. ком. хозяйства).



Глава десятая

В XVIII веке ряд улиц, пересекавших местность за нынешней площадью Плеханова, ранее Казанской площадью[290], носил наименование Переведенских слободок. Три из них получили во второй половине столетия название Мещанских улиц — Большой, Средней и Малой. Впоследствии Большая Мещанская была переименована в Казанскую улицу, а Средняя Мещанская в Мещанскую. Малая же Мещанская стала Казначейской по помещавшемуся на углу Екатерининского канала Губернскому казначейству.

В течение первой четверти XIX века Мещанские улицы были заселены главным образом ремесленным людом, по преимуществу немцами. Тут же селились так называемые в старину «бездельные женщины», заполнявшие по вечерам тротуары скромных Мещанских улиц*.

---

* После постройки Мариинского дворца для дочери Николая I — Марии Николаевны возникло особое дело о «выводе непотребных женщин с Вознесенского проспекта».

Гоголь в своем «Невском проспекте» назвал Большую Мещанскую — «улицей табачных и мелочных лавок, немцев ремесленников и чухонских нимф». Но он любил этот район бедного трудящегося люда, где с утра раздавалась деловая немецкая речь и до поздней ночи грохотал токарный станок. За восемь лет петербургской жизни Гоголь переменил ряд квартир, но все они были расположены тут — на Большой Мещанской, на Екатерининском канале (у Кокушкина моста), в Новом переулке, на Офицерской (вблизи Вознесенского) и, наконец, у Исаакиевской площади, в конце Малой Морской. Вот почему герои его петербургских повестей имеют то или иное отношение к этой местности. Жестяник Шиллер («Невский проспект») живет на Офицерской улице, цирульня Ивана Яковлевича в «Носе» помещается на Вознесенском проспекте. Наконец, в «Записках сумасшедшего» много раз упоминаются Мещанская, Столярный, Кокушкин мост.

Гоголь приехал в Петербург в конце 1828 г. На последней почтовой станции он и его спутник Данилевский прочли объявление о сдающемся помещении в доме Трута у Кокушкина моста. Здесь они и поселились. Большой дом аптекаря Трута стоял на Екатерининском канале рядом с церковью Вознесения (участок этот впоследствии перешел во владение причта церкви). «За квартиру мы платим восемьдесят рублей в месяц, — писал Гоголь вскоре матери, — за одни стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат и права пользоваться на хозяйской кухне». Выбор квартиры в этом районе объяснялся, вероятно, близостью к школе гвардейских подпрапорщиков (помещавшейся у Синего моста), куда собирался поступить Данилевский.

Но Гоголь недолго оставался в доме Трута. В апреле 1829 г. он переехал на Большую Мещанскую, впоследствии Казанскую, в дом каретника Иохима[291].

Этому дому на Мещанской в 1909 г., в дни столетнего юбилея со дня рождения Гоголя, посвящена была в «Слове» статья И. Щеглова: «Пушкин у Гоголя на Мещанской» (по поводу одного позабытого дома). «Сколько просвещенных петербуржцев (из них наверное сколько завзятых поклонников Гоголя), — писал автор, — шмыгают изо дня в день, из года в год из Казанской улицы в Столярный переулок и равнодушно заворачивают напра́во за угол, на Мещанскую, мимо невзрачного четырехэтажного дома... И никому в голову не придет, что в этом самом угловом доме, набитом большей частью бедным ремесленным людом (№ 19), наверху, под самой крышей, семьдесят лет тому назад жил развеселый рассказчик Рудый Панько, от рассказов которого наборщики, набиравшие книгу, прыскали со смеху...»

Предприняв в 1909 г. розыски этого дома на Мещанской улице, Щеглов действительно нашел там дом под № 19, некогда принадлежавший каретнику Иохиму. Он сделал отсюда вывод, что здесь жил Гоголь. Между тем в то время в этой местности было три Мещанских и указанный Щегловым дом стоял на улице, называвшейся Средней Мещанской. Однако Гоголь в своем письме матери от 30 апреля 1829 г. определенно сообщает, что живет в доме каретника Иохима на Большой Мещанской, где стоял в то время другой дом того же каретника Иохима. Итак, надо считать вполне установленным, что Гоголь жил на улице Плеханова, в то время Большой Мещанской улице, в стоящем тут и поныне бывшем доме Иохима, теперь № 39.

Владельцу этого дома Иоганну-Альберту Иохиму, известному каретному мастеру того времени, принадлежали дома на Мещанских, являвшихся центром каретного дела. Один из путеводителей по Петербургу той эпохи указывает, что немецкие колесники и каретники живут, по большей части, на Литейном пр. и в Мещанских ули-

цах. «Они с большим вкусом и прочнее, — сообщал он, — отделывают свою работу, нежели Парижские, Лондонские и Брюссельские мастера»[292]. Работа Иохима особенно славилась в городе. Недаром Хлестаков в «Ревизоре» говорит во втором действии: «Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты...»

В этом доме Иохима, своим мрачным видом породившем даже таинственные легенды о привидениях (в 1934 г. дом этот, давно нуждавшийся в ремонте, заново отделан), Гоголь пережил много горьких часов. Пустая служба в одном из бесчисленных петербургских департаментов его угнетала, и будущий автор «Мертвых душ» уже готов был стать актером, но его не приняли на сцену.

В июле 1829 г. Гоголь выехал отсюда за границу[293]. Но первые годы жизни писателя в Петербурге тесно связаны с этим домом на Большой Мещанской.

В том же году в доме Иохима поселился известный польский поэт Адам Мицкевич[294].

После убийства Коцебу в государствах «Священного Союза» начались аресты и преследования; не избежала общей участи Литва. В числе арестованных студентов виленского университета оказался и Мицкевич. После шестимесячного тюремного заключения он был освобожден весною 1824 г. и выслан на службу в Россию. В своих «Дзядах» поэт с дантовской мощью изобразил картину жестокой расправы русских властей над польской молодежью.

Его первый приезд в Петербург совпал с наводнением 1824 г. Картина разрушения грандиозного города произвела на поэта глубокое впечатление. Мицкевич сблизился с русскими передовыми литературными кругами, дружески сойдясь с Рылеевым и Бестужевым-Марлинским.

Сохранился любопытный рассказ об одном собрании, на котором польский поэт отказался поддержать тост «смерть царю» и был за это обвинен своими пылкими друзьями чуть ли не в измене свободе. Мицкевич спокойно возразил, что такие тосты являются бессильным бахвальством. Если же присутствующие действительно хотят посвятить себя делу освобождения родины, то он готов тотчас идти с ними во дворец. В ответ раздались голоса, что народ не подготовлен, что не настал еще подходящий момент, пошумели и... мирно разошлись.

Трагическая участь Рылеева и Бестужева глубоко потрясла поэта. Он посвятил впоследствии памяти своих русских друзей следующие негодующие строфы:

Где все вы теперь? Посылаю позор и проклятья
Народам, предавшим пророков своих избиенью...
Рылеев, которого братски я принял в объятья,
Жестокою казнью казнен по цареву веленью.
Бестужев, который, как друг, мне протягивал руку,
Тот воин, которому жребий поэта дарован,
В сибирский рудник, обреченный на долгую муку,
С поляками вместе, он послан и к тачке прикован.

Мицкевич недолго прожил в столице; он уехал на службу в Одессу, откуда через некоторое время снова вернулся в Петербург, поселившись на Михайловской площади в доме Жербина[295]. Поэт оставил очень яркое описание Петербурга. Он глубоко ненавидел царскую резиденцию, олицетворявшую для него всю российскую крепостническую «империю».

Восстание 1831 г. и последовавший разгром Польши вызвали к жизни одно из лучших его произведений — «Петербург». Мицкевич охарактеризовал в нем основателя Петербурга в следующих гневных словах:

Во глубь песков зыбучих, в топи блат,
Вогнать сто тысяч кольев приказал он,
Потом сто тысяч тел людских втоптал он;

Потом на кольях и телах солдат,
Грунт заложив, иное поколенье
Запряг в телеги, в тачки, в корабли,
Чтобы с пучин морских, со всей земли,
Свозить и тес и бревна и каменья...

Безжизненными и холодными кажутся ему широкие проспекты столицы.

Все улицы к реке сбегают, длинны,
Широки, как ущелия в горах;
Дома из камня или в кирпичах,
И мрамор вперемежку с липкой глиной.
Все скучной поражает прямотой;
В самих домах военный виден строй,
А на домах — таблицы и записки;
Смесь языков — столицы той удел...

Далее следует описание жизни улицы:

Модники идут, молокососы
Гвардейские, затянуты, как осы,
Тонки, как пики; шею гнут слегка
Чиновники и смотрят осторожно,
Кому поклон отдать, кого толкнуть,
Кого избегнуть надо как-нибудь.

К последнему периоду жизни поэта в Петербурге относится его сближение с возвратившимся из ссылки Пушкиным.

Они недавно подружились,
Но быстро души их сроднились,
Как две альпийские скалы,
Что дружно вознесли вершины,
Не внемля, как средь душной мглы,
Грозя, шумят на дне долины
Реки враждебные валы.

Мицкевич неустанно хлопотал о разрешении выезда из России, и наконец, в марте 1829 г. благодаря стараниям друзей ему удалось получить заграничный паспорт.

Поэт стал спешно готовиться к отъезду. Он жил в это время с Малевским и своим слугой Никифором на Боль-

8 Зак.№ 125

шой Мещанской в доме Иохима. А. Погодин в своей работе, посвященной Мицкевичу, сообщает, что он жил на Большой Мещанской в доме № 21. Однако дома под таким номером здесь в то время не существовало[296].

Недолго прожил поэт на Мещанской. Вскоре в «СПб Ведомостях» объявлялось о предстоящем отъезде за границу «Адама Мицкевича, 12 класса, спросить в Б. Мещанской в доме Иохима под № 78»[297]. А через несколько дней на набережной Невы друзья прощались с поэтом. «Он стоял на палубе парохода и махал провожающим платком, — писал современник. — Заходящее солнце озаряло его стройную фигуру, закутанную в плащ, казавшийся медно-красным».

В Кронштадте, опасаясь, что его снимут с корабля, Мицкевич прятался на палубе. И только в открытом море, почувствовав себя, наконец, свободным, он с радостью выбросил за борт оставшиеся у него деньги с изображением ненавистного русского орла.

Он между нами жил
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушел на запад — и благословеньем
Его мы проводили...

Мицкевич никогда не мог забыть пяти долгих лет, проведенных в ссылке. И, вспоминая русскую столицу много лет спустя, он написал:

Кто видел Петербург, тот скажет, право,
Что выдумали дьяволы его!

На улице Герцена стоит под № 20 небольшое трехэтажное строение, где помещается абонентный отдел городской телефонной сети. Скромно отделанный дом этот, в противоположность гладким стенам третьего этажа, имеет пышное, декоративное обрамление нижних окон.

Здание это обычно относят к екатерининскому времени. Однако фамильные бумаги И. Листовского, женатого на внучке Завадовского, устанавливают, что дом этот существовал уже в 1748 г. и был приобретен от купца Миллера статс-дамой М. С. Чоглоковою, двоюродной сестрой императрицы Елизаветы Петровны. Следующими владельцами дома были, последовательно, П. И. Панин и П. В. Завадовский. Последний писал в 1786 г. П. А. Румянцеву: «Дом Панина я купил, скупив у Антонова, наскучив состоянием постояльца и видя, что дела и служба приводятся к тому, чтобы мыслить об основании сколько-нибудь покойного здесь своего пребывания». Фаворит Екатерины II Завадовский, впоследствии министр народного просвещения при Александре I, прожил в своем доме почти тридцать лет, время от времени выезжая в свое знаменитое имение «Ляличи», славившееся дворцом, выстроенным там Кваренги.

По смерти Завадовского его дом на Морской перешел в начале двадцатых годов во владение купца Козулина. К этому времени часть помещений была предоставлена конторе дилижансов, а манеж во дворе сдан под устройство зрелищ. Вскоре тут открылся цирк Лемана, «признаваемый в Европе за самый большой». И «прелестные девицы и ловкие юноши, одетые амурами, зефирами и в различных характерных нарядах, делали на лошадях трудные балетные па, удивляли скачками и опытами, основанными на равновесии». В октябре 1824 г. в доме Козулина обосновался «Олимпический цирк» Турньера, вскоре закрывшийся по случаю траура по Александру I.

Выставленная здесь модель Петербурга работы Антонио Росси собирала толпу любопытных.

Этот дом екатерининского вельможи дал некогда приют замечательному русскому художнику Тропинину, написавшему один из лучших портретов Пушкина.

В. А. Тропинин был крепостным гр. И. Моркова. Отец его, заметив наклонность сына к рисованию, просил графа отдать мальчика в ученье к художнику. «Толку не будет», — решил Морков, и мальчик был послан в Петербург в дом гр. Завадовского в обучение к кондитеру. На его счастье в доме проживал в то время живописец, с сыном которого и подружился Тропинин. Мальчик стал постоянно бегать из кухни в мастерскую художника, терпя за это побои от кондитера. Юный Тропинин начал понемногу сам рисовать, и, когда слух об его выдающихся способностях дошел до Моркова, он определил его в Академию Художеств[298]. Но яркий талант молодого художника встревожил его покровителя. Боясь лишиться своего крепостного, Морков потребовал возвращения Тропинина в деревню, в Подольскую губернию, не дав ему закончить курс учения.

Здесь сотоварищ Кипренского и Варнека вынужден был красить колодцы, стены и каретные колеса. Отличаясь сильным характером, Тропинин терпеливо переносил все унижения, работая часто до полного изнеможения. Иногда барин требовал от него «портретов», и тогда художник писал семейные группы Морковых. Какой-то француз, приглашенный однажды графом осмотреть работу его крепостного художника, был поражен талантом Тропинина; каково же было изумление иностранного гостя, когда у обеденного стола, в числе парадно разодетой прислуги, он увидел художника. Экспансивный француз схватил свободный стул и стал усаживать Тропинина, сконфузив этим барина и его крепостного. Однако с это-

го дня художник был освобожден от стояния за графским стулом.

Только восемь лет спустя Морков отпустил Тропинина на волю и то лишь благодаря хлопотам ценителей его таланта. Семья же художника продолжала оставаться в крепостной зависимости; сын Тропинина получил «вольную» лишь после смерти графа.

Дальше по улице Герцена в угловом доме № 26 жил А. С. Пушкин.

Участок этот в последние годы XVIII века принадлежал «капитанше Авроре Шмитовой». В начале XIX столетия он перешел во владение богатого купца Гаврилы Таирова, имя которого носит до сего времени небольшой переулок близ Сенной площади[299]. В дом Таирова на Морской улице в начале двадцатых годов XIX века переведена была ресторация Потапа Афанасьева, где для любителей имелись «самые лучшие кислые шти». И, наконец, в 1830 г. здесь процветала виноторговля Юнкера, предлагавшего покупателям «лучшие вина, равно как и крепкие напитки, кои, не взирая на свою неподдельность и доброту, продаются по самым сходным ценам».

Но к этому времени Таировы уже разорились и их дом на Морской перешел к крупнейшим петербургским купцам и домовладельцам Жадимировским. Имя их носил в Петербурге еще до 1917 г. целый остров — Жадимировка, близ нынешнего острова Декабристов (Голодай).

Основатели этой купеческой «династии» Жадимировских были уроженцами деревни Жадимирово в Борисоглебских слободках Ростовского уезда. Они появились в Петербурге в середине XVIII века, и один из них — Яков Жадимировский положил основание процветанию этой фамилии. Это был крупный торговец, владевший рядом домов в Петербурге. Ему принадлежал в конце

XVIII столетия большой дом на Мойке у Конюшенного моста (ныне № 8), где в то время жил он сам. Здесь же занимал небольшую комнату будущий переводчик «Омира» Иван Иванович Мартынов, а полвека спустя тут поселился М. Е. Салтыков-Щедрин. Этот дом «именитого гражданина» Якова Жадимировского на Мойке перешел по наследству к его сыну Ивану.

Именитые купцы, Жадимировские стали играть видную роль в петербургском обществе, и вскоре скандальная хроника города уже передавала об увлечении Николая I невесткой Жадимировского. Однако прекрасная Лавиния предпочла Николаю гвардейского офицера С. В. Трубецкого, с которым она пыталась бежать за границу. Соперник царя поплатился за это заключением в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и ссылкой[300].

Брату владельца дома на Мойке, Алексею Жадимировскому, принадлежал в то время другой большой дом, стоявший тут же на набережной Мойки. Он был продан им в начале XIX века А. Н. Волконской. Это дом № 12 по Мойке, где скончался Пушкин. Сын Алексея Жадимировского, Петр, приобрел таировский дом на углу Морской и Гороховой, где поселился в начале тридцатых годов Пушкин.

К сожалению, архив не сохранил документов этого участка, относящихся к пушкинскому времени. Дошедший до нас чертеж дома, воспроизведенный в книге[301], относится в 1867 г. В свое время тут стояла типичная петербургская постройка в три этажа (первый этаж полуподвальный), с хорошим фризом и скульптурной лепкой замковых камней над окнами. Судя по некоторым деталям, в особенности фризу, постройку надо относить к первому десятилетию XIX века, и весьма вероятно, что она была возведена Таировым. В городской табели 1846 г.

дом показан в том же виде, простояв без изменений до 1868 г.

Но к этому времени участок на Морской уже не принадлежал больше Жадимировским. Подобно большинству «именитых» петербургских купцов они разорились. Это произошло после войны 1856 г., в период широко распространенного грюндерства, обогатившего одних и разорившего множество других. Дом Жадимировского был продан тогда некоему действительному статскому советнику Воронину, который надстроил его по проекту архитектора Гедике, совершенно изменив фасад здания. В настоящее время дом этот представляет собой четырехэтажное доходное строение, совершенно утратившее свой облик пушкинского времени.

Пушкин поселился здесь в конце 1832 г. 1 декабря фридрихсгамский первостатейный купец Петр Жадимировский заключил с титулярным советником Пушкиным условие о сдаче последнему на Гороховой улице, в третьем этаже, квартиры из двенадцати комнат и кухни, сроком на один год, за плату 3 300 руб. асс. Наниматель при этом обязывался: «от пожарного случая (от чего боже сохрани) иметь мне, Пушкину, осторожность и смотрение и, если случится от моей или живущих у меня людей неосторожности пожар, — и от того причинится повреждение дому и стенам, то обязываюсь за все сгоревшее и поврежденное ответствовать беспрекословно, — а ежели же оный случится от соседей или молнии, тогда я не ответствую».

Поэт прожил в доме Жадимировского недолго (Пушкин и его современники писали обычно Жадимировский, сами же купцы в документах именовали себя Жадимеровскими). В мае 1833 г. Пушкин переехал на дачу Миллера на Черной речке, освободив в июле месяце, с согласия домовладельца, свою квартиру на Гороховой

улице. Осенью же, прямо с дачи, поэт надолго уехал из Петербурга.

В отсутствие мужа Наталия Николаевна переехала в сентябре на новую квартиру в доме Оливио на Пантелеймоновской улице. Оставленная же Пушкиными квартира простояла некоторое время пустой, так как домовладелец повысил ее цену. В конце сентября Жадимировский публиковал в газетах, что в его доме сдается «бель-этаж (дом стоял на подвалах и потому, вероятно, в договоре квартира Пушкина показывалась в третьем этаже), состоящий из 12 комнат и кухни, чисто отделанный и из оных три покоя оклеены французскими обоями» [302].

Однако бывшая квартира Пушкина простояла незанятой до конца ноября 1833 г., вследствие чего именитый купец предъявил к Пушкину через надворный суд исковое требование об уплате 1 063 руб. 33 1/2 к., причитавшихся якобы Жадимировскому по день истечения договора. Дело это тянулось в судебных инстанциях ряд лет и закончилось уже после смерти поэта[303].

«...Очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился. — «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. — «Графини ***», — отвечал будочник». Так в повести «Пиковая дама» Германн узнал дом старой графини.

Кто же была «Пиковая дама» и где стоял ее дом? На первый вопрос ответил сам Пушкин, записав в своем дневнике 7 апреля 1834 г.: «При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной

и, кажется, не сердятся». В своей повести Пушкин несколько раз по ошибке назвал графиню — «княгиней». Теперь есть ряд оснований думать, что прообразом «Пиковой дамы» могла служить кн. Н. П. Голицына, знаменитая «princesse Moustache», «Княгиня Усатая»[304].

Отец ее, старший сын денщика Петра I (по достоверному преданию, даже сын Петра) Петр Чернышев, известный своей скупостью, сделал карьеру благодаря женитьбе на единственной дочери начальника Тайной канцелярии Ушакова, прославившегося своей жестокостью. Эту жестокость сердца и безграничный эгоизм унаследовала, по словам кн. Петра Долгорукова, внучка Ушакова, Наталья Чернышева, вышедшая замуж за кн. Голицына. Некогда известная красавица, царица турниров, в старости она была чрезвычайно непривлекательна, обросла бородой и усами, откуда и получила свое прозвище. Ряд художников оставил портреты Голицыной — Людерс, Друэ, Рослен, Сидо, Петер и Митуар. Последний вопреки действительности изобразил ее статной красивой старухой.

Между тем посланник Северо-Американских Штатов Д. К. Адамс отметил, что такой бороды у женщин он никогда не встречал. Старая княгиня походила, по его словам, на греческого философа Платона[305].

Вигель в своих записках сообщает, что княгиня является главой «компании на акциях, куда вносимы были титулы, богатства, кредит при дворе, знание французского языка, а еще более незнание русского...» Голицына сумела своим умом и ловкостью завоевать себе в свете совершенно исключительное положение, и, хотя обстановка дома ее не отличалась роскошью, на ее обедах, изготовленных прославленным поваром, бывали даже члены царской семьи. В таких случаях обед сервировался на серебре, подаренном Петром I одному из Голицыных.

Дом ее находился на левой стороне Малой Морской ул. на углу Гороховой, не переходя ее; ныне это дом № 10 по улице Гоголя[306]. Длинный трехэтажный дом этот сохранился до нашего времени. Сюда к Голицыной — «представляться по начальству» — приезжали все, начиная с юнкера, впервые надевшего эполеты, и кончая посланником в золотом мундире. Заботливые матери привозили к ней на поклон своих дочерей. В приемные дни Голицына торжественно следовала из внутренних покоев в зал, мерно постукивая костылем. Ее почтительно усаживали в глубокое кресло, после чего гости по очереди допускались к ее руке. Все окружающие трепетали перед старой княгиней. Ее сын, Д. В. Голицын, в то время уже всесильный московский генерал-губернатор, не смел без разрешения матери сесть в ее присутствии. Она скончалась 97 лет, 20 декабря 1837 г. — «Пиковая дама», таким образом, пережила обессмертившего ее Пушкина.

После смерти Голицыной дом ее на Малой Морской был приобретен казной и тут в казенной квартире поселился военный министр А. И. Чернышев. Это был известный красавец своего времени, некогда приближенный Александра I, ездивший с секретными поручениями к Наполеону. После событий 14 декабря он был назначен членом Чрезвычайной следственной комиссии над декабристами. Своим беспощадным отношением к ним он снискал особое расположение молодого императора, до конца дней своих благоволившего к Чернышеву. Тем не менее петербургское общество враждебно относилось к царскому фавориту и Бенкендорф, видевший в нем опасного соперника, с особым удовлетворением отметил в одном из своих докладов царю: «Гр. Чернышев пользуется печальной репутацией: это предмет ненависти публики, всех классов без исключения»[307]. Когда дочь Чернышева вышла замуж за Барятинского (брата победителя Шами-

ля), отец уступил новобрачным свой дом на Миллионной ул. и переехал на Малую Морскую в казенный дом военного министра, специально приспособленный для него проф. А. А. Тоном[308]. Во времена «Пиковой дамы» фасад ее дома был лишен каких бы то ни было украшений. Нынешняя же отделка дома — полуциркульные окна в центре здания и по сторонам, безвкусное декоративное оформление наличников, богатый скульптурный пояс, пышный растительный орнамент герба, покрывающий весь тимпан фронтона, — свидетельствует о вкусах правящих верхов конца первой половины XIX века.

У крыльца этого дома, где некогда под дождем и ветром проводил долгие часы Германн, с его профилем Наполеона и душой Мефистофеля, уже не стояла, как прежде, старомодная карета «Пиковой дамы». Ее сменил известный всему Петербургу щегольской экипаж николаевского фаворита, запряженный четверкой цугом, с лакеем в военной ливрее. 26 августа 1852 г., в день двадцатипятилетнего юбилея Чернышева на посту военного министра, Николай I подарил ему этот дотоле казенный дом в вечное и потомственное владение. При этом министру финансов было дано распоряжение выплачивать ежегодно из сумм государственного казначейства 15 000 руб. в год на содержание этого дома, пока он будет находиться в роду князей Чернышевых. Николай I не жалел щедрот для своих любимцев.

К концу семидесятых годов в этом доме жил одно время молодой гр. Александр Соллогуб, начинающий писатель, сын известного автора «Тарантаса». И тут, как при «Пиковой даме», привлекаемые хорошим поваром, собирались друзья Соллогуба. Душой молодого, исключительно мужского общества, здесь собиравшегося, был известный поэт Апухтин. Слушая этого занимательного рассказчика, блиставшего своими экспромтами и юмором, веселая компания засиживалась до утра. Однако со-

ллогубовские приемы длились недолго. Молодой хозяин, бывший дерптский студент, беспутный мот, как и его отец, печально закончил свою жизнь. Этот представитель русской знати, прокутив свое состояние, был уличен в каком-то подлоге и сослан на поселение, где и умер.

Такова история дома «Пиковой дамы», о котором один современник сказал, что «ее дом был первый в Петербурге и, конечно, уже не будет такого дома»*.

Близ дома «Пиковой дамы» на Малой Морской улице, в доме Аша (ныне № 18 по ул. Гоголя), жил много лет начальник III Отделения, всесильный Бенкендорф, чья зловещая тень преследовала Пушкина в течение десяти лет, не покидая поэта ни на смертном одре, ни у отверстой могилы.

Несколько месяцев спустя после кончины Пушкина здесь на Малой Морской ул. царило необычайное оживление. У подъезда дома Аша бессменно дежурила фельдъегерская тройка, сновали фигуры лакеев в богатых ливреях; к дому непрерывно подъезжали придворные кареты. Конные жандармы и квартальные в мундирах с красными воротниками «осаживали» собравшуюся толпу любопытных.

Суета, царившая на тихой улице, объяснялась тем, что проживавший тут в доме Аша начальник III Отделения Бенкендорф был опасно болен. И вся знать столицы, трепетавшая перед могущественным временщиком, являлась сюда лицемерно справляться о его здоровье. Сам царь долгие часы просиживал у изголовья своего любимца. Когда к «всеобщей радости» Бенкендорф выздоровел, он с гордостью сказал, вспоминая о своей болезни:

---

* Существует ни на чем не основанное предание, что дом «Пиковой дамы» — это б. дворец Юсуповых на пр. Володарского, против Симеоновской улицы[309]. Но тот дом, на самом деле, даже не существовал еще при Пушкине и построен архитектором Бонштедтом лишь в 1858 г., как свидетельствует «Архитектурный Вестник» (1859 г., стр. 122-126).

«Общее участие превзошло все самые тщеславные мои надежды... В православных церквах просили священников молиться за меня; такие же молитвы произносились в лютеранской и армянской церквах, даже в мечетях и синагогах»...

Человек, ничему не учившийся, по словам Корфа, не знавший даже основательно грамоты, он, волею судеб, оказался во главе управления всей империей. Лукавый царедворец докладывал Николаю «только то, что царь хочет знать». «В общем, — сообщал он царю, — настроение умов превосходно. Народ и общество вообще искренно привязаны к государю императору и с каждым днем все более и более ценят его выдающиеся качества, служащие залогом их процветания; они ждут от него спасительных перемен и благодетельного законодательства, благодаря которым самый могущественный народ станет также и самым счастливым». Бенкендорф придерживался мнения, что «не должно слишком торопиться с просвещением России, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул бы тогда на ослабление их власти».

Весь город знал, что Бенкендорф, несмотря на свое совершенно особое положение, состоял акционером целого ряда крупнейших коммерческих предприятий столицы. Автор «Système de lègislation d'administration et de politique de la Russie»* Пельчинский, хорошо знавший современное ему состояние России, отметил, что предприимчивость Бенкендорфа обращала на себя всеобщее внимание. «Шеф жандармов, — записал Пельчинский, — является директором ряда обществ: железнодорожного, любекского пароходства, страхования от огня и страхования жизни. Везде он получает по 10 000 руб. в год,

---

* «Законодательное, административное и политическое устройство России» (*фр.*) — Ред.

не считая огромного количества акций, спекуляция которыми может дать ему полмиллиона». «Что делает он, однако, как директор? Он является один раз в год, во время утверждения годового отчета, чтобы его прочесть. — Эта привилегия шефа жандармов — вступать в коммерческие предприятия, — является очень предосудительной, приняв во внимание его служебное положение, исключающее всякую возможность каких бы то ни было возражений против разного рода злоупотреблений администрации данных предприятий. И в наиболее передовых странах не поверили бы, что в России промышленные предприятия не могут существовать без покровительства жандармов, в то время как всюду они требуют полной независимости. Мы могли бы перечислить много подобных случаев злоупотреблений в разных отраслях, но это бесполезно, ибо давно уже установлено, что тайное учреждение, обеспеченное дискреционной властью, приводит к очевидному увеличению злоупотреблений, а не к их искоренению»[310].

Осведомленный обо всем Николай смотрел на это сквозь пальцы, не мешая своему любимцу открыто обогащаться таким способом.

Привилегии, которыми пользовались многочисленные общества, состоявшие под покровительством Бенкендорфа, были столь исключительны, что известен даже случай, когда прусское правительство выступило с протестом против чрезмерных льгот, полученных Любекским пароходным обществом, председателем которого состоял Бенкендорф[311].

Бенкендорф умер в 1844 г. Сопровождавшая траурную процессию толпа лицемерно скорбела об этой «утрате России». И лишь один человек «со слезами истинной горести» возложил цветы на его могилу». Это был Булгарин.

Против дома Аша на Малой Морской (ныне ул. Гоголя), где жил Бенкендорф, на углу улицы Дзержинского

стоит (надстроенный впоследствии) дом, принадлежавший на рубеже XIX века известному деятелю русского просвещения Степану Струговщикову (ныне № 15/17). «Человек умный, — сказал о нем Греч, — основательно ученый, но вздорный, злоязычный, сквернослов и пьяница». После его смерти опекуны его наследников продали в 1820 г. этот дом бар. Классену.

Дом этот был хорошо известен петербуржцам, главным образом, благодаря ресторану Андрие, где, по словам А. Н. Вульфа, «обедали все люди лучшего тону».

«В те времена, — писал один современник, — ресторационная часть в Петербурге была еще в детстве. В лучших русских трактирах почти нельзя было обедать. Кроме дурного приготовления и скверного масла, там строго еще придерживались разделения кулинарных продуктов на допетровские категории. Так, даже у пресловутого Палкина на карте обеда обозначено было: горячее — ботвинья и окрошка; холодное — бифштекс; соус — раки; жаркое — всегда нечто вареное; пирожное — компот. Единственным спасением для холостяков, не имевших своей кухни, являлись французский табльдот у Андрие и так называемые пансионы у нескольких француженок и немок на главных улицах. Стол у Андрие был хорош, но довольно дорог; собиравшееся здесь общество было, однако, довольно смешанное и тут всегда бывали неизбежные один или два фискала».

Андрие служил некогда по продовольственной части в наполеоновской армии и, после ее разгрома в 1812 г., остался в России. Открытая им на Малой Морской улице в начале двадцатых годов «ресторация» первоначально посещалась только французами, главным образом, коммивояжерами и капитанами коммерческих кораблей. Когда же ресторация вошла в славу, ею, по словам Булгарина, «завладели русские».

«В половине пятого, — рассказывает современник, — садилось здесь за стол многочисленное общество: и военные генералы и статские, графы, князья и неважные люди, купцы, артисты, иностранцы и были угощаемы простым здоровым вкусным обедом, с хорошим вином в волю. Такой обед с закускою стоил 6 руб. ассигнациями, а по введении счета на серебро — 1 руб. 75 коп. «За обедом председательствовал обычно сам хозяин, человек добродушный, веселый, «приятный в обхождении». После обеда часть гостей садилась играть в домино, причем проигрыш уплачивался вином, которое тут же со смехом и распивалось. «Мы иногда, — говорит один из посетителей ресторана, — забывались, что обедаем не дома и не в гостях, и при выходе старый слуга, усердный Бартелеми, должен был напоминать о плате», так как кредит здесь никому не оказывался»[312]. Здесь также отдавались внаем и комнаты для приезжающих. В. Зубков, привлеченный к следствию по делу декабристов, по освобождении из крепости, занимал тут комнату. Этот ресторан служил долгое время сборным пунктом «золотой молодежи», разъезжавшейся отсюда по различным увеселительным местам столицы. В недавно опубликованной памятной книжке А. А. Бестужева-Марлинского на 1824 год встречается запись: «Обедал очень хорошо у Андрие с французами. Поехали дурачиться. Был с Мух(ановым) и Аку(ловым) у Софьи Астафьевны». Последняя была содержательницей известного увеселительного заведения того времени. В черновом наброске «Пиковой дамы» Пушкин также упомянул те же имена Андрие и Софьи Астафьевны: «Мы вели жизнь довольно беспорядочную. Обедали у Андрие без аппетита, пили без веселости, ездили к Софье Астафьевне... »

В 1826 г. за табльдотом Андрие появился Д. В. Веневитинов: «Обедаю за общим столом у Andrieux, — пи-

сал он брату. — Там собираются говоруны и умники Петербурга. Я, разумеется, молчу».

В 1829 г. уже состарившийся Андрие решил удалиться во Францию. Усердные посетители его ресторации устроили в честь его великолепный пир и, пропев хором куплеты, посвященные гостеприимному хозяину, поднесли ему золотую табакерку. «Это первый, кажется, пример от постройки Петербурга, — говорит Булгарин, — что трактирщик уехал с деньгами, остался доволен своими посетителями и посетители остались ему благодарны».

Свою ресторацию Андрие передал некоему Дюме, своему земляку, при котором она продолжала по-прежнему считаться лучшей в городе. Все званые обеды неизменно заказывались здесь. Известный обед у Смирдина по случаю его новоселья был приготовлен у Дюме.

Но Дюме недолго возглавлял свою ресторацию. Пельц, оставивший под именем Треймунда Вельпа воспоминания о Петербурге, отметил в 1835 г., что «Дюме лежит уже на Волковом кладбище; его обязанности несет его наследник с бледным лицом и в золотых очках». Ресторан, числившийся официально за «вдовой Дюме», продолжал пользоваться репутацией «бесспорно лучшего табльдота в городе», как гласил в 1840 г. путеводитель по Петербургу[313].

В числе обедающих у Дюме в свое время можно было встретить и отца Пушкина — Сергея Львовича. Одну из встреч с ним здесь в июне 1830 г. описал П. А. Вяземский. — «Это был как раз день именин Александра Сергеевича и тут, — по словам Вяземского, — чадолюбивый отец разделил человек на семь свою радость и свою бутылку шампанского». Постоянным посетителем ресторана был и брат поэта, Лев Сергеевич Пушкин. Денег, как известно, он никогда не имел и обедал здесь в долг. В марте 1827 г. А. С. Пушкин жаловался Дельвигу, что

Лев Сергеевич «задолжал у вашего Andrieux 400 рублей и ублудил жену гарнизонного майора». Через несколько лет, уже в письме к Наталии Николаевне, Пушкин снова возмущался поведением Льва Сергеевича, проигрывавшего у Дюме в домино по 14 бутылок шампанского.

Александр Сергеевич, как «человек лучшего тону», также посещал Андрие, а затем Дюме. Однажды он обедал тут в отдельном кабинете в обществе А. П. Керн, П. А. Осиповой и А. Н. Вульфа. За десертом хозяин ресторана, войдя в кабинет, развязно спросил: «Ну, как идут дела?» Но, увидя за столом светских дам, француз сам понял неуместность своего появления и тотчас удалился. «Вероятно, — записала Керн, — в прежние годы Пушкину случалось у него обедать и не совсем в таком обществе».

Поэт и его друзья помянули прославленного ресторатора в шуточном послании:

Надо помянуть — парикмахера Эме,
Ресторатора Дюме...

После женитьбы Пушкин перестал посещать табльдот Дюме. Он появился тут снова лишь в 1834 г., когда его жена уехала летом с детьми из Петербурга. Свое возвращение «к холостой шайке» он описал Наталье Николаевне следующими словами: «Явился я к Дюме, где появление мое произвело общее веселие: холостой, холостой Пушкин! Стали потчевать меня шампанским и пуншем и спрашивать, не поеду ли я к Софье Астафьевне? Все это меня смутило, так что я к Дюме являться уж более не намерен...» Действительно, он стал обедать у Дюме в два часа.

Однажды Пушкин познакомился здесь с молодым французом, приехавшим в Россию в поисках счастья. Это был Дантес[314].

Рядом с домом, где помещался некогда ресторан Дюме, стоит небольшое двухэтажное здание на подвалах. Оно скромно декорировано двумя небольшими выступами по сторонам и поясом мелких сухариков карниза. Два соседних дома сдавили его по сторонам, и дом неравномерно осел, изображая дугу. В довершение этого между окнами второго этажа и крышей в 1930 г. пробили с правой стороны два окна, сильно исказившие здание. Мраморная доска указывает, что здесь жил Гоголь.

Как сказано выше, Гоголь всегда тяготел к этому району и все его квартиры, так или иначе, связаны с этой частью города. По приезде в Петербург в конце 1828 г. Гоголь поселился в доме Трута у Кокушкина моста, а потом в доме Иохима на Большой Мещанской, впоследствии Казанской. Сюда же, на Малую Морскую, он переехал лишь летом 1833 г. Где жил Гоголь, выехав из дома Иохима? Точных данных по этому вопросу нет. Как известно, лето 1831 г. он провел в Павловске и вернулся в Петербург 16 августа. Адрес свой он сообщил тотчас же Пушкину в письме от 21 августа: «Я живу на третьем этаже и не боюсь наводнений; а кстати квартира моя во 2 Адмиралтейской части, в Офицерской улице, выходящей на Вознесенский проспект, в доме Брунста». Этот же адрес мы встречаем и в его письмах к Жуковскому и Данилевскому, помеченных 10 сентября и 2 ноября 1831 г. Но несмотря на такие, казалось бы, точные сведения, мои розыски этого дома Брунста на улице Декабристов (б. Офицерской) оказались тщетны[315].

Неизвестно, долго ли жил на Офицерской Гоголь. Но, по рассказам слуги его, Якима Нимченко, в эти годы он проживал в доме Зверькова, близ Кокушкина моста. Очевидно А. И. Дельвиг, двоюродный брат пушкинского друга, сообщает в своих воспоминаниях, что «Гоголь жил в верхнем этаже дома Зайцева, тогда самого высокого в Петербурге, близь Кокушкина моста, а так как я жил в доме

Дружинина, — пишет Дельвиг, — вблизи того же моста, то мне иногда случалось завозить его» (сведения относятся к зиме 1831 г. и первой половине 1832 г.).

Между тем ни у Кокушкина моста, ни вообще во всех четырех Адмиралтейских частях в то время не было дома Зайцева. Самый высокий дом в городе принадлежал тогда Зверкову и стоял действительно у самого Кокушкина моста, наискось от дома Дружинина, в котором жил А. И. Дельвиг. Однако, Дельвиг, составляя свои воспоминания много лет спустя, упомянул ошибочно имя Зайцева вместс Зверкова.

Громадный дом Зверкова стоял на Екатерининском канале у Кокушкина моста. Это было первое в городе пятиэтажное здание[316]. Владелец его был богатый купец, не брезгавший «дачею денег в рост». «Коммерции советнику И. Д. Зверкову в собственном доме у Кокушкина моста» был должен по расписке 500 руб. Лев Сергеевич Пушкин.

Дом этот перешел впоследствии к известным коммерсантам Жадимировским (в доме которых на Морской жил в начале тридцатых годов Пушкин) и, наконец, в девятисотых годах он принадлежал И. С. Никитину. Новый домовладелец надстроил по проекту гражданского инженера А. Зазерского этот некогда «самый высокий дом города» еще двумя этажами. Это громадное здание на подвалах и поныне стоит на канале Грибоедова, на углу Столярного переулка под № 69/18[317]. На плане дома, возведенного в двадцатых годах прошлого столетия, несомненно отразилась близость его к торговому центру города — Сенной площади. Дом Зверкова отличается одной очень характерной особенностью: третий этаж его, самый высокий в доме, в комнатах, выходящих во двор, разделен на два этажа. Благодаря этому здание имеет шесть этажей на улицу и семь во двор. Объясняется это тем, что дом в свое время был заселен, главным об-

разом купцами, занимавшими помещения на улицу. Низкие же комнаты во двор, высотою всего около 1 $^{1}/_{2}$ метра, заселялись приказчиками, вся жизнь которых протекала, таким образом, под неусыпным надзором хозяина.

Этот дом Зверкова был издавна знаком Гоголю, так как здесь жил одно время близкий друг писателя — А. С. Данилевский, сосед Гоголя по его первой петербургской квартире в доме Трута. «Александру Семеновичу, душечке бесстыднику в дом Зверкова», — адресует ему сюда письмо Гоголь в 1831 г. Несколько лет спустя, уже переехав в дом Лепена на Малой Морской ул., Гоголь в «Записках сумасшедшего» неоднократно вспоминает дом Зверкова: «Этот дом я знаю, — говорит Поприщин! — Это дом Зверкова. Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих! А нашей братьи чиновников — как собак, один на другом сидит».

В этих скромных «углах» Мещанских Гоголь пережил, по его словам, «первые сладкие минуты молодого вдохновения». Он жил тут до весны 1832 г., переехав, с наступлением лета, на дачу на Поклонной горе. В конце июня Гоголь уехал на родину, возвратившись в Петербург в конце октября. По приезде он поселился снова в этом же районе, в доме Демута-Малиновского, в небольшом Новом переулке, упиравшемся в Большую Мещанскую. Каковы были внешние условия жизни Гоголя в этом доме — мы не знаем. Лишь в письме к И. И. Дмитриеву он обронил слова «мой чердак»...[318]

В этой каморке под крышей Гоголь обдумывал уже свои бессмертные драматические произведения. 8 декабря 1832 г. Плетнев сообщил Жуковскому, что «у Гоголя вертится на уме комедия». «Не знаю, разродится ли он ею нынешней зимой, но я ожидаю от него в этом роде необычайного совершенства». Однако через два месяца тот же Плетнев писал, что комедия у Гоголя «не пошла

из головы», так как он «целую зиму принужден был бегать от дому, боясь там заморозить себя».

Этот дом Демута-Малиновского в Новом переулке до нашего времени не сохранился. Когда перестраивали бывший чернышевский дом на Мойке (в то время школа подпрапорщиков) под дворец для дочери Николая I Марии Николаевны, участок Демута-Малиновского понадобился для расширения площади дворца и был приобретен казною. На этом месте возвышается теперь дворцовый служебный флигель.

В доме Демута-Малиновского Гоголь жил до весны 1833 г. В первых же числах мая он сообщил Погодину о предполагаемой им перемене квартиры. 4 июля Гоголь писал матери: «Теперь я принялся за перо для того только, чтобы известить вас о перемене моей квартиры. Когда будете писать, то адресуйте в Мал. Морскую, в доме Лепена, под № 97» (ныне № 17 по ул. Гоголя).

Поэтому совершенно неправильными являются имеющиеся указания на то, что Гоголь жил будто бы на Малой Морской в доме Лепена с 1831 г., как об этом сообщает Б. Семенников в статье «Дом, где жил Гоголь»; эти же ошибочные указания мы находим и в помещенной в «Красной Вечерней Газете» любопытной заметке «Забытая лаборатория гения», подписанной инициалом «Р.», а также и у В. Мушникова в его недавно вышедшей книге «Из литературного прошлого»[319].

Таким образом, надпись на памятной доске этого дома содержит две неточности. — Гоголь жил в доме Лепена не с 1831 по 1835 г., как гласит надпись на доске, а с 1833 по 1836 г.[320]

Дом Лепена на Малой Морской улице некогда принадлежал купцу Юге (Гуге). Это очень старый дом. В нем еще в эпоху Павла I жил Максимилиан Вильгельм Нессельроде, отец известного канцлера. В этом же доме в павловские дни жила семья С. С. Апраксина (сы-

на известного фельдмаршала), «преотменного ферлакура, циника, покорителя женских сердец». Жена его, Екатерина Владимировна, была дочерью «Пиковой дамы» (Н. П. Голицыной).

После Гуге, уже в двадцатых годах XIX века, дом этот, тогда № 97 первой Адмиралтейской части, перешел во владение придворного музыканта Лепена. Гоголь подробно указал свой тогдашний адрес в «Ревизоре»: Тряпичкин живет «в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя во двор, в третьем этаже, направо». Сто лет спустя, в 1917 г., дом этот все еще оставался в роду Лепенов и принадлежал виноторговцу Генриху Лепену[321]. Любопытна старинная парадная лестница дома с внутренними окнами, сохранившими форточки в нижних стеклах. Звенья старой решетки уцелели лишь в верхнем этаже.

Эта квартира Гоголя в доме Лепена, расположенная во дворе*, состояла всего из двух небольших комнат, куда надо было подниматься по темной лестнице. Небольшая комнатка, отделенная перегородкой от прихожей, служила спальней. Здесь близким друзьям подавался чай. Рядом, в более просторной комнате, стоял у стены диван. К окну был приставлен большой стол, заваленный книгами. Возле него стояло письменное бюро. По словам слуги Якима, «Писал Гоголь иногда днем, но чаще вечером... Сидел ночью долго, пока две свечи не сгорят».

Сколько бессонных ночей провел тут Гоголь, склонившись над рукописями «Ревизора» и «Невского проспекта»! Горькой ценой купил он свою славу. Одни восхищались его талантом, другие завидовали ему и возмущались успехом этого никому дотоле неизвестного провинциала. Вигель и ему подобные удивлялись тому,

---

* Как расходилась эта грустная действительность с мечтами, высказанными когда-то Гоголем Высоцкому о «веселой комнатке с окнами на Неву» (письмо от 26 июля 1827 г.).

что едва ли не половина России провозгласила великим этого «циника». Многие же считали «Ревизора» просто «глупой фарсой», недостойной искусства. Фаддей Булгарин посоветовал даже друзьям Гоголя передать автору «Ревизора», что он не знает сцены и должен изучать драматургическое искусство. А Сенковский отметил, что в «Ревизоре» «в изображении одного лишь лакея Гоголь, наконец, отыскал свое природное назначение».

«Все против меня, — писал Гоголь. — Чиновники, пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого... Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня». В особенности угнетало его злостное невежество цензоров, которые по самым нелепым поводам уродовали его произведения. А наряду с этим — суровая борьба с нуждой, вечные поиски денег и скитание по холодным каморкам. Гоголь писал Погодину, приглашая его в Петербург: «Но если тебе не покажется беспокойным чердак мой, то авось как-нибудь поместимся. Впрочем, ведь мы люди такого сорта, которых вся жизнь протекает на чердаках».

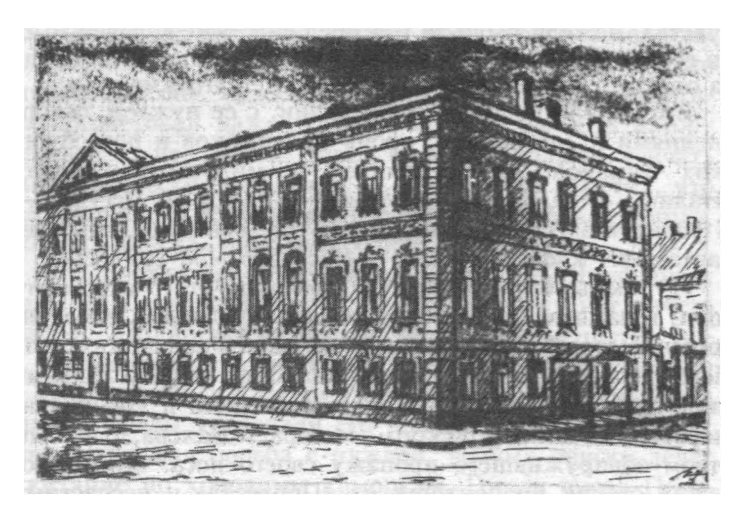
Однако эти унылые каморки были колыбелью целого ряда его замечательных произведений. Здесь на М. Морской из-под пера Гоголя вышли «Записки сумасшедшего»; тут были написаны повести «Нос», «Портрет» и «Невский проспект». Сквозь завесу причудливой фантастики Гоголя перед нами встает Петербург в его новом оригинальном облике, где на смену обычным героям чопорной николаевской столицы являются ничтожные и жалкие чиновники, бедные художники, уличные женщины.

Восемь лет безотрадной петербургской жизни тяжело отразились на Гоголе. Недаром в своих «Петербургских записках» 1836 г. он писал: «Народ все так же пестрится, теснится; те же чувства выражаются на лице его; с тем же любопытством глядит он, с каким глядел и год тому назад, два и три, и несколько лет, — а я и каждый человек из этого народа уже не тот: уже другие в нем

чувства, нежели были за год пред сим; уже суровее мысли его; менее улыбается на устах душа его, и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней его живости».

Его тянуло прочь от этой жизни, с ее нуждой, оскорблениями и злословьем, прочь от чердаков и петербургских туманов. Он стремился в милую его сердцу Италию. «Италия — она моя, — писал он оттуда. — Я родился здесь. Россия, Петербург, снег, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось».

И теперь, сто лет спустя, при виде этого скромного дома, в памяти встает образ автора «Ревизора», склоненного над столом, освещенным оплывшей сальной свечой. Перед нами воскресают давно знакомые образы славных миргородских друзей — Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича и коллежского асессора Ковалева, однажды утром обнаружившего пропажу своего носа. Вот и зловещий старик процентщик из «Портрета» и несчастный «испанский король Фердинанд VIII».



Глава одиннадцатая

В числе несуществующих более построек Деламота, этого верного последователя традиций Блонделя и Габриеля, надо отметить здание Вольно-Экономического Общества, построенное им совместно с русским архитектором Квасовым в 60-х годах XVIII века. Оно было уничтожено в 1846 г., когда заканчивалось оформление зданий Главного Штаба на углу Невского проспекта, против Адмиралтейства[322].

В сохранившихся иллюстрациях того времени дом Вольно-Экономического Общества показан в виде трехэтажного здания, украшенного пилястрами. Четыре тяжелые дорические колонны поддерживали балкон..

Этот дом широко эксплуатировался Обществом, сдававшим помещения частным предпринимателям. Здесь устраивал свои прославленные маскарады предприимчивый француз Лион. В 1779 г. тут выступал под именем кавалера Пинчи известный авантюрист Калиостро. При

Александре I, в период расцвета масонских лож, в доме Вольно-Экономического Общества открылась в 1815 г. ложа «Избранного Михаила», подробно описанная в воспоминаниях Т.Пассек. «Мастером стула» был избран известный медальер Федор Толстой. Адьютант Милорадовича Федор Глинка, добрый знакомый Пушкина, состоял «оратором», обязанности секретаря исполнял Н. И. Греч.

Все внутреннее устройство ложи было выполнено по плану Толстого. Огромная зала представляла собою открытую со всех сторон ионическую колоннаду со стенами, расписанными «под сад». Потолок, сделанный сводом, изображал небо, усеянное золотыми пятиугольными звездами. Вокруг всей залы спускалась до самого пола голубая драпировка, обшитая золотой бахромой. Вдоль стен стояли поднятые на одну ступень скамьи с голубыми подушками, для «братьев». Против входных дверей на возвышении стояло позолоченное, обитое голубым бархатом, кресло для мастера ложи. Над ним сияло солнце в виде большого шара, освещавшегося изнутри. На треугольном столе, наподобие аналоя, стояли бронзовые канделябры с тремя свечами. Тут же лежали большое евангелие и меч ложи с золоченой рукояткой в голубых бархатных ножнах. Молоток из слоновой кости, символ власти мастера ложи, лежал перед его креслом. По обеим сторонам кресла, на небольших пьедесталах, стояли два мужских скелета[323].

В доме Вольно-Экономического Общества помещалась популярная в те годы в городе кондитерская Лареда. Дочь арзамасца Блудова в своих воспоминаниях об отце рассказывает о его постоянных посещениях этой кондитерской, куда он заходил обычно днем. Вечера же его были неизменно заняты театром. Здесь у Лареда Блудов встречался с А. Тургеневым и Жуковским. Завязывалась дружеская беседа. Мороженое с бисквитами,

предоставляемое в кредит любезным кондитером, служило им обедом. Но молодой аппетит давал себя чувствовать и, возвращаясь домой, они съедали щи блудовского слуги Гаврилы.

«Эта лавка одна из лучших кондитерских Петербурга, — аттестовал Лареда автор «Чувствительного путешествия по Невскому проспекту», — хвала господам швейцарцам. Они лакомят всю Европу. Комнаты в лавке хорошо убраны, есть фортепиано, „Инвалид", „Гамбургский Корреспондент", „Петербургские Ведомости"». На этом фортепиано у Лареда играл А. С. Грибоедов. За отсутствием места в Петропавловской крепости Грибоедов и ряд других арестованных по делу 14 декабря был отправлен на гауптвахту Главного Штаба. Как рассказывает декабрист Завалишин, заведовавший гауптвахтой капитан Жуковский был большим любителем музыки. «Узнавши, что Грибоедов хорошо играет на фортепиано... стал водить его и меня в кондитерскую Лоредо, находившуюся на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта. Водил он, впрочем, не в саму кондитерскую, а в небольшую комнатку, примыкавшую к ней, и, вероятно, принадлежавшую к помещению самого хозяина, с которым Жуковский был, по-видимому, коротким приятелем, потому что, заказывая угощение (разумеется, на наш счет), он не пускал к нам никого из прислуги кондитерской, а что было заказано, приносил или сам, или хозяин. В этой комнате стояло фортепиано; мы приходили обыкновенно часов в 7 вечера и проводили там часа полтора; Грибоедов играл, Жуковский слушал его, а я читал газеты».

Рядом с домом, занимаемым кондитерской Лареда, на Дворцовую площадь выходило в первые годы XIX века огромное здание, принадлежавшее богатому откупщику Кусовникову; здесь помещалась гостиница «Hôtel de

l'Europe», принадлежавшая знакомцу Пушкина Тардифу.

Ресторация Тардифа пользовалась в городе заслуженной популярностью:

Пускай Тардиф
В компот из слив
Мадеру подливает,
А Жан Расин
Как в масле блин
В бессмертии утопает...

Так воспел Тардифа известный юморист С. А. Неелов, прозванный «Русской эоловой арфой». «Роскошь, богатство убранства и пространство помещения были огромны, — передает современник. — Два посланника, баварский и шведский, постоянно жили тут. По внезапном выступлении гвардии в марте 1814 г. на гвардии осталось много долгов: это было еще ничего, — продолжает автор, — но Тардиф был кутила; прелестная жена его вдруг исчезла с кирасирским полковником, забрав все, что было ценнее и всю кассу. Тардиф скрылся от описи и был увезен тайно одним фельдъегерем к собрату своему Отону, в Одессу, но уже совершенно спившимся и чуть не голым».

Ко времени пребывания Тардифа в Кишинёве относится пушкинская «Записка к приятелю».

Сегодня я поутру дома
И жду тебя, любезный мой.
Приди ко мне на рюмку рома,
Приди — тряхнем мы стариной.
Наш друг Тардиф, любимец Кома,
Поварни полный генерал,
Достойный дружбы и похвал
Ханжи, поэта, балагура, —
Тардиф, который Коленкура
И откормил и обокрал, —
Тардиф, полицией гонимый
За неуплатные долги, —
Тардиф, умом неистощимый
На entre-mets, на пироги.

Жена «любимца Кома» объявилась в Петербурге в 1815 г. Кредитор ее мужа майор Липман поспешил объявить в газетах, что «купец и б. содержатель трактира «Лондон» и «Отель де Л'Ероп», что в доме Кусовникова, Тардиф, ныне скрылся, оставшись по долговым счетам 1811 и 1812 г. должным до 14 000 руб. Уведомившись, что жена Тардифа получает должное ее мужу», Липман просил уплачивать долги Тардифа не его жене, а объявителю[324].

Много знатных постояльцев перебывало в «Отель де л'Ероп», где некогда был хозяином Тардиф. В книге посетителей в 1812 г. значилась, в числе других, «баронесса Стаель фон Голстейн», прославленная французская писательница г-жа де Сталь.

Дочь известного банкира Неккера, она против воли была выдана замуж за шведского посланника в Париже бар. Сталь фон Гольштейна, человека уже немолодого, малообразованного. Молодая женщина вскоре целиком отдалась литературным и общественным интересам. Вынужденная бежать во время террора за границу, она вернулась в Париж в 1796 г. Роман «Дельфина» положил начало литературной славе г-жи де Сталь. Когда же ее салон стал центром оппозиции цезаристским стремлениям Бонапарта, г-жа де Сталь получила приказание покинуть пределы Франции. Теофиль Готье в своей книге «Г-же де Сталь и Наполеон» пишет: она «тотчас угадала в первом консуле будущего тирана, она увидела «Наполеона под Бонапартом», и, пролив много слез 19 брюмера над участью свободы, она вооружилась с головы до ног на ее защиту. В течение 15 лет она неустанно боролась, не проявляя ни усталости, ни слабости; преследуемая, лишенная родины, она была в дни молчания порабощенной Европы ее голосом призыва к борьбе во имя благородных интересов человечества, за свободу, энтузиазм и мораль»[325].

Эта ярая защитница буржуазной революции, противница Наполеона и реакции, скитаясь по Европе, написала два своих лучших произведения — «Коринна или Италия» и «О Германии». Некоторое время она провела в Швейцарии, откуда, преследуемая Наполеоном, бежала через Австрию в Россию. Это был роковой для Наполеона 1812 год. Г-жа де Сталь долго не могла забыть трудностей своего путешествия в Россию, через Галицию, среди «поляков-нищих, немцев-шпионов и русских крестьян, лобызающих ноги встречных господ». Она возмущалась невежеством трусливых австрийских чиновников, смеялась над глупостью полиции, не опознавшей в путешественнице всюду разыскиваемую г-жу де Сталь. Между тем на дверях всех полицейских управлений, мимо которых она проезжала, висели огромные объявления, в которых задержавшему ее предлагалось большое вознаграждение.

Приезд в Россию г-жи де Сталь, ярого врага Наполеона, был встречен овациями. За свое кратковременное пребывание в России г-жа де Сталь пыталась разгадать загадку «великого северного сфинкса». «Все здесь теряется, даже дворцы, даже само население, — писала она. — Кажется, что мы проезжаем по стране, из которой ушли обитатели». Однако Петербург она назвала «одним из самых красивых городов мира. Невидимый волшебник мановеним жезла перенес сюда на пустынную почву все, что есть прекрасного в Европе», — отметила она. «В Петербурге, — продолжает г-жа де Сталь, — конечно, нельзя повторить о женщине французскую поговорку — «она стара, как улица», ибо улицы имеют совершенно новый вид. Здания блистают ослепительной белизной, а ночью, освещаемые луной, они кажутся громадными белыми привидениями, которые, неподвижно застыв, следят за течением Невы. Я не нахожу ничего особенно красивого в этой реке, но таких

прозрачных вод я не видела нигде. Гранитная набережная, длиною в тридцать верст, окаймляет ее русло, и величие этого создания человеческих рук достойно хрустальных вод, которые оно украшает».

Г-жа де Сталь жила в Петербурге не одна. «Ее семья состояла из дочери, — пишет один из современников, — молодой, хорошенькой 15-ти или 16-летней девушки, из ее сына, который был несколькими годами старше сестры, и из одного бледного и болезненного молодого человека, по-видимому также принадлежавшего к числу ее родственников. Впоследствии я узнал, что это был пьемонтский офицер Рокка, с которым она сошлась во время ее пребывания в Швейцарии и за которого вышла замуж после смерти барона де Сталь».

Пребывание г-жи де Сталь в Петербурге было омрачено царившей здесь атмосферой всеобщей ненависти ко всему французскому. Однажды ее сын и кавалер Рокка были свидетелями беспорядков, происшедших в театре. Публика требовала прекращения представления французской пьесы. «Шумом, свистками, криками, направленными против французов было встречено величайшее произведение Расина — «Федра». Пришлось прекратить пьесу. — „Варвары! — воскликнула г-жа де Сталь, обливаясь слезами, — не захотеть слышать «Федру» Расина!“»

В середине августа 1812 г. в «С.-Петербургских Ведомостях» появились публикациии о предстоящем отъезде «бар. Сталь фон Голстейн, живущей в трактире Европа»[326]. 7 сентября нового стиля она выехала в Стокгольм. В день отъезда г-жу де Сталь посетил посланник Соединенных Штатов Америки Адамс, отметивший, что «ее чувства порождены скорее личной враждой к Бонапарту, чем общими видами, вытекающими из государственных благ»[327].

Пребывание г-жи де Сталь в России возбудило большой интерес русского читателя к ее произведениям. «Из

всех сочинений г-жи де Сталь книга «Десятилетнее изгнание» должна была преимущественно обратить на себя внимание русских, — отметил Пушкин. — Взгляд быстрый и проницательный, замечания разительные по своей новости и истине, благодарность и доброжелательство, водившие пером сочинительницы — все приносит честь уму и чувствам необыкновенной женщины». Пушкин еще раз вспомнил г-жу де Сталь в 1831 г. в «Рославлеве»: «Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя, нежели беседою m-me de Staël. Дамы чинились. Те и другие только изредка прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при европейской знаменитости». — «Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине! — воскликнула Полина. — Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение трех часов! Тупые лица, тупая важность — и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленною!» Таково должно было быть, по мнению Пушкина, впечатление г-жи де Сталь о русском «высшем свете». Ее влияние на Пушкина сказалось в известной степени в описаниях Петербурга в «Медном всаднике». Излюбленный Пушкиным герой также читал

Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madam de Staël, Биша, Тиссо...

9 Зак.№ 125

«Она имеет душу Руссо, но не его ум, — пишет один из биографов г-жи де Сталь, — она дочь Вольтера, дочь XVIII века, приличного и светского. Она имеет расстроенное и взволнованное воображение, горячее, мятежное сердце, из которого льется неистощимый источник страсти. О ней можно сказать, что она мать или по крайней мере крестная мать парламентского и доктринерского либерализма. Она разрешает пользоваться завоеваниями революции лишь людям хорошо воспитанным, «милостивым государям», которых можно принять в салоне».

«Стоящая между двумя великими столетиями, — заметил о ней Альберт Сорель, — она была последним цветком уходящего века и предвозвестником нарождающегося, скорее великим свидетелем, чем участником событий своего времени».

В начале XX века ряд лучших участков на Невском проспекте и Морской улице был застроен пышными зданиями банков, сооруженными финансовым капиталом. Одной из неудачных построек той эпохи является здание коммерческого банка «Юнкер и К-о», стоящее на пр. 25 Октября под № 12. Дробность фасада, нарочитая сухость ведущих линий и жесткость пропорций лишают здание жизни.

В городском архиве не сохранилось подписных проектов здания, поэтому имя автора постройки остается не вполне установленным. Журнал «Зодчий» приписывает постройку архитектору Ван-дер-Гюхту, а историк архитектуры Г. Лукомский зодчему Эриксону[328]. Некогда на месте банка Юнкера стоял украшенный пилястрами дом, связанный с одной из страниц жизни Пушкина. Верхний этаж этого дома занимал в 1819-1822 годах петербургский военный генерал-губернатор Милорадович, по распоряжению которого был выслан из Петербурга Пушкин в 1820 г.

Милорадович принадлежл к разряду людей, которые, по словам Герцена, «занимали не только все военные места, но девять десятых высших гражданских должностей, не имея не малейшего понятия о делах, и подписывали бумаги, не читая их. Они любили солдат и били их палками не на живот, а на смерть оттого, что им ни разу не пришло в голову, что солдата можно выучить, не бивши его палкою. Они тратили страшные деньги и, не имея своих, тратили казенные; красть собак, книги и казну у нас никогда не считалось воровством. Но они не были ни доносчиками, ни шпионами и за подчиненных стояли головой. Один из полнейших типов их был гр. Милорадович, храбрый, блестящий, лихой, беззаботный, десять раз выкупленный Александром из долгов, волокита, мот, болтун, любезнейший в мире человек, идол солдат, управлявший несколько лет Петербургом, не зная ни одного закона...»

На приемах Милорадовича бывал весь «веселящийся Петербург». Обстановка его квартиры походила, по словам историка А. И. Михайловского-Данилевского, на «магазины мебели или изящных художеств по великому множеству разнообразных предметов и вещей, в них находившихся; я не видал нигде подобного убранства: это был совершенно беспорядок, соединенный с утонченнейшим вкусом, например, тут стояли картины Тициана, Вернета, Сальватора Розы, Гвидо Рени, а подле них книги, планы, птицы, трубки, янтарные мундштуки и два фортепиано. Почти каждая горница имела свое собственное освещение; в одной свет происходил от восковых свечей, в другой от алебастровых ламп, в третьей свечи были приспособлены таким образом, чтобы их не было видно, и они освещали одни картины. Одна комната была вся зеркальная; не только стены, но и потолок состоял из зеркал; другая комната убрана была диванами на турецкий манер, и в ней повешены были самые

сладострастные картины. Посреди библиотеки был птичник; прекрасные мраморные статуи находились повсюду. «Где же ваша спальня?» — спросил я его. — «У меня нет спальни, — отвечал он, — я провожу ночь, где мне вздумается». В одной зале, где находились прекрасные картины и статуи, я увидел черную мраморную вазу. Возле нее стоял горшок с увядшим кипарисом, и на вопрос мой, что сие значит, хозяин отвечал мне, что „это памятник его потерянного счастья“».

Милорадович любил хвалиться перед гостями своими приобретениями, преувеличивая их ценность. Плохо владея французским языком, он тем не менее любил пересыпать свою беседу французскими словами. «Saves vous, вы знаете, ce qui me fâche, — передавал Башуцкий его разговор с Бенкендорфом в роковой для Милорадовича день 14 декабря 1825 г., — que c'est un понедельник, c'est vrai. Вы знаете, mon cher, je n'ai pas un seul des предрассудки, mais ce понедельник, voyez vous, мне не нравится, ça me déplait»*.

Вероятно, таким же языком беседовал он и с юным Пушкиным, вызванным к нему весною 1820 г. Подробности их беседы оставил в своих записках близко знакомый Пушкину Федор Глинка, состоявший «по особым поручениям» при генерал-губернаторе. Когда Глинка явился однажды к своему начальнику, Милорадович, «лежавший на своем зеленом диване, закутанный в дорогие шали, закричал навстречу: «Знаешь, душа моя... у меня сейчас был *Пушкин*! Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги, но я счел более *деликатным*... пригласить его к себе и уж от самого вытребовать его бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом,

---

* *Знаете*, вы знаете, *что меня огорчает... что это* понедельник, *это правда*. Вы знаете, *мой милый, у меня нет ни единого* предрассудка, *но этот* понедельник, *видите ли*, мне не нравится, *это мне неприятно* (*фр*.). — *Ред*.

и когда я его спросил о бумагах, он отвечал: «Граф! все мои бумаги сожжены! — у меня ничего не найдете в квартире, но, если Вам угодно, все найдется *здесь* (указал пальцем на свой лоб). Прикажить подать десть бумаги, я напишу все, что когда-либо написано *мною* (разумеется, кроме печатного), с *отметкою*, что мое и что разошлось *под моим именем*». Подали бумаги! Пушкин сел и писал, писал... и написал *целую тетрадь*... Вот *она* (указывая на стол у окна), полюбуйся!.. Завтра я отвезу ее государю. А знаешь ли? Пушкин пленил меня своим благородным тоном и *манерою*... обхождения». <...> На другой день я постарался прийти к Милорадовичу поранее... Он возвратился, и первым словом его было: «Ну, вот дело Пушкина и решено!»... он продолжал: «Я... подал ему‹государю›*тетрадь* и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь! лучше этого не читать!» <...> Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно, а наконец спросил: «А что ж ты сделал с автором?» — «Я?.. Я объявил ему от имени Вашего величества *прощение*!..» Тут мне показалось (продолжал Милорадович), что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, государь с живостью сказал: «Не рано ли?..» Потом, еще подумав, прибавил: «Ну, коли уж так, то Мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с... соблюдением возможной благовидности, отправить (его) на службу на Юг!» Вот как было дело. Между тем в промежутке двух суток разнеслось по городу, что Пушкина берут и ссылают. *Гнедич* с заплаканными глазами (я сам застал его в слезах) бросился к Оленину; Карамзин, как говорили, обратился к государыне; а... Чеодаев хлопотал у Васильчикова, и всякий старался заложить слово за Пушкина. Но слова шли своею дорогою, а дело исполнялось буквально по решению»[329].

Прошло два года со дня высылки Пушкина из Петербурга, и осенью 1822 г. петербургский генерал-губернатор переехал с Невского проспекта в казенные апартаменты на Морской улице. В июне 1822 г. в «С.-Петербургских Ведомостях» появилось объявление о предстоящей сдаче с сентября месяца «двух этажей, в коих жительствует ныне Его сиятельство С.П.Б. Военный Генерал-Губернатор гр. Михайло Андреевич Милорадович». Для перевозки имущества генерал-губернатора на новую квартиру был прислан особый отряд, но Милорадовичу недолго пришлось прожить на Морской улице. Выстрел Каховского на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. положил конец его жизни[330].

Дом на Невском проспекте, в котором первоначально жил Милорадович, принадлежал в течение первой половины XIX века грекам Калержи, выходцам из Венеции. По мнению одного из исследователей, образ Дездемоны был навеян Шекспиру фамильной хроникой знатных венецианских патрициев Калерджисов. Потомки этих гордых нобилей, упоминавшихся в венецианской истории еще в XIV веке[331], переселились в Грецию, а затем в Таганрог. Тут они занялись торговлей пшеницей и вывозом в Ливорно и Анкону сальных свечей, изготовляемых на их таганрогском заводе. Иван Калержи составил себе удачными оборотами огромное состояние и, переехав в Петербург, приобрел дом на Невском проспекте. Здесь Калержи в качестве «Генерального Консула семи греческих островов» принимал у себя всех приезжавших в столицу знатных иностранцев. Его потомки продолжали владеть этим домом, в верхних этажах которого жил одно время Милорадович.

Последним владельцем этого дома, носившим имя Калержи, значится по официальным спискам — «Мария Федоровна Калержи, жена коллежского советника». Под

этим скромным именем скрывается одна из самых блестящих светских женщин Европы 40—50-х годов.

Дочь генерала Нессельроде, племянница и воспитанница николаевского канцлера, 16-летняя девочка была выдана замуж за богача Ивана Калержи. В качестве свадебного подарка жених преподнес ей два миллиона рублей и дом на Невском проспекте. Совместная жизнь их продолжалась недолго. Мария Калержи скоро оставила своего мужа и уехала за границу с одним известным музыкантом. Купив себе в Париже особняк на Анжуйской улице, она вскоре открыла литературный салон, где можно было встретить весь цвет художественного и музыкального мира.

Калержи была ученицей Шопена, ее горячего поклонника, считавшего ее самой талантливой из своих учениц. Она никогда не расставалась с роялем, и даже в постоянных путешествиях по Европе в ее дормезе неизменно находилась немая клавиатура. «Гениальная музыкантша», — говорили одни о Марии Калержи; «любвеобильная сердцем красавица-авантюристка», — утверждали другие; «просто-напросто шпионка Нессельроде», — горячо доказывали третьи.

Одно время неизменным посетителем салона Калержи был Моле, министр иностранных дел Луи-Филиппа. Некоторое время спустя здесь стала появляться статная фигура принца Луи Бонапарта, в заговоре которого Калержи приняла самое горячее участие. «Когда Париж покрылся в 1852 г. баррикадами, — рассказывает Виктор Гюго в «Истории одного преступления», — и по приказу Бонапарта по всему городу производились аресты, одни лишь окна Елисейского дворца оставались всю ночь освещенными. Редкие прохожие наблюдали мелькавшие в окнах «привидения преступления». Тут были и женщины. Одна из них, Калержи, «была русская, высокая, белокурая, веселая, причастная к тайным дипломати-

ческим интригам, показывавшая шкатулку, наполненную любовными письмами гр. Моле; чуть-чуть шпионка, бесконечно обольстительная и отчаянная женщина»[332]. Эта столь ненавистная Виктору Гюго женщина была предметом увлечения целого ряда великих людей того времени, обессмертивших ее в своих произведениях. Ее любили Мериме и Теофиль Готье, посвятивший ей «симфонию» в своих «Эмалях и Камеях».

С изгибом белым шей влекущих
В сказаньях северных ночей
У Рейна старого поющих
Видали женщин-лебедей...
Из этих женщин между нами
Порой является одна,
Бела, как там, над ледниками
В холодном воздухе луна...

Гейне воспел ее в своем «Romanzero», художник Каульбах называл Калержи вдохновительницей его лучших творений. В ее салоне Вяземский познакомился со Стендалем. Блестящая хозяйка дома произвела на русского путешественника столь сильное впечатление, что он приказал увековечить ее черты на одном из живописных плафонов своего остафьевского дома под Москвой[333]. Круг ближайших друзей Калержи составляли Лист, Рубинштейн, Венявский, Дрейшок, Таусиг, Виардо-Гарсиа. Когда концертные выступления Рихарда Вагнера в Париже в 1840 г. закончились неудачею, все убытки Калержи приняла на свой счет. Множество нуждавшихся писателей, художников и музыкантов были обязаны ей постоянной денежной помощью.

Эта «немка по происхождению (Нессельроде), — как выразился один дипломат, — гречанка — по мужу, русская — по воспитанию, полька — по национальности матери и влечению сердца» иногда покидала столицы Европы, чтобы пожить некоторое время в Петербурге в своем доме на Невском проспекте или у своего дяди гр.

Нессельроде, гордившегося ею. Последние годы своей жизни она прожила в Варшаве, разбитая тяжелой болезнью, превратившей ее в полукалеку. Когда до Листа дошла весть о смерти Калержи, он устроил в Веймаре в память ее грандиозный концерт, составивший целое событие в музыкальной летописи того времени. Тут была впервые исполнена специально написанная великим музыкантом элегия, посвященная его близкому и многолетнему другу. «Она играла, как никто, — говорил Лист, вспоминая тонкую игру своей приятельницы. — Кому довелось слушать ее, тот, конечно, этого не забудет, потому что это была не игра, но единственное в своем роде воссоздание творчества».

Лишенный всяких украшений дом № 13 по пр. 25 Октября, стоящий на углу улицы Герцена, не преходя ее, был построен в первые годы XIX века купцами Чаплиными. Разбогатев в конце екатерининского царствования, они открыли тут крупную торговлю «мягкой рухлядью». «Здесь находятся драгоценные плоды дикой промышленности сынов зимы — Камчадала, Алеута и Канадца», — сообщали в 1824 г. булгаринские «Литературные листки». Предприимчивые коммерсанты Чаплины вывозили свои товары в Китай, где на вырученные деньги закупали чай, продававшийся затем в России с большой выгодой[334]. Петербургские обыватели, доверяя чаплинским торговым конторам больше, чем официальной почте, нередко поручали сибирским коммиссионерам Чаплиных пересылку денег и вещей, отправляемых в отдаленные места Сибири. Многие из декабристов, как, например, Волконский, получали таким путем посылки и деньги.

Дом Чаплиных, уцелевший без всяких переделок, связан с именем Грибоедова, жившего тут в 1817 г. у своего приятля А. П. Завадовского, известного игрока и

кутилы. Предметом увлечения Завадовского в то время была прославленная танцовщица Истомина, дань увлечения которой уплатил в свое время и А. С. Пушкин. Но на пути графа стоял кавалергард В.В.Шереметев, с которым Истомина была близка. Однажды, воспользовавшись случайной ссорой Истоминой с «Васькой» Шереметевым, Грибоедов, добрый приятель танцовщицы, привез ее после спектакля к Завадовскому. Здесь, в стенах этого дома, разыгралась та печальная история, которая оставила след на всей последующей жизни Грибоедова. Шереметев, узнав о посещении Истоминой Завадовского, вызвал своего соперника на дуэль и был убит. Секундант Шереметева Якубович, впоследствии известный участник декабрьских событий, вызвал, в свою очередь, на дуэль Грибоедова как «участника интриги». Но Грибоедов был арестован как секундант Завадовского и не состоявшаяся в Петербурге дуэль произошла уже в 1818 г. в Тифлисе; Якубович прострелил Грибоедову руку, воскликнув: «по крайней мере играть перестанешь».

Участие Грибоедова в несчастой дуэли Шереметева с Завадовским, вызвавшее множество неблагоприятных толков, послужило одной из причин его отъезда на Кавказ.

Однако у Грибоедова были, очевидно, и другие основания для скорейшего отъезда из Петербурга. «Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и праздною рассеянностью...» — многозначительно отметил Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум».

По другую сторону Морской улицы, на углу Кирпичного переулка стоял в середине XVIII века дом извест-

ного придворного банкира Кнутзена. Тут в 1759 г., по возвращении из прусского похода поселился Григорий Орлов, тогда еще незаметный артиллерийский офицер, проводивший все свое время в кутежах. Против кнутзеновского дома, через переулок, возвышалось в то время здание Летнего дворца, занимавшее все пространство от Кирпичного переулка до Невского проспекта. Окна комнат Орлова оказались расположенными как раз против апартаментов вел. кн. Екатерины Алексеевны (будущей Екатерины II). Орлов скоро заметил, что «ее высочество» скучает в одиночестве, и честолюбивый красавец, решив во что бы то ни стало обратить на себя ее внимание, стал целыми днями просиживать у окна. — «Она, наконец, это заметила, — сообщал один французский дипломат, — а также и то, что Орлов был молод и красив» [335].

Вскоре последовало сближение Екатерины с молодым гвардейцем, а затем вступление ее на русский престол при поддержке братьев Орловых.

Громадный елизаветинский «Летний дворец» был построен в 1755 г. Гордостью русского двора являлся зеленый тронный зал с позолоченными шпалерами. «Нигде так не восхищался зрелищем, как в большом тронном зале, занимавшем целый и особый приделанный с боку ко дворцу флигель, — записал Болотов, — преогромная была то и такая комната, какой я до того нигде и никогда еще не видывал». Болотов, офицер русской армии, победоносно сражавшийся в Прусии, был допущен до внутренних апартаментов, в то время как «рядовой Преображенского полка Гаврила Державин», будущий автор «Фелицы», стоял на карауле в погребах дворца[336]. Грандиозный дворец, построенный Расстрелли, просуществовал всего десять лет. Ненавидевшая свою тетку Екатерина II, переехав во вновь построенный Зимний дворец, приказала разобрать старое здание. Его уничтожили в 1765 г.

Прошло несколько лет, и при регулировке бывшей территории дворца через нее проведена была к Невскому проспекту Морская улица. Образовавшиеся по сторонам улицы участки были розданы, частью проданы. В 1846 г. Иван Расторгуев в своих «Прогулках по Невскому проспекту» отметил еще сохранившиеся здесь службы и кухни, своим старинным фасадом «напоминавшие о былом елизаветинском дворце».

При распределении участков место между Большой Морской и Мойкой было подарено Екатериной II спб. генерал-полицмейстеру Чичерину. Он выстроил здесь в конце шестидесятых годов XVIII в. здание, выходившее на Невский, Мойку и Морскую, один из интереснейших образцов архитектуры города второй половины XVIII века. Обилие деталей, эффектные наличники третьего этажа, а также прием постановки колонн на колонны изобличают определенное влияние эпохи барокко. Очень удачно разрешены углы здания, подчеркивающие прекрасную разбивку всего фасада. По предположению П. Столпянского, проект дома принадлежит Деламоту. Но архитектура здания не характерна для творчества этого зодчего. Значительно ярче тут выражен характер произведений Растрелли, а потому постройку эту, вернее, надо приписывать одному из его последователей; что касается парадного зала дома, то его строгое оформление следует, видимо, отнести к работе какого-либо крупного мастера более поздней эпохи.

Здание это, существующее свыше 150 лет, неоднократно переделывалось. В 1855 г. архитектором Карповым круглые окна второго этажа были заменены прямоугольными. Четыре года спустя архитектор Гребенка уничтожил ряд других интересных деталей. Тем не менее здание это в значительной мере сохранило до нашего времени свою первоначальную отделку. Недавно отре-

монтированное, оно и поныне является одним из украшений проспекта 25 Октября.

Первым владельцем этого дома (ныне дома № 15 по пр. 25 Октября) был, как сказано выше, петербургский генерал-полицмейстер Чичерин, занимавший этот пост в течение почти пятнадцати лет. Управлявший городом с «примерной строгостью», Чичерин, как отметил А. М. Тургенев, всегда возил в своей карете несколько десятков плетей с железными наконечниками, называвшихся «подлинниками»; он пускал из в ход «по мере надобности», иногда тут же в своем присутствии. Наводнение 1777 г. оказалось роковым для карьеры Чичерина. Он был уволен со службы за проявленную им полную нераспорядительность, стоившую жизни тысяче людей. После его смерти его дом на Невском проспекте унаследовал его сын, вице-полковник кирасирского полка, продавший его в 1792 г. кн. Алексею Куракину. Это был богатый вельможа екатерининского времени, «чья развратная жизнь, — по словам А. Ф. Воейкова, — мотовство, хлопотливость без пользы, проекты неисполнимые и пустые, недостаточное образование — хотя при уме от природы остроумном, делали его тяжелым для подчиненных, несправедливым...»

В числе подчиненных Куракина был молодой Сперанский, живший в его доме на Невском проспекте в качестве секретаря. Историю его поступления на службу к князю рассказывает лицейский товарищ Пушкина М. А. Корф. «Кн. А. Куракину, — пишет автор, — управлявшему в последние годы царствования Екатерины II третьею экспедицией, понадобился, в прибавку к двум домашним секретарям, которые уже были у него для иностранной переписки, еще третий, собственно для русской. Некто Иванов, земляк Сперанского, служивший под начальством Куракина и живший у него в доме, был коротко знаком со своим земляком и часто посещал его.

Он и рекомендовал Сперанского — Куракину. Для испытания молодому человеку велено было явиться к восьми часам вечера. Куракин поручил ему написать одиннадцать писем к разным лицам. Сперанский остался ночевать у Иванова и тут же написал все одинннадцать писем, так что в 6 утра они уже лежали на столе у Куракина. Князь сперва не хотел верить своим глазам, что дело уже выполнено, а потом, прочитав письма и видя, как они мастерски изложены, расцеловал Иванова за присланный клад и тотчас принял Сперанского».

Молодому секретарю, в виде особой милости, разрешалось обедать за княжеским столом. «Однако Сперанскому было неловко в чуждом ему мире, и он предпочитал обедать со старшими из прислуги — камердинерами князя, первыми горничными княгини и нянями их дочерей. Все три секретаря Куракина жили в одной комнате; часть ее была занята их кроватями, которые стояли за простыми бумажными ширмами, а незанятое пространство составляло и общий кабинет и общую гостиную».

Сперанский оставался в доме Куракина до своей женитьбы, состоявшейся 3 ноября 1798 г. Он нанял для себя небольшую квартиру на Б. Морской, куда и переехал с женой. Последовавшая вскоре опала Куракина разъединила Сперанского с его покровителем. Исключительные дарования Сперанского быстро создали ему блестящее положение. Но, как известно, путь великих почестей завершился падением Сперанского и его ссылкой. В 1823 г., возвратившись из изгнания, он встретился с Куракиным, занимавшим уже высокий пост председателя департамента Государственного совета. «Все тот же квартальный надзиратель или следственный пристав», — записал о нем Сперанский. Тем не менее их, видимо, связывали отношения, смысл которых и поныне для нас не ясен. Сын Куракина застал однажды

отца бросающим в камин толстые связки. «Это письма Сперанского, — сказал он. — Если ты будешь когда-нибудь в моем положении, то советую тебе поступить таким же образом. Одни мертвые не говорят, а письмо обращается в мертвеца тогда только, когда оно сожжено».

Роскошный дом Куракина на Невском проспекте в последних годах XVIII века был продан известному откупщику Абраму Перетцу. Новый владелец занял лишь часть бывшего чичеринского дворца, сдав остальные апартаменты петербургскому военному губернатору гр. Палену. Этот ловкий царедворец держал, как известно, в своих руках все нити заговора против Павла I. В числе тайных посетителей приемной генерал-губернатора особое любопытство адъютантов возбуждал бородатый мужчина в тулупе и валенках, которого предупредительно сопровождал в кабинет Палена его доверенный камердинер. Это была Ольга Александровна Жеребцова, сестра екатерининских фаворитов Зубовых, одно из главных действующих лиц заговора, являвшаяся к Палену за тайными инструкциями.

Александр I, опасаясь влияния честолюбивого вельможи, внезапно выслал Палена из Петербурга, и его квартиру занял хозяин дома коммерции советник Перетц, устраивавший здесь роскошные приемы.

Подрядчик-кораблестроитель, Перетц состоял крупнейшим поставщиком соли для казны. «Где соль, там и перец», — заметил о нем С. П. Жихарев. Державин в своих записках называет Перетца «плутом», что не мешало ему ходатайствовать за откупщика при разборе его дел в Сенате. Последовавшие вскоре крупные неудачи при военных поставках в 1812 г. подорвали громадное состояние Перетца, и он был вынужден продать свой роскошный дом на Невском проспекте. Сын его, Григорий Абрамович, был единственным евреем среди декабри-

стов. Роль Перетца в Тайном Обществе была незначительна, но с него, как замечает его биограф Я. Баум, «придется начинать каждому историку, который захочет выяснить участие, значение и роль русских евреев в истории русской революции». Перетц был заключен в Петропавловскую крепость, где просидел полгода, после чего его выслали под надзор полиции в северные губернии[337].

Дом его отца перешел во владение именитых купцов Косиковских, составивших себе состояние, как гласят документы, злоупотреблениями при казенных поставках и «недозволенными операциями» с хлебом. Княжеский герб Куракиных заменили скромные буквы «А. К.» — Андрей Косиковский. Ряд бытовых подробностей об этом доме сообщает П. С. Столпянский в своей книге «Адмиралтейский остров». Следует лишь добавить, что тут, в доме Косиковского, помещался прославленный в свое время ресторан Талона.

«Пади, пади!» — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.

Ресторация, которую посещал пушкинский герой, закрылась весною 1825 г. В газетах появилась публикация о предстоящем отъезде за границу «Петра Талона, повара, французского подданного, из Парижа». В помещении же прославленного ресторана разместилось «Справочное место». Позднее в доме Косиковского был открыт французский ресторан Фельета, часто упоминаемый в записях и дневниках современников.

В этом доме прожил целый ряд лет Н. И. Греч, переехавший сюда в 1821 г.[338] Он занимал квартиру в третьем этаже окнами на Морскую. Под ним помещалась известная типография А.Плюшара. Сюда, в квартиру Греча, переехал летом 1825 г. В. Кюхельбекер. «Я вошел в компанию теперь с Гречем и Булгариным — некогда

моими противниками, — писал он 10 июня 1825 г. — Живу вместе с Гречем в доме Косиковского, на Большой Морской. Мои сотоварищи хотят издать собрание моих сочинений... Я занимаюсь редакцией наших журналов».

Однако содружество Кюхельбекера с «Грачами-разбойниками» длилось недолго. Пять дней спустя «Кюхля» уже сообщал, что он намерен вскоре «оставить квартиру Греча».

В этом же доме Косиковского в первые годы XIX века жила выдающаяся французская актриса Жорж, приехавшая в Петербург летом 1808 г. Она впервые выступила на сцене пятилетней девочкой, вызвав восхищение публики, приветствовавшей крошку криками: «Браво, Мими!» Ее юность протекала в Париже, в крайней нужде. Будущая артистка жила в убогой комнатке, питаясь одной чечевичной похлебкой. Первое выступление четырнадцатилетней Жорж перед парижской публикой в «Ифигении» 29 ноября 1802 г. сопровождалось, по выражению современника, «чудовищным» успехом. «Сам первый консул» просидел в своей ложе до конца спектакля. Имя юной актрисы увенчалось ореолом славы. В числе ее поклонников оказался будущий император французов. — «Спутник Марса стал спутником Венеры». Близость Жорж с Наполеоном длилась недолго. Как отметили современники, охлаждение императора тяжело отразилось на молодой актрисе. Расставаясь с Наполеоном, Жорж обратилась к нему с просьбой подарить ей его портрет. «Вот, возьми, говорят я тут похож», — ответил Наполеон, вынув из кармана золотую монету с его изображением.

В апреле 1808 г. Жорж внезапно исчезла из Парижа. И в то время, как публика с нетерпением ждала ее выхода в пьесе «Артаксеркс», Жорж уже мчалась в почтовой карете в Петербург. Виновником ее исчезновения был будущий шеф жандармов, тогда еще молодой фли-

гель-адъютант Бенкендорф. По приезде в Петербург Жорж поселилась со своим новым покровителем на Мойке, близ Зимней канавки, в доме Грушкина. Весть о предстоящем выступлении знаменитой актрисы в роли Федры привлекла в столицу всю придворную знать, уже разъехавшуюся на летний сезон. В устах Жорж зазвучали по-новому бессмертные строфы Расина, передаваемые с блестящим мастерством французской классической школы — «гармоничной, протяжной и несколько певучей». Но однажды разученную роль Жорж играла всегда одинаково, как по нотам, не изменяя даже деталей. И в то время как в патетических местах зал неистово рукоплескал, актриса, пользуясь паузой в репликах, невозмутимо пререкалась с актерами. Жозеф де Местр находил игру Жорж «иногда хорошей, чаще дурной, но совершенной — никогда». «Общий тон ее декламации, — отметил де Местр, — мне показался фальшивым и напыщенным, как все, что приходит из Парижа: начиная с закона и кончая водевилем. Что касается ее внешности, тут не может быть двух мнений, — она прекрасна».

Вскоре на смену Бенкендорфу, от которого Жорж была некогда «без ума», по словам Коленкура, явился Нарышкин и, наконец, сам русский император. Но его увлечение длилось недолго, и актриса уехала в Москву в поисках новых успехов. Надвигающаяся война 1812 г. побудила Жорж обратиться к Александру I с ходатайством о разрешении вернуться во Францию. «Я готов выдержать войну с Наполеоном, чтобы удержать вас в России», — ответил ей Александр I. — «Но, государь, отныне мое место не здесь, а во Франции», — заметила Жорж. — «Позвольте моей армии опередить вас, и я вас отвезу сам». — «В таком случае я предпочту выждать французов в Москве, я буду ждать меньше», — отвечала Жорж.

При вступлении французских войск в Россию она поспешила в Петербург, куда вскоре стали поступать сведения о победоносном походе неприятеля, за которым последовала ошеломляющая весть о занятии фрацузами Москвы. Когда же счастье изменило Наполеону и Петербург, празднуя победу над врагом, засверкал праздничными огнями иллюминаций, один лишь дом Косиковского выделялся темным пятном на общем фоне. Жорж, глубоко чтившая память великого полководца, одержавшего некогда победу и над ее сердцем, облеклась в глубокий траур. Ей удалось, наконец, добиться разрешения выехать на родину. В последних числах 1812 г. в списке отъезжающих публиковалось имя «Маргерит Жозефин Жорж-Веймер, французской актрисы», уезжавшей вместе с «сестрой Луизою Шарлоттою Жорж-Веймер и отцом их Франсуа Жорж-Веймер, из углового дома Косиковского на Невском пр.»[339].

Печально было возвращение великой актрисы на родину. Белые лилии Бурбонов на французских знаменах были ей глубоко ненавистны, и, желая подчеркнуть свою верность Наполеону, Жорж появилась на сцене королевского дворца, держа в руках букет фиалок — цветов Бонапарта. Между тем в эту эпоху носить фиалки, служившие знаком приверженности Наполеону, почиталось преступлением более дерзким, чем белая кокарда при Наполеоне III.

Карьера Жорж была закончена. она заняла скромное амплуа исполнительницы мелодрам. В конце 30-х годов ее увидел в Париже П. А. Вяземский. «Она уже не царствовала на первой французской сцене Корнеля, Расина и Вольтера, но спустилась на другую сцену — мещанскую, мелодраматическую, — писал он. — Увидев ее, я ахнул: передо мной стояла какая-то старая баба-яга, плотно оштукатуренная белилами и румянами. Обезоб-

раженный памятник, изуродованный временем, обломок здания, некогда красивого и величественного».

Вскоре Жорж совсем оставила сцену и всеми забытая доживала свои дни в суровой нищете. Согласно последнему желанию артистки ее похоронили в плаще, в котором она выступала в излюбленной ею роли Родогуны в трагедии Корнеля.

Рядом с домом, в котором некогда жила Жорж, Косиковские в 20-х годах XIX века построили на Морской улице высокий трехэтажный дом (ныне № 14 по улице Герцена). Он украшен богатой ионической колоннадой и отличается прекрасной обработкой несколько удлиненных окон третьего этажа.

Кто же был строителем этого здания? В. Курбатовым было высказано предположение, что автором его был Кваренги[340]. Однако этому противоречит время его сооружения. П. Столпянский, в свою очередь, полагает, что его строил архитектор Горностаев[341]. Не касаясь чисто архитектурных приемов строителя здания, достаточно отметить, что Алексей Горностаев родился в 1808 г., следовательно предположение это отпадает само собой. Городской архив также хранит молчание об авторе этого прекрасного здания, имя которого так и останется неизвестным. Есть основание думать, что строитель находился под известным влиянием творчества Камерона.

В этом доме А. Косиковского в 1828 г. жил недолгое время А. С. Грибоедов. Он прибыл в Петербург 14 марта 1828 г. вестником заключенного с Персией Туркманчайского мира, остановившись первоначально в «заездном доме Демута». Назначенный 25 апреля того же года министром-резидентом в Тегеран, Грибоедов временно поселился в верхнем этаже дома Косиковского. Он занял скромную квартиру в несколько комнат, обставив их с «походной простотой», вызвавшей удивление Ксенофонта

Полевого. Главным украшением квартиры был богатый рояль, неизменный спутник жизни Грибоедова, страстного музыканта. Петербург его встретил радушно. На Грибоедова смотрели, как на восходящую звезду и уже считались с его влиянием. Его маленькую квартиру на Морской посещали важные чиновные лица, толковавшие о назначениях и наградах. «...Чего эти господа хотят от меня? — жаловался Грибоедов Полевому. — Целое утро они сменяли у меня один другого. А нам, право, не о чем говорить; у нас нет ничего общего».

Три месяца прожил Грибоедов в Петербурге. С тяжелым чувством готовился он к предстоящему отъезду в Персию. «Там моя могила, — говорил он своим друзьям. — Чувствую, что не увижу более России».

Это было в июне 1828 г. А летом следующего года Пушкин встретил в горах Кавказа убогую арбу. Это было тело убитого Грибоедова. Трагически сложилась жизнь писателя. Осужденный на вечные скитания, лишенный радости видеть свою бессмертную сатиру на сцене, представитель свободомыслящей России, друг декабристов, Грибоедов окончил свою жизнь в чужой ему Персии представителем «особы государя императора Николая Павловича»[342].

Против чичеринского дворца на Невском проспекте, по другую сторону улицы, стоял в XVIII веке небольшой окрашенный зеленой краской домик. Тут помещалась одна из известных в городе аптек, принадлежавшая ученому немцу, носившему растрепанный парик и башмаки с красными каблуками. Бархатный черный кафтан и золотой глазетовый камзол дополняли его туалет. Лекарства в аптеке были очень дороги, и поэтому клиентура ученого немца состояла, главным образом, из придворной знати, доверявшей его обширным познаниям.

В первые годы XIX века участок этот перешел к купцу Котомину, построившему четырехэтажный дом, выходящий ныне «покоем» на улицу Герцена, проспект 25 Октября (ныне № 18) и набережную Мойки. Нам неизвестно имя зодчего, построившего это прекрасно оформленное здание, одно из первых доходных строений Петербурга того времени. Фасад этого дома был даже помещен в изданном в 1826 г. альбоме «Планов, фасадов и разрезов примечательных зданий Петербурга». Центральная часть его, выходящая на просп. 25 Октября, подчеркнута выступом с восемью тяжелыми дорическими полуколоннами. Такие же полуколонны оформляют две лоджии по сторонам здания. Ниши со статуями и скульптурные вставки дополняют пышность отделки. Ритмическое чередование колонн, поставленных между окнами, нарушает длинные линии фасада; он расчленен также междуэтажными скульптурными поясами, хотя к этим приемам отделки зданий стали приступать лишь к концу 20-х годов. Необычные для петербургской архитектуры эффектные лоджии просуществовали до 1846 г., когда, как видно из архивных дел, они были наполовину заделаны. Через 10 лет, по проекту архитектора Дмитревского, галереи были уже окончательно уничтожены[343].

Первый владелец дома купец Конон Котомин, весьма гордившийся им, был очень обижен распространившимися слухами о предполагаемом розыгрыше его дома в лотерею. Он поспешил поместить в газетах опровержение, отмечая, что «о розыгрыше в лотерею дома своего никогда не мыслил и не мыслит: то и опровергает вымысел сей, который, вероятно, произошел от неблагорасположенных к нему людей, оставляя, впрочем, оный упрек на совести их». Однако в скором времени дела Котомина пошатнулись, и он в 1823 г. предложил П. М. Волконскому купить его дом («один из первых в городе») за 500 000 руб.,

указывая при этом, что дом приносит ежегодно 58 000 руб. дохода.

Сделка эта, однако, не состоялась. В доме же Котомина в следующем году поселился Фаддей Булгарин. Это были первые годы расцвета его карьеры, которую он начал здесь в скромной роли издателя «Литературных Листков». Тут же в доме Котомина Булгарин начал редактировать журнал «Сын Отечества».

Ну исполать Фаддею!
Пример прекрасный подает!
Против отечества давно ль служил злодею,
А «Сын Отечества» теперь он издает, —

написал А.Е.Измайлов, намекая на службу Булгарина в 1807 г. в наполеоновских войсках[344].

В напечатанной Булгариным в «Литературных листках» статье «Прогулки по Невскому проспекту» Фаддей Венедиктович сообщал, между прочим, своим читателям, что он «посещает, только доброго, честного швейцарца Вольфа (в доме Котомина под колоннадою), который с лишком 15 лет занимается своим ремеслом и заслужил уважение посетителей своею честностию и добротою своих товаров»[345].

Прославленная кондитерская Вольфа и Беранже помещалась в первом этаже дома Котомина на углу Невского пр. и Мойки. В роковой день дуэли здесь ожидал Пушкин своего секунданта. «Условясь с Пушкиным сойтись в кондитерской Вольфа, — пишет Аммосов, — Данзас отправился сделать нужные приготовления. Наняв парные сани, он заехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые уже были выбраны Пушкиным заранее; пистолеты эти были совершенно схожи с пистолетами д'Аршиака. Уложив их в сани, Данзас приехал к Вольфу, где Пушкин уже ожидал его. Было около 4-х часов. Выпив стакан лимонаду или воды, Данзас не помнит, Пушкин вышел с ним из кондитерской; сели в

сани и отправились по направлению к Троицкому мосту. Бог весть, что думал Пушкин. По наружности он был покоен...»

А несколько дней спустя здесь же в кондитерской Беранже Ф. Глинка читал украдкой В.Бурнашеву только что написанные стихи Лермонтова — «На смерть поэта».

Модная кондитерская, посещаемая всей светской молодежью столицы, привлекала особое внимание тайной полиции, установившей здесь постоянный надзор. Агенты Бенкендорфа, располагавшиеся за столиками кондитерской с журналами в руках, тотчас же заносили в записные книжки каждое услышанное слово. Усиленный штат сыщиков дежурил здесь в 1831 г. в период польского восстания[346]. Как отметил Пельц, целый ряд иностранцев подвергся неприятностям вследствие «неосторожных» бесед в кондитерской Вольфа[347].

В сороковых годах при кондитерской была особая читальня и курительная. «Мы помним, — писал журнал «Иллюстрация», — когда Беранже и Вольф открыли в 1834 г. свой Café chinois*, роскошь мебели, сервизов, до последнего блюдечка и ложки, все в китайском заставляли людей бегать смотреть на это диво...»[348]. В эти годы частым посетителем кондитерской был молодой начинающий писатель Ф. М. Достоевский, с увлечением читавший тут газеты и новые журналы. Весною 1846 г. автору «Бедных людей» здесь был представлен Чернышевский[349].

На углу Невского проспекта и Екатерининского канала, с левой стороны, за мостом, стоял во вторую половину XVIII в. трехэтажный дом генералфельдцейхмейстера Вильбоа. Над огромными окнами бельэтажа узкими щелями выглядывали окна верхнего этажа. Тут жил некогда Станислав Понятовский, будущий король

* Китайская кофейня (фр.) — *Ред.*

Польши[350]. Следующим владельцем дома был один из приближенных Екатерины II А. М. Голицын.

В 1799 г. его купил богатейший откупщик Кусовников. Большой чудак, он ходил по улицам Петербурга в длиннополом нанковом зипуне и в лаптях, держа в руках лукошко с яйцами или бочонок с сельдями. В таком виде он являлся в богатые ювелирные магазины покупать драгоценности, вызывая изумление приказчиков целым ворохом ассигнаций,которые он извлекал из своих карманов. Сын этого богача, лейб-гусар Алексей Кусовников, хорошо знал Пушкина, встречаясь с ним в лицейские годы в Царском Селе. Сестра лейб-гусара, Ольга Михайловна, получила в приданое дом отца на Невском пр. Она была замужем за Василием Васильевичем Энгельгардтом, внучатым племянником Потемкина, унаследовавшим часть несметного потемкинского состояния. Присоединив к своим миллионам приданое жены, Энгельгардт оказался в числе богатейших людей Петербурга. Третье Отделение исчисляло его состояние в 27 миллионов. П. А. Вяземский, учившийся с Энгельгардтом в иезуитском пансионе, писал, что он был «хорошо и всенародно знаком... Петербургу. Расточительный богач, не пренебрегающий веселиями жизни, крупный игрок, впрочем, кажется, на веку своем более проигравший, нежели выигравший, построитель в Петербурге дома, сбивающегося на Парижский Пале-Рояль, со своими публичными увеселениями, кофейнями, ресторанами. Построение этого дома было событием в общественной жизни столицы. Пушкин очень любил Энгельгардта за то, что он охотно играл в карты и за то, что очень удачно играл словами. Острые выходки и забавные куплеты его ходили по городу...»

Пушкин сблизился с Энгельгардтом еще в юные годы, когда оба они состояли членами «Зеленой Лампы».

Пушкин, извещая однажды Энгельгардта о своем выздоровлении, выразил в стихах желание видеть его у себя.

Он жаждет видеться с тобой,
С тобой, счастливый беззаконник,

Ленивый Пинда гражданин,
Свободы, Вакха верный сын,
Венеры набожный поклонник
И наслаждений властелин!

Вступив в 1828 г. во владение своим огромным имуществом, Энгельгардт приступил к перестройке дома своей жены на Невском проспекте (ныне № 30 по пр. 25 Октября).

Как удостоверяет городской архив, автором проекта дома был архитектор Павел Жако (architecte Paul Jacot), подписавший ряд чертежей. Таким образом, отпадает ряд утверждений — «Путеводителя по Петербургу», составленного В. Курбатовым, журнала «Зодчий» и альбома «Историческая Выставка Архитектуры», приписывавших постройку здания Абраму Мельникову[351]. В число работ Жако, кроме дома Голландской церкви и его собственного дома на углу улицы Герцена и Кирпичного переулка, надлежит, таким образом, включить здание Дворянского собрания (Филармония) и дом Энгельгардта, что существенно меняет представление о масштабе творчества Жако, одного из незаурядных мастеров эпохи, столь богатой крупными талантами.

Дом Энгельгардта долгое время простоял без переделок. Лишь пострадавший при пожаре зал, расписанный художником Скотти, был в 1850 г. заново отделан. Здание простояло без изменений до 90-х годов, когда новый владелец, Учетно-ссудный банк, поручил проф. Л. Н. Бенуа «перестроить фасад, имевший назначением служить украшением Невского проспекта». В 1895—1896 гг. Бенуа выполнил здание, отяжелив фасад излишними деталями, мало связанными с замыслом П.Жако.

В пушкинское время петербургский «Пале-Рояль», как именовали дом Энгельгардта, служил местом встреч всей светской молодежи. Здесь в своей роскошной, вновь отделанной, квартире Энгельгардт устраивал лукулловские пиры для своих друзей. Пушкин не порывал с ним дружеской связи, и на страницах его дневника в ноябре 1833 г. встречается запись — «обед у Энгельгардта». Документально известно, что в трудные минуты жизни Пушкин прибегал к займам у своего старого приятеля.

В этом доме помещалась в течение ряда лет известная книжная лавка Сленина. Первоначально она была открыта в Гостином дворе, но в 1820 г., согласно указаниям «Новейшего путеводителя» Шредера, книжная лавка уже находилась у Казанского моста.

По отзыву современника, Сленин «принадлежал к небольшому числу тех книгопродавцов-издателей, которые заботились не только о своих личных выгодах, но и о пользе литературы. Множество книг, журналов и альманахов издано иждивением Сленина. В позднейшее время с таким же бескорыстным усердием действовал только один Смирдин». Сленин сам принадлежал к кругу литераторов того времени, сочиняя экспромты и эпиграммы, печатавшиеся в «Северной Пчеле», «Благонамеренном» и «Дамском Журнале».

Этому «собрату по оружию» Пушкин написал в альбом следующие стихи:

Я не люблю альбомов модных:
Их ослепительная смесь
Аспазий наших благородных
Провозглашает только спесь.
Альбом красавицы уездной,
Альбом домашний и простой,
Милей болтливостью любезной
И безыскусной простотой.
Ни здесь, ни там, скажу я смело,
Являться, впрочем, не хочу;

Но твой альбом другое дело,
Охотно дань ему плачу.

Пушкин был издавна в добрых отношениях со Слениным, исполнявшим различные поручения поэта по покупке книг. В 1824 г. при появлении «Онегина» Сленин предлагал за него Пушкину столько, «сколько он хочет». Как записал один из современников, к Сленину «по утрам любили собираться писатели и журналисты. У него почти каждый день можно было найти барона Дельвига, А. Измайлова, Ф. Булгарина, Ф. Глинку, В. Берха, А. Воейкова, графа Хвостова, М. Яковлева, Н. Гнедича. Сам знаменитый Крылов захаживал отдыхать к нему во время прогулок по Невскому пр.»[352].

О лавка дорогая,
В нее как не придешь,
Всегда словесников найдешь, —

сказал однажды Измайлов.

В.Бурнашев в своих воспоминаниях о старом городе упоминает о лавке Сленина. «У него сходились, толковали, спорили, бранились и мирились тогдашние русские литераторы, — пишет он. — Сленин торговал преимущественно французскими книгами. Он был человек довольно образованный, умный (не одна его эпиграмма живет в памяти старых словесников), приветливый, услужливый. Кроме того у него собирались вследствие того, что остальные книжные лавки были в рядах, на ходу, где толпился всякий народ, а лавка Сленина была теплая, во втором этаже, без зазыва и не посещалась лицами ниже 15 класса и с неблагопристойными физиономиями».

Н. Полевой так описал в 1825 г. книжную лавку Сленина.

Здесь мрачно! Книг ряды прилавки отягчают
И в смертной тишине на полках предстоят,
Громады свертков, кип, поллавки занимают

И под прилавками безмолвные лежат.
Лишь изредка с высот под потолок взнесенный,
Огромный фолиант, от смелого толчка —
(Котом-отшельником, иль крысой потрясенный)
Летит и падает, измятый с высока!..

Когда Энгельгардт приступил к перестройке своего дома, Сленин поспешил известить «почтеннейшую публику, что он перевел свой книжный магазин из дому г. Энгельгардта по другую сторону Казанского моста, в угловой дом г. аптекаря Имзена, в бельэтаже, парадный ход с Невского пр.» «...Что называется насиженное место, — записал Бурнашев, — Когда Сленин переехал в дом Имзена... магазин его лишился права собирать у себя литературных посетителей»[353].

По окончании перестройки в верхнем этаже «Пале-Рояля» поместилась гостиница, где приезжим предлагались «удобные и прекрасные квартиры»[354].

Однако Фаддей Булгарин неодобрительно отозвался в «Северной Пчеле» о «прекрасной гостинице», где две комнаты с темной передней стоили 260 руб. в месяц, постельное белье и сохранение экипажа — 50 руб. «В Париже вы можете иметь за 5 руб. в день две прекрасные комнаты с постелями, прислугой, освещением и отоплением. В Париже вы не услышите «нет дров» или ответ прислуги — «некогда». Кормят худо». В 1835 г. здесь остановился Лев Сергеевич Пушкин. «Вообрази, что он здесь взял первый номер в доме Энгельгардта, за который он платил двести руб. в неделю», — с возмущением писала Ольга Сергеевна Павлищева своему мужу.

«Энгельгардтовская гостиница» помещалась над «бальными комнатами», где со времен Екатерины бывали традиционные маскарады. Устроителем их в екатерининское время был француз Лион. «Огромный парадный зал, расточительное освещение, великолепное устройство, которое облегчается громадными размерами всего здания, потоки нескольких тысяч прекрасно одетых или

карикатурно наряженных людей, такую картину можно увидеть лишь в наиболее крупных городах Европы». Так описал Г. Шторх эти маскарады. «Люди из общества бывают здесь только в конце карнавала, — отметил Меерман. — В последний день масляницы народ собирается тут с 12 час. дня. Но самое большое скопление народа бывает вечером. Если появляется двор, то маски должны быть сняты. Для лиц неправославных последним днем карнавала является лишь вторник, но православные, под страхом штрафа в эти дни не допускаются. На этих балах собирается 2 000—3 000 чел. Маскированные одеты, главным образом, в национальные костюмы населяющих страну народностей; встречаются костюмы японцев, диких племен. Некоторые щеголяют в богатых костюмах из золотой парчи. Танцы происходят под роговую музыку.»

По свидетельству современников, на этих аристократических маскарадах, посещение которых было обязательно для людей «хорошего тона», царила страшная скука.

.... уже карета ждет;
Пора в театр, а там на бал, а там к Лиону, —

писал И.Дмитриев в 1794 г. в своем прославленном «Чужом толке»[355].

В XIX веке здесь в доме Кусовникова открылся «Бюргер-клуб» или «Малое Мещанское собрание». Обстановка вечеров, как удостоверяет Ф.Булгарин, была «домашняя» — «прелестные немочки, дочери петербургских зажиточных ремесленников, веселились истинным веселием на балах, вальсировали до первого обморока с щеголеватыми сидельцами и полуважными подмастерьями и с сердечным трепетом поверяли дюжим маменькам тайное пожатие руки или аллегорическое любовное объяснение. Амур присутствовал на сих балах не с завязанными глазами, но в очках и с арифметической таблицей».

В 20-х годах Бюргер-клуб сменили тут «общественные маскарады», не имевшие, однако, успеха у публики. «Несмотря на веселые мотивы, наигрываемые оркестром, — записал О. Пржецлавский, — маскарады Энгельгардтова дома всегда без танцев, имели вид похоронного шествия и утомляли мундирным однообразием костюмов — монахов или пилигримов, маркизов или пьерро».

В тридцатых годах, когда маскарады именовались уже «энгельгардтовскими», «Северная Пчела» писала, что тут, во-первых, ни одной маски, за исключением двух-трех женщин в тирольских костюмах, сидящих в уголках и все время ждущих, что их угостят ужином. Во-вторых, никто не танцует. В-третьих, чрезвычайно мало публики, в большой зале — 100 человек. «Тут можно было бы подумать, что здесь собрались отшельники, раздумывать о суете мира сего и повторять друг другу на ухо: «memento mori», — писал игривый фельетонист[356].

Завязка драмы в лермонтовском «Маскараде» происходит, как известно, в доме Энгельгардта. Арбенин говорит Звездичу:

> Рассеяться б и вам и мне не худо.
> Ведь нынче праздники и, верно, маскерад
> У Энгельгардта.

«Маскарадные комнаты» в доме Энгельгардта сдавались также под устройство вечеров и концертов. «Вы помните прекрасную Филармоническую залу и весь великолепный бельэтаж дома Энгельгардта? — писал один из журналов. — Когда это помещение было отстроено и отделано, весь Петербург сбегался смотреть на это удивительное, тогда несравненное, явление. Весь город был полон толками про готическую и китайскую комнаты. А зала! Кого мы там не переслушали! Вьетана, Виардо-Гарсиа, Рубини, Листа...» В 1842 г. на одном из концертов Лист блестяще исполнил здесь бетховенскую «Sonata

guasi una fantasia». Она произвела такое впечатление, что юный Стасов, находившийся в числе слушателей, громко разрыдался среди глубокой тишины зала. Здесь же в следующем году выступал с громадным успехом четырнадцатилетний Антон Рубинштейн. В энгельгардтовском зале в 1847 г. в последний раз выступила на подмостках знаменитая трагическая актриса Катерина Семенова[357].

Одной из старейших построек на пр. 25 Октября являются бывшие дома Лазаревых, ныне №№ 40—42. Их строителем был архитектор Фельтен, типичный представитель в Петербурге стиля, получившего в свое время название стиля Людовика XV. Согласно своим обычным приемам, зодчий стремился, главным образом, подчеркнуть красоту зданий армянской церкви и выходящих на улицу двух жилых корпусов. За 160 лет своего существования (церковь и дома построены в 1771—1772 годах)[358] оба корпуса потерпели довольно значительные изменения. Один из них в середине XIX века даже надстроили. Тогда же была уничтожена интересно задуманная Фельтеном металлическая решетка со столбами, завершавшаяся двумя фигурами лежащих львов. Они отмечены на хранящемся в городском архиве хорошем чертеже фасадов зданий, расположенных на этом участке (1823 г.). В конце 30-х годов они были зарисованы художником Садовниковым на панораме Невского проспекта, весьма ценном документе эпохи.

В 1891 г. был высочайше утвержден проект архитектора В. Шретера о надстройке фельтеновских зданий еще двумя этажами по фасаду. Но осуществлено это не было. В правом корпусе, где ныне помещается почтовое отделение, обращают на себя внимание штучный пол и прекрасный плафон парадного зала, реставрировавшийся в 1935 г. Владелец этого дома, кн. Абамелек-Лазарев в начале XX века купил на Миллионной ул. так называ-

емый «бироновский дом» и, пристроив к нему здание по набережной Мойки, сооруженное по проекту И. А. Фомина, перенес туда из своего дома на Невском пр. часть отделки дома, в том числе превосходную печь с колоннами (копия известного памятника Лизикрата), повторения которой имеются в дворцах Гатчины и Останкина.

В лазаревском доме помещалась в 20—30-х годах кондитерская Андрея Амбиеля, где служил в качестве «первого гарсона» Иван Излер. Купив у Амбиеля его «дело», Излер значительно расширил помещение. Его кондитерская стала вскоре одной из лучших в городе.

Здесь в лазаревском доме в верхнем этаже левого флигеля (ближе к Пассажу) прожил с 1854 г. по 1872 г. Федор Иванович Тютчев. Его переезд сюда совпал с началом злополучной Крымской войны. «Известия все плохие, — писал он жене, — и чувствуется по их глупейшим бюллетеням, что они совершенно растерялись. Мне кажется, что никогда, с тех пор, что существует история, не было ничего подобного: империя, целый мир рушится и погибает под бременем глупости нескольких дураков». По вечерам, набросив на себя зеленый плащ, Тютчев в сопровождении кого-либо из своих многочисленных друзей шел посидеть и погреться в лучах заходившего солнца на скамейке, стоявшей у ворот. «Собой он был дурен, — писал В. А. Панаев, — небрежно одет, неуклюж и рассеян, но все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали»...

Вы помните его среди друзей —
Как мысли сыпались, нежданные, живые,
Как забывали мы под звук его речей
И вечер длившийся, и годы прожитые...

С домами Лазаревых связана жизнь еще двух других выдающихся людей первой половины XIX века — Сперанского и Батенькова.

10 Зак.№ 125

Опальный сановник вернулся в Петербург из ссылки в марте 1821 г. «Выехал 17 марта 1812 г., — записал Сперанский, — возвратился 22 марта 1821 г. Странствовал 9 лет и 5 дней». Сперанский, по приезде, жил одно время на Малой Морской улице в доме Жерве, а затем в доме сенатора Неплюева на Фонтанке[359] и, наконец, окончательно обосновался в доме Лазарева на Невском проспекте.

«Я нанял этаж в доме Лазарева, — писал Сперанский дочери 25 сентября 1823 г., — и дешевле и покойнее, хотя и потеснее. Дом на перспективе и следовательно очень шумно; но я имею одну комнату во двор, где и буду спать, а кабинет в столовой. Всего четыре чистые комнаты, но для меня достаточно; наверху, вроде антресолей, помещается канцелярия».

Тут в узеньком кабинете, обращенном окном на Невский проспект, Сперанский принимал известного впоследствии мемуариста В. Бурнашева, тогда еще юношу, которого отец привел «на поклон» к влиятельному сановнику. Сперанский сидел у приставленного к окну письменного стола, — описывает свой визит Бурнашев, — одетый в светло-голубой левантиновый утренний сюртук; шея была повязана коричневой косынкой, на ногах красовались вышитые гарусом туфли. Внешность Сперанского описал подробно сенатор К. Фишер. «Довольно высокого роста, с маленькой головой, худощавый, согнувшийся вперед, лысый, с сединами, бледный или вернее белый, blafard, с розовыми кружками на щеках, как у чахоточных, редко-рябоватый, с тонкими чертами лица и хитрыми глазками — чистый тип поповича в совершеннейшем виде или начальника иезуитов».

Вместе со Сперанским здесь жила его дочь Елизавета Михайловна, которую он выдал замуж за некоего Фролова-Багреева, состоявшего в родстве с влиятельным гр. В. П. Кочубеем. Дочь Сперанского долго противилась

этому браку, не желая соединять свою судьбу с человеком, над «простотою» которого трунил весь петербургский «свет». Как передает декабрист Батеньков, отец добился согласия дочери лишь после того, как запер молодую девушку на замок, посадив ее на хлеб и воду. «Так сильна была у генерала-кутейника жажда знатности», — отметил по этому поводу один историк. Здесь в доме Лазарева Сперанский пережил декабрьские дни 1825 г.

Надо думать, что о существовании Тайного Общества Сперанский был осведомлен; знал он, вероятно, и о том, что его имя произносилось декабристами при обсуждении состава будущего правительства. Когда до Петербурга дошли вести о внезапной болезни и смерти Александра I, Сперанский насторожился. Всякие разговоры о политике в его доме были прекращены. Когда Г. С. Батеньков в дружеской беседе коснулся слухов, ходивших по городу в эти тревожные дни, Сперанский прервал его словами: «Ежели не хочешь погибели себе, то не занимался бы тем, что до тебя не относится»[360].

Получив приказ о своем назначении членом Следственной комиссии над участниками мятежа, Сперанский был глубоко взволнован. Дорогой ценой заплатил он за честь, оказанную ему царем. По словам его дочери, возвращаясь с заседаний комиссии, он часто плакал по ночам. Сперанскому пришлось подписать приговор над своим близким другом Батеньковым, присужденным к 20 годам каторги.

По своему образованию и блестящим дарованиям Батеньков был одним из наиболее выдающихся людей своего времени. Он был издавна связан со Сперанским добрыми отношениями, завязавшимися в период их совместной службы в Сибири. Приехав в Петербург, Батеньков перешел в 1823 г. на службу в Управление военными поселениями.

Он поселился сначала у Сперанского в бельэтаже лазаревского дома, откуда перешел вскоре в дворовый флигель, заняв квартиру из трех комнат в третьем этаже.

В этих небольших, скромно обставленных комнатах Батеньков вел долгие беседы со своими друзьями Рылеевым и Бесстужевым-Марлинским о будущих преобразованиях России. Однако членом Тайного Общества Батеньков стал лишь за несколько дней до восстания. В событиях на Сенатской площади он участия не принимал. Даже в следственных документах было отмечено, что на совещаниях членов Тайного Общества Батеньков «подавал мнения более умеренные и ограничивающиеся одним стремлением ко введению конституционного правления». Но, как гласило обвинение, Батеньков «питал честолюбивые виды быть членом Временного Правления и надеялся, в виде регентства, управлять государством под именем его высочества Александра Николаевича». Этим, видимо, надо объяснить исключительную суровость наказания — 20 лет каторжных работ.

Осужденный Батеньков был отправлен в Свартгольмскую крепость на Аландских островах, где он содержался в очень тяжелых условиях.

Скажите: светит ли луна?
И есть ли птички хоть на воле?
И дышат ли зефиры в поле?
По-старому ль цветет весна?

Ужель и люди веселятся?
Ужель не их — их не страшит?
Друг другу смеет поверяться
И думает, и говорит?..

Таковы были мысли узника, обреченного на долгую неволю.

В июне 1827 г. Батеньков был возвращен в Петербург и заключен в Алексеевский равелин, из которого он вы-

шел лишь в 1846 г., т. е. 19 лет спустя. Столь суровому наказанию не был подвергнут ни один декабрист.

В течение первых четырех-пяти лет заключения его ни разу не выпустили из камеры. Наконец он получил разрешение гулять по коридору; но разговаривать он не имел права ни с кем. Постепенно Батеньков разучился говорить. Он потерял представление о времени... Ему стало казаться, что он находится в заключении несколько столетий. Узником начало овладевать безумие. «Я почувствовал себя Творцом, равным богу и вместе с богом решился разрушить мир и пересоздать», — писал он. Прошли десятилетия, а Батеньков по-прежнему томился в каземате Алексеевского равелина.

Живой в гробу,
Кляну судьбу
И день несчастного рожденья! —

записал узник.

Наконец, через 20 лет о нем вспомнили. 31 января 1846 г. последовал высочайший приказ о высылке Батенькова в Томск, «с учреждением за ним там строгого наблюдения». Но, как отметил в своих воспоминаниях сам Батеньков, он «ни с кем не мог видеться, потому что уже вовсе ничего не знал — как дикой. Даже едва умел ходить, а видеть и говорить вовсе отвык. Любопытные приходили смотреть на меня». Батеньков провел в крепостях в одиночном заключении — 21 год, 1 месяц и 18 дней. Лишь после амнистии 1856 г. он вернулся в Европейскую Россию и поселился в Калуге, где и скончался в 1863 г. Такова была судьба одного из наиболее достойных людей того времени.

Интересно отметить, что Батеньков на всю жизнь сохранил благодарную память о Сперанском. Последний, после ареста Батенькова и заключения его в крепость, по-прежнему оставлся в доме Лазарева. Дочь Сперанского после замужества продолжала жить с отцом. Хорошо

владея пером, поклонница литературы, она сумела привлечь в свой салон А. И. Тургенева, П. А. Вяземского, А. Мицкевича. Здесь у Сперанского бывал и Пушкин[361].

Стоявший на месте нынешнего Пассажа двухэтажный дом, построенный «сундуком», принадлежал в течение всей первой трети XIX века кн. Е. Н. Вяземской. Она была женой екатерининского генерал-прокурора, «истинного визиря, — по замечанию Винского, — владычествовавшего самовластно не только в губерниях, но и в самом Сенате». Скаредная, не брезгавшая, по словам Екатерины II, даже «дачей денег в проценты и заклад», Вяземская, между тем, вела открытый образ жизни. Особенно охотно она принимала у себя иностранных дипломатов, рассчитывая найти среди них женихов для своих дочерей. Одну из них она выдала замуж за сардинского посланника, другую за датского, после чего старая княгиня стала называться в петербургском свете «Тещей дипломатического корпуса». Она умерла в своем доме глубокой старухой. Особняк же ее на Невском пр. перешел к ее внучке гр. Влодек, некогда пленившей Александра I.

В тридцатых годах Влодеки не жили уже в Петербурге и бельэтаж их дома стал сдаваться внаем. В конце 1836 г. сюда (ныне № 48 по пр. 25 Октября) переехал нидерландский посланник бар. Геккерен, оставивший свою квартиру в доме № 60 по Невскому проспекту[362]. Знаток старины, Геккерен свою новую квартиру превратил в настоящий музей. По словам бар. Торнау, он «менял, перепродавал и всегда добивался овладеть какою-нибудь редкостью, которою потом любил дразнить других знакомых ему собирателей старинных вещей. Квартира его была наполнена образцами старинного изделия и между ними действительно не имелось ни одной посредственной вещи. Геккерен был умен, — прибавляет автор, — по-

лагаю, о правде имел свои собственные довольно широкие понятия, чужим же прегрешениям спуску не давал».

Здесь с Геккереном жил его приемный сын Дантес с женой. По словам современников, это была странная пара: «Один из самых красивых кавалергардов и наиболее модных людей» — и рядом с ним — «не то крупный иноходец — не то ручка от метлы». Человек, убивший Пушкина, имел два имени — Дантес и Геккерен и три отечества — Францию — по месту рождения, Голландию — по приемному отцу и Россию — по месту службы.

Когда после суда над Дантесом последовало «высочайшее повеление» — «рядового Геккерена, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу», 19 марта 1837 г. в 11 часов утра сюда, в квартиру Геккерена, был доставлен Дантес в сопровождении жандармского унтер-офицера для прощания с приемным отцом и женой. «При сем свидании, — как гласил рапорт, — находились жена рядового Геккерена, отец его — посланник и некто гр. Строганова... Свидание продолжалось всего один час. Разговоров, заслуживающих особенного внимания, не было. Вообще в разжалованном Геккерене незаметно никакого неудовольствия, напротив, он изъявлял благодарность к государю императору за милость к нему и за дозволение, данное его жене бывать у него ежедневно во время его содержания под арестом. Между прочим, говорил он, что по приезде его в Баден он тотчас явится к его высочеству вел. кн. Михаилу Павловичу. Во все время свидания, рядовой Геккерен, жена его и посланник Геккерен были совершенно спокойны: при прощании их не замечено никаких особых чувств».

В этот же день Александр Тургенев встретил отъезжавшего Дантеса в солдатской шинели и шитой шелком фуражке, лихо промчавшегося мимо него на тройке. Через неделю в «СПБ. Ведомостях» появилось сообщение

об отъезде за границу «баронессы Екатерины Николаевны Геккерен, французской подданной; спросить на Невском пр. в доме генерал-лейтенанта Влодека, под № 51». А три дня спустя в газете уже сообщалось о предстоящем отъезде «барона фон Геккерен, Чрезвычайного посла и полномочного министра короля Нидерландского»[363].

Как передает Н. М. Смирнов в своих памятных заметках — «Барон Геккерен, голландский посланник, должен был оставить свое место. Государь отказал ему в обыкновенной последней аудиенции и семь осьмых общества прервали с ним тотчас знакомство. Сия неожиданная развязка убила в нем его обыкновенное нахальство, но не могла истребить все его подлые страсти, его барышничество: перед отъездом он публиковал о продаже всей своей движимости, и его дом превратился в магазин, среди которого он сидел, продавая сам вещи и записывая продажу. Многие воспользовались сим случаем, чтобы сделать ему оскорбления. Например, он сидел на стуле, на котором выставлена была цена; один офицер, подойдя к нему, заплатил ему за стул и взял его из-под него»[364].

Стоящий на пр. 25 Октября под № 54 (на углу улицы Пролеткульта)[365] пятиэтажный дом был построен в 1882 г. по проекту известного архитектора П. Сюзора. Нагроможденные кариатиды, вазы и балкончики не могут, однако, искупить полного убожества архитектурного замысла. Подобный стиль, видимо, отвечал вкусам промышленного капитала, застраивавшего центральную часть города. Некогда на месте постройки Сюзора стоял известный дворец гр. Головиной, в 40-х годах принадлежавший уже ее наследникам Демидовым. Великолепное здание это, отмеченное в «списке выдающихся особняков русских аристократов», значительно изменило свой внешний облик в 1841 г. Тогда был надстроен третий

этаж и произведен ряд переделок, превративших дворец в доходное строение с магазинами и частными квартирами.

Здесь открылись меблированные комнаты, известные под названием «Демидовской гостиницы», содержавшейся некоей Огюстин Шатильон, подругой архитектора Монферрана. В качестве постояльцев сюда допускались только заезжие артисты.

Здесь в демидовской гостинице состоялось 1 ноября 1843 г. знакомство И. С. Тургенева с Полиной Виардо, предрешившее жизненный путь писателя. «Я ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые семь лет тому назад имел счастье говорить с вами, — писал Тургенев Полине Виардо 1 ноября 1850 г. — Дом этот находится на Невском пр., против Александринского театра; ваша квартира была на самом углу — помните ли вы? Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те, которые относятся к вам... Мне приятно ощущать в себе после семи лет все то же глубокое, истинное, неизменное чувство, посвященное вам». Два года спустя, 1 ноября 1852 г., Тургенев снова вспомнил этот знаменательный для него день. «Снова годовщина и знаете, какая? Сегодня ровно девять лет, как я вас встретил в первый раз в Петербурге, в доме Демидова. Я помню этот визит, как будто это произошло вчера. Это было утром». «День, когда мне не светили ваши глаза, для меня потерянный день»[366].

В пушкинское время на углу Невского проспекта и Караванной улицы[367] стоял длинный трехэтажный дом (ныне № 64 по пр. 25 Октября), украшенный пилястрами и бросавшейся в глаза балюстрадой крыши. Построенный в конце XVIII века Д. А. Зубовым, братом екатерининского временщика, дом вскоре перешел во владение петербургского городского головы, именитого купца Менщикова, в роду которого оставался в течение

ста лет. Дом не сохранил до наших дней своего первоначального вида. В 1881 г. по проекту архитектора Пруссакова он был надстроен двумя этажами и заново отделан согласно «духу и вкусу времени». При переходе дома к Менщикову, он утерял прежний облик барского особняка. Дом начал сдаваться под квартиры «всем желающим — на год, помесячно или по особливым с владельцем условиям».

Сюда («в доме Менщикова на Невском пр.») адресовали в начале 20-х годов письма Жуковскому его друзья.

Близкий к царской семье, Жуковский, как известно, жил во дворце. Но, возвратясь в 1822 г. из своего заграничного путешествия, он решил «принести себя в жертву милому Сандрочке», своей любимой племяннице А. А. Воейковой, и переехал из Аничкова дворца в стоящий напротив дом Менщикова. Здесь, близ окна, выходившего на Невский пр., сидя на диване с поджатыми ногами, Жуковский принимал своих друзей, покуривал табак из длинного янтарного чубука. «Он походил на турецкого пашу, — записал К. Зейдлиц, — к чему способствовало сложение его головы и несколько желтоватое лицо его. Широкий, короткий череп, с высоким лбом, прямой профиль, квадратный склад лица, не очень большие, но быстрые глаза, тучное телосложение, наклонность к неге, басовой голос — вот признаки, обнаруживавшие турецкую кровь в организме Жуковского».

Тут же близ окна стоял любимый стол Жуковского, «мой старый друг», как называл его поэт. «Вот, — сказал он однажды Зейдлицу, указывая на стол, — место, обожженное свечой, когда я писал пятую главу «Ундины». Здесь я пролил чернила, именно оканчивая последние слова Леноры: «Терпи, терпи, хоть ноет грудь». По словам А. И. Тургенева, тут собирались у Жуковского «ежедневно и ежечасно» — «литераторы всех расколов и всех наций, художники, музыканты». Гостей радушно

встречала «любезная, изящная, остроумная хозяйка», Александра Андреевна Воейкова, жена редактора «Русского Инвалида». Когда этот «литератор — без сочинений, поэт — без стихов и профессор — без кафедры» появился на петербургском горизонте, Дельвиг написал Пушкину: «С приезда Воейкова из Дерпта и с появления Булгарина литература наша совсем погибла. Подлец на подлеце подлеца погоняет».

Внешность Воейкова была, по словам современников, примечательная. Свалившись однажды с дрожек, он повредил себе ногу и сломал нос. С тех пор Воейков ходил с костылем и с черной повязкой на лице. «И трауром покрылся Капитолий», — воскликнул, словами Батюшкова, Булгарин, увидев изуродованное лицо Воейкова. Нравственные достоинства Воейкова соответствовали его внешности. «Человек желчный, — записал о нем Зотов, — завистливый, грязный в частной и общественной жизни, но несомненно умный и даровитый, он доставлял своей жене массу огорчений». По словам П. Бартенева, Воейков «живал часто на счет людей, которых оглашал друзьями, — и которые не прогоняли его от себя только из уважения к его жене».

Александра Андреевна Воейкова пользовалась в литературном мире уважением и любовью. Вяземский, Рылеев, Николай Бестужев, Козлов, Гнедич, оба брата Тургеневы были горячими поклонниками этой незаурядной женщины. Жуковский посвятил ей «Светлану». Вместе со своею «Отрадою», как называл Воейкову Жуковский, он отпраздновал в январе 1823 г. 40-летнюю дату своего рождения. Боратынский, вспоминая свои «тихие беседы со Светланою», писал:

И при тебе душа полна
Священной тишиной.

Она была вдохновительницей юной музы Языкова. Пламенный поэт, в то время студент Дерптского универ-

ситета, просиживал целые ночи над элегиями и посланиями, посвященными «божественной». «Не вы ли мне песни первые внушили, мне светлый указали путь», — писал он Воейковой. В течение многих лет поэт не мог забыть

Огонь ее приветливого взора,
И на челе избыток стройных дум,
И сладкий звук речей, и светлый ум
В лиющемся кристалле разговора.

Жуковский и его «Светлана» не долго прожили вместе в доме Менщикова. Поэт вернулся вскоре в Аничков дворец; Воейкова же поселилась на Литейном проспекте в доме Гассе (где умер Некрасов). Отсюда в июле 1827 г. она выехала за границу[368].

Отъезд Александры Андреевны был вызван ее тяжелой болезнью. У нее открылось кровохаркание, после чего Воейков выразил, наконец, согласие на ее отъезд и «выдал ей паспорт». Накануне отъезда он, по словам Греча, «послал ее в свой кабинет принести лист бумаги со своего письменного стола; пришедшая туда «Светлана» нашла на столе написанную мужем эпитафию на ее смерть». Она уехала в Италию, где вскоре скончалась от чахотки.

«С 15-летнего возраста до теперешнего времени была она во всем моим прелестным товарищем, — писал Жуковский Александру Тургеневу, — как была она мила в своей первой молодости... Потом, как предмет забот и сострадания, как смиренная, но всегда веселая, при всем своем бедствии, жертва Воейкова. — Все это пропало, от всего этого осталась последняя минута, светлая, возвышающая душу. Перед этою минутою молчит сожаление о ней».

Пушкин никогда не бывал у Жуковского в доме Менщикова. Он провел эти годы в ссылке на юге. Дружеские отношения между юношей Пушкиным и Жуковским, за-

вязавшиеся еще до поступления Пушкина в лицей, поэт сохранил до конца своей жизни.

К 1818 г. относится стихотворение Пушкина «К портрету Жуковского», представляющее собой восторженную оценку поэзии певца «Светланы»:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

Пушкин считал себя глубоко обязанным своему старшему другу, и, возражая однажды Бестужеву-Марлинскому на его суровую критику поэзии Жуковского, поэт заметил: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались?.. Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым».

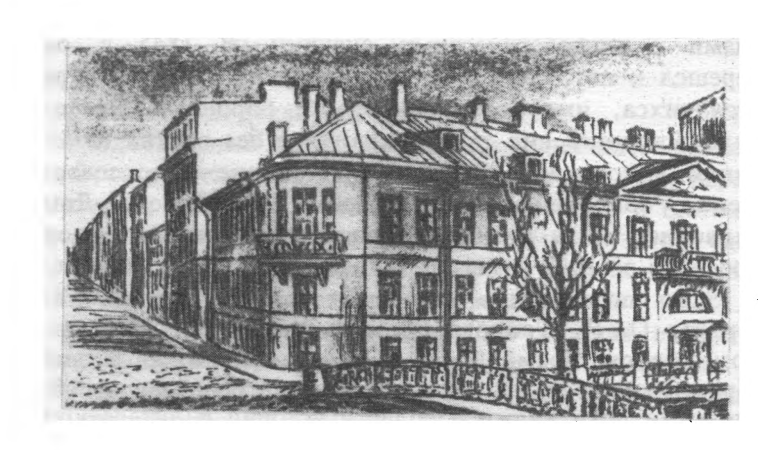
В том же году Пушкин писал П. Вяземскому по поводу статьи последнего в «Московском Телеграфе» Полевого: «...ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его».

Интересную характеристику друзей-поэтов дал П. Бартенев: «Жуковский и Пушкин — люди не только разного, но почти противоположного характера. В стихах и жизни Пушкина ощущается пыл и зной Африки; по свидетельству лиц, близко наблюдавших его, он иногда чувствовал такую горячность и прилив крови, что должен был освежать себе голову водою, для чего вдруг посреди оживленной беседы убегал в другую комнату. Вертлявый и непосестный, Пушкин был весь жизнь и движение. Мать Жуковского — турчанка из нынешней Бессарабии, и в сыне ее сказалась тихая, задумчивая созерцательность турецкого племени. По природе своей Жуковский был ленив и неподвижен, охотно привязывался к месту и об-

становке, мог проводить целые часы на диване, потягивая трубку, и самый голос у него был протяжно-медлительный, а движения всегда спокойные. В беседе — добродушная и нередко затейливая шутка у Жуковского; краткое, меткое, изощренное слово — у Пушкина».

Вяземский оставил следующую характеристику Жуковского: «У Жуковского все душа и все для души. Но душа, свидетельница настоящих событий, видя эшафот, который громоздят для убиения народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальной Аркадии. Шиллер гремел в пользу притесненных. Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием на притеснителей, и краски его романтизма сливаются часто с красками политическими».

Но лира Жуковского воспевала лишь «скипетр» и «короны». «Безумное равенство прав» он почитал гибельным для человечества. Поэт считал, что образование для крепостных людей является «излишеством», которое помешает им довольствоваться жребием, «в котором они помещены судьбою». Гроза революции, пронесшаяся над Западом, не отразилась на миросозерцании Жуковского. События 14-го декабря вызвали лишь его негодование. «Какая сволочь! — писал он Александру Тургеневу, — чего хотела эта шайка разбойников... Презренные злодеи, которые хотели с такой безумной свирепостью зарезать Россию»[369].



Глава двенадцатая

В дни февральской революции стоявший на углу Почтамтской ул. и Конногвардейского переулка (№ 23) дом министра императорского двора Фредерикса был сожжен. Долгое время это место было покрыто грудой почерневших кирпичей, и лишь недавно тут построили новый дом.

В двадцатых и тридцатых годах XIX века вся местность против конногвардейских казарм представляла собой пустырь, который стал застраиваться лишь к сороковым годам.

Тогда был заново перестроен и увеличен стоявший на углу Почтамтской улице небольшой уединенный домик, принадлежавший сначала консулу Тешу, а затем подполковнику Брюну. Построенный в стиле Возрождения, дом был украшен разноцветными арабесками и медаль-

онами с мифологическими сценами. В 1845 г. он перешел к потомкам богатого екатерининского банкира Фридрихса, именовавшимися уже баронами Фредерикс. Внешний вид дома сохранялся без всяких изменений вплоть до 1885 г., когда здание было совершенно обновлено архитектором Шрейбером. Дом украсился тогда аттиком и вазами. В таком виде он простоял до 1917 года.

Здесь поселился в тридцатых годах известный литератор О. И. Сенковский, писавший под псевдонимом «барон Брамбеус»[370]. Это был один из весьма образованных людей своего времени, обладавший обширными познаниями в области истории и литературы Востока. Помимо европейских языков он владел также арабским, турецким, персидским и новогреческим. Блестящий профессор петербургского университета нашел тесной для себя студенческую аудиторию. Он занялся публицистикой, сойдясь с Ф. Булгариным и Н. Гречем. Они были близки ему по духу, но к мошенничествам и подлогам, связанным с именами обоих журналистов, Сенковский не был причастен. Он не был близок и к III Отделению.

Своим участием в издаваемой Смирдиным «Библиотеке для Чтения» Сенковский оказал новому журналу чрезвычайные услуги. Было время, когда он писал до ста печатных листов в год. Это были рецензии, ученые статьи, водевили и повести[371].

«Библиотека для Чтения» стала в руках «Брамбеуса» не только источником громадных прибылей, но и ораторской трибуной. «Мефистофель николаевской эпохи» (как назвал Герцен Сенковского) обезоруживал соперников ядом своих сарказмов, злобно смеясь над непреложными истинами и признанными авторитетами.

Он не росу небес, но яд земли —
Злословье льет, как демон, от бессилья;

Не в небесах следит орла он крылья,
Но только тень их ловит он в пыли, —

написал о нем декабрист А.И.Одоевский.

Влиятельный журналист, пожелавший иметь барскую квартиру, решил снять дом Брюна. Однако, при первом осмотре, дом этот произвел на Сенковского и его жену невыгодное впечатление. Это было темное и сырое одноэтажное здание на подвалах, с семью окнами по фасаду. Комнатки были маленькие и грязные.

Сенковский, желая сделать жене сюрприз, втайне от нее занялся переделкой своей будущей квартиры. Из неприглядного помещения она вскоре превратилась в «роскошную бомбоньерку». Покрытая богатым ковром лестница представляла собою сплошную аллею цветов, которая заканчивалась боскетом из апельсиновых деревьев, жасмина и роз. Повсюду была расставлена редкая мебель, бронза, мраморные статуи; огромные картины в золотых рамах и множество дорогих безделушек украшали квартиру. Специальный садовник ухаживал за цветами, заполнявшими все комнаты.

Сюда, в этот роскошно убранный дом, по вечерам собиралось множество лиц, искавших покровительства всесильного редактора. Он писал обыкновенно всю ночь напролет, а днем спал. Когда посетитель подходил к рабочему кабинету хозяина, лакей хлопал, по восточному обычаю, в ладони. Из-за портьеры доносился такой же ответный звук, и гость допускался к Сенковскому. Кабинет был убран в восточном вкусе и в глубине его, среди множества пестрых подушек, возлежал «барон Брамбеус». Все лицо его было изуродовано оспой и покрыто пятнами. Приплюснутый нос, хитрые глазки без ресниц и бровей и ряд черных зубов — такова была внешность Сенковского. Он носил албанскую синюю куртку и красные шальвары. Его голову украшала

красная феска. На ковре стоял хрустальный кальян, через который Брамбеус пропускал струю ароматного дыма.

Карл Брюллов сравнил лицо Сенковского с кладбищем. Его жена, пишет Пржецлавский в своих воспоминаниях, «была очень некрасива и, по странной игре природы, чрезвычайно похожа на своего супруга, mutatis mutandis*. Итак у него лицо было сально-желтого цвета, а у нее красно-желтого цвета; у нее глаза черные, как ночь, а у него какого-то бледно-бутылочного оттенка, и взгляд его имел что-то очень неприятное, но черты лица у жены и у мужа были тождественны... Раз в одном поезде я приехал в Павловск с Сенковским. Когда он с женою, встречавшею его на платформе, нежно обнимались, кто-то из задних вагонов громко воскликнул: «Господа, посмотрите, как леший с домовым целуются».

От своей жены «Брамбеус» требовал, чтобы она была всегда одета с исключительной пышностью. Богато наряженная, она принимала по субботам гостей, которых Сенковский угощал изысканными ужинами.

Здесь можно было встретить Нестора Кукольника, скульптора Федора Толстого, Карла Брюллова и его брата Александра, женатого на сестре Сенковской. Но к литературной богеме «Брамбеус» относился с пренебрежением. Он предпочитал гостей, к которым можно было за ужином во всеуслышание обратиться со словами: «ваше сиятельство» или «ваше превосходительство». Не чуждый музыкальных способностей, хозяин дома часто устраивал у себя интересные концерты. Тут пел свои романсы Глинка, звучала виолончель знаменитого Серве. Блестящий молодой пианист Гензельт играл здесь свою прекрасную «Poème d'amour».

---

* Букв.: Изменив, что должно быть изменено (*лат.*) — Ред.

Четыре года, проведенных Сенковским на Почтамтской ул., по словам его жены, были самым счастливым периодом его жизни. Однако непомерные расходы по содержанию дома вынудили его оставить Почтамтскую и переехать на Васильевский остров. К тому времени материальное благополучие Сенковского пошатнулось. Интерес к «Библиотеке для Чтения» упал, число подписчиков сократилось. Многие уже смотрели на журнал, как на «пустую бумагу, обернутую позолоченным переплетом». Немалую роль в судьбе «Библиотеки» сыграла конкуренция появившихся толстых журналов, а также скрытая борьба, возникшая между Сенковским и его прежними соратниками, завидовавшими его успеху.

Тут же поблизости, по другую сторону Мойки, в небольшом доме, стоящем и поныне на набережной под № 92, жил издатель «Северной Пчелы» Н. И. Греч[372]. По предположению В. Я. Курбатова, дом этот относится чуть ли не к аннинской эпохе. К сожалению, историю участка по данным городского архива можно проследить лишь с 1834 г., поэтому документально подтвердить это предположение невозможно.

Недавно еще огражденный с набережной старинной решеткой дом этот был варварски переделан в 1865 г., по продаже его Гречем (одним из его владельцев оказался известный архитектор Иероним Корсини, оставивший хороший чертеж фасада здания, хранящийся в городском архиве). Последними владельцами дома были Юсуповы, которым принадлежал стоящий рядом дворец, построенный Кваренги, ныне Дом Учителя[373].

В начале XIX века участок этот принадлежал действительному статскому советнику А. А. Ржевскому, от которого он перешел к бар. Ашу. Тут поселился

В. С. Попов, секретарь и любимец умершего на его руках .«светлейшего князя Тавриды» — Потемкина. В начале тридцатых годов здесь разместилась типография литератора Греча; в июле 1831 г. он сам переехал сюда, купив у Аша этот дом на Мойке.

Человек проницательного ума, Н. И. Греч вполне трезво смотрел на современное ему положение России. «Может ли существовать порядок и благополучие в стране, где из шестидесяти миллионов нельзя избрать восьми умных министров и пятидесяти честных губернаторов?» — отметил он в своих записках. Но это не мешало ему быть верным слугой престола и раболепствовать перед «вышним правительством».

Яркую характеристику Греча дал в письме к Боткину Белинский. «Это литературный Ванька-Каин, — писал он, — это человек, способный зарезать отца родного и потом плакать публично над его гробом, способный вывести на площадь родную дочь и торговать ею (если б литературные ресурсы кончились и других не было), это грязь, подлость, предательство, фискальство, принявшие человеческий образ».

Когда на Западе вспыхнула революция и умолчать об этом было уже невозможно, Греч сокрушался над «развратом умов и совестей в Европе», умиляясь «зрелищем здорового нравственного состояния», в котором пребывала Россия. Сосредоточив в «Северной Пчеле» — «всю заботливость сердец русских о любимом Отце-Государе», ее издатели добились того, что Николай I называл «Пчелу» — «моя газета». Правительство всеми мерами содействовало ее распространению. Поэтому бывали годы, когда каждый из издателей зарабатывал по 24 000 р. сер. — сумму для того времени весьма значительную.

Неизменным сотрудником Греча был Булгарин. Однако «Грачей-разбойников», как назвал их Пушкин, связывали лишь материальные интересы. И когда много лет спустя между друзьями произошли разногласия по денежному вопросу, Греч в своих записках рассказал о Булгарине такую правду, «что хуже всякой лжи».

За период их совместной работы Булгарин приобрел себе имение в Остзейском крае, а Греч — дом на Мойке, где помещалась редакция газеты.

Здесь составлялись доносы на конкурентов, тут щедро платили за пасквили и открыто торговали рекламными статьями. Наезжавшие в редакцию посланцы Бенкендорфа в жандармских мундирах чувствовали себя хозяевами, встречая здесь неизменное «слушаю-с».

Кому из литераторов того времени не был известен этот «гречев дом»! Множество петербуржцев с раннего утра торопилось на Мойку к знакомой решетке дома Греча, ища свидания с «главой воинствующей литературы», как назвал Греча один французский путешественник. В зеленой куртке и бархатных туфлях, Греч учтиво принимал посетителей, хитро поглядывая на них поверх своих очков. На «четвергах» Греча собирался весь литературно-художественный Петербург. Здесь бывал также и весь театральный мир столицы и заезжие иностранные знаменитости. Вся эта пестрая толпа певцов, музыкантов, фокусников и чревовещателей спешила засвидетельствовать свое почтение влиятельному литератору, с тайной надеждой на благоприятный отзыв в «Пчеле».

Некоторых привлекало сюда присутствие младшего сына Греча, Николая. Это был очень талантливый юноша, любитель музыки, отличный актер. При его участии

тут ставились живые картины и разыгрывались водевили Шаховского, Ленского и Каратыгина.

Постоянным посетителем «четвергов» Греча был, конечно, и Булгарин, старавшийся всегда занять самое почетное место. Он «был кругленький, на коротеньких ножках, — записала М. Каменская, — с порядочным брюшком, голова плотно подстриженная, как биллиардный шар, лицо смятое, глаза вытаращенные, как у таракана... вечно спорил и хохотал; одет был в светло-серенькое с ног до головы». У камина располагался Сенковский, не расстававшийся с чубуком розового дерева. В углу сидел неуклюжий Нестор Кукольник, поминутно нюхавший табак. А в столовой, поближе к бутылкам, усаживался неизменный спутник Брюллова — художник Яненко.

Однажды у Греча Бурнашев увидел Пушкина. Поэт, как известно, открыто боролся с влиянием «Пчелы», не порывая, однако, с Гречем личных отношений. «Неожиданно и неприметно, — рассказывает Бурнашев, — вошел в комнату небольшого роста господин, с длинными, курчавыми, растрепанными, темно-русыми волосами, с бледно-темноватым лицом, окаймленным огромными бакенбардами, падавшими вниз. Господин этот был в коричневом сюртуке и держал мягкую, измятую шляпу в левой руке. В лице его было что-то необыкновенное, будто напоминающее наружность мулата: нос несколько приплющенный, губы очень красные и широкие, а обнаруживаемые веселой улыбкой зубы — белизны необыкновенной».

Со смертью сына вечера Греча в значительной степени утратили свой интерес. Эта смерть совпала с дуэлью Пушкина. Тяжело раненый поэт просил Даля передать Гречу его соболезнование.

В старом доме на Мойке жизнь постепенно замирала. Далеко в прошлом был успех «Пчелы». И тщетны оказались все попытки ее нового редактора П. Усова (переехавшего в дом Греча в 1850 г.) восстановить былую славу газеты — число ее подписчиков все уменьшалось.

Вскоре дом на Мойке был продан Гречем для уплаты долгов. Женившись на старости лет на классной даме из института глухонемых, он переселился в казенную квартиру своей жены, где и умер, всеми забытый в 1867 г.[374]

Но дому Греча было суждено еще раз послужить убежищем угоднического и лакейского духа. Здесь, в его бывшей квартире, открылся в декабре 1864 г. «Клуб петербургских служителей». Учредителями его были камер-лакеи, камердинеры и швейцары высокопоставленных особ, торжественно отпраздновавшие открытие своего клуба. Вскоре сюда стали наезжать и сами высокие хозяева членов нового клуба, развлекавшиеся здесь с лакейскими женами и дочерьми. «Пьяные скандалы» породили в городе весьма неблагоприятные слухи, и власти вынуждены были закрыть клуб. Такова история «гречева дома», столь памятного его современникам.

Ранним утром на набережной Мойки, близ Прачечного пер., появлялась невысокая, подвижная фигура пожилого щеголя, одетого в наглухо застегнутый синий фрак с золотыми пуговицами. Белоснежные воротнички подпирали румяные щеки. Маленькие глазки, живые и умные, освещали всегда улыбавшееся лицо. Из-под фуражки с большим козырьком выглядывал белокурый парик. Это был прославленный архитектор своего времени Монферран, отправлявшийся каждое утро пешком из своего дома на место постройки Исаакиевско-

го собора. Проходя по улице, он ежеминутно раскланивался. Его знал весь город, и каждый имел к нему какое-либо дело.

Имя Монферрана не сходило с уст петербуржцев, падких на всякого рода «истории» и сплетни. Необычайная судьба этого еще недавно никому не известного человека интриговала всех. Многие еще помнили, как этот «французик» ютился под самой крышей в каморке, куда попадали через швальню соседа-портного. Теперь же это был строитель прославленного на всю Европу собора, владелец особняка, наполненного музейными редкостями, гостеприимный амфитрион, потчевавший друзей тысячными ужинами.

Сведения о происхождении Монферрана сбивчивы. Обычно считают, что Август Рикар, по прозванию Монферран, родился в Шальо в 1786 г.[375] Как сообщает В. Курбатов, он получил свое прозвание от наименования парижского лицея Монферран, в котором воспитывался [376]. Имеется, однако, свидетельство А. Старчевского, указывающего, что Монферран, внебрачный сын какой-то француженки и неизвестного немца, родился в Пюи де Дом, в городе Монферран, составляющем часть города Клермон[377].

Свое образование Монферран закончил в мастерской Персье и Фонтена, после чего судьба забросила его, по неизвестным причинам, в Россию. «...Мне один француз сказал об Монферране, — писал 1 января 1820 г. своим родителям из Неаполя художник Сильвестр Щедрин, — что будто он один из негоднейших людей в Париже, и что его там за дурное поведение все презирали, а у нас уважают, чему он не мало удивляется»[378].

Заинтересовавший Александра I рядом блестяще исполненных проектов собора, Монферран был назначен главным архитектором постройки, которой он отдал за-

тем всю свою жизнь. Не слишком щепетильный в выборе средств для пополнения своих доходов, Монферран вскоре оказался владельцем богатейшего особняка на Мойке, приобретенного им от жены вице-адмирала Симанского (дом № 86). Это было небольшое двухэтажное здание, всего в 5 окон по фасаду, с круглым закрытым балконом. Снаружи дом Симанской не был изменен Монферраном, подвергнувшим значительным переделкам лишь дворовый участок, имевший в конце особый выход на Прачечный переулок. Поперек двора Монферран построил увенчанный готической башней двухэтажный флигель, за которым был разбит сад. Флигель украшал фантастический герб; на его овальном голубом поле, окруженном геральдическою арматурою, была изображена Александровская колонна, создание Монферрана, которым он очень гордился. При открытии прославленного памятника Николай пожаловал Монферрану 100 000 рублей серебром.

Первый двор, атриум, с левой стороны был частично перекрыт флорентийской крышей. Из люнетов выступали бюсты великих архитекторов и ценные скульптурные рельефы.

Правая стена была уставлена античными саркофагами, вазами и статуями; верхнюю часть ее украшала огромная фреска, изображавшая рубенсовский «Триумф Карла V». Посреди двора стояла античная бронзовая фигура Юлия Цезаря в натуральную величину, вывезенная когда-то из Рима известным богачом Павлом Демидовым. Монферран разыскал ее на чердаке одного из демидовских домов и, выпросив статую у владельца, поместил ее в своем музее. Это прекрасное творение античного мира оказалось одним из ценнейших произведений коллекции Монферрана. Со статуей Цезаря соперничала тонкостью работы выставленная тут

же древняя «Муза». Сад соединялся с атриумом крытым переходом. Потолок его был расписан фресками, копиями с «Лоджий» Рафаэля; в стены был вделан мрамор, главным образом, рельефы античных саркофагов. Среди них Монферран особенно ценил крупный мраморный барельеф «Мадонна с младенцем» работы Луки делла Роббиа — раннее произведение мастера.

Много труда уделил Монферран внутренней отделке своего дома. Его помощником в этом деле был младший архитектор Исаакиевского собора академик Шрейбер, который «составил проекты и все шаблоны для внутреннего украшения вновь отделанных частей дома статского советника г. Монферрана и почти до окончания оного наблюдал за верностию производства работ»[379].

В это «жилище каменщика», как скромно называл Монферран свой дом, вступали через богато украшенный мрамором вестибюль, за которым следовал кабинет архитектора. Здесь хранилось богатое собрание книг по истории и искусству и коллекции египетской, греческой и римской бронзы и мрамора, среди которых выделялась превосходная мраморная голова молодого египтянина. Все стены комнаты были увешаны старинными миниатюрами, бронзовыми медальонами XV—XVI веков, ценными картинами.

Достопримечательностью столовой являлась ценнейшая коллекция старинных блюд и тарелок, вделанных в особые углубления в стенах. По углам стояли севрские, нюрнбергские и саксонские фигуры и вазы. Всего в столовой находилось до 600 отборных предметов.

В числе других редкостей Монферрана находилась кровать последней французской королевы Марии Антуанетты. Она была сделана из черного дерева, с балдахином, который поддерживали четыре колонны. В одной из

комнат выставлена была известная модель Исаакиевского собора. Кроме предметов древнего искусства Монферран владел также множеством прекрасных образцов современной ему живописи и скульптуры. Это были подношения художников, участвовавших в работах по отделке собора и считавших нужным отблагодарить таким способом Монферрана за привлечение их к работе.

Небольшая лестница из серого полированного камня вела во второй этаж. Плафон галереи был украшен портретами знаменитых художников. В соседнем зале были собраны миниатюры, эмаль на золоте, слоновая кость с вставленными монетами, кубки работы лучших немецких мастеров. Дальше следовала золотая зала, отделанная по образцу дворца в Фонтенбло, излюбленного местопребывания Наполеона. Камин залы и скульптура были вывезены из знаменитого палаццо Гримальди.

Следующая комната была наполнена старинною резною мебелью красного дерева. Тут же стоял бюст Монферрана из цветного мрамора, исполненный в стиле итальянского Возрождения работавшими в Исаакиевском соборе скульпторами. Пятнадцать бюстов римских императоров, в одеждах из цветного мрамора, украшали стены. Небольшую выставленную здесь же мраморную статуэтку Геркулеса приписывали Микеланджело.

Как сообщал хранитель Эрмитажа бар. Кене, число античных скульптур в собрании Монферрана доходило до 110 экземпляров, из которых 73 могли считаться замечательными произведениями искусства. Число предметов пластики эпохи средних веков и более позднего времени достигало 140; здесь же было собрано от 300 до 400 небольших античных и других старинных предметов из золота, серебра, бронзы, слоновой кости и дерева. К этому надо прибавить 600 экземпляров лучших образцов фарфора и фаянса. Таков был итог худо-

жественных сокровищ Монферрана, среди которых, по словам Кене, «не было ничего посредственного». Коллекцию древней скульптуры Монферрана Кене считал на втором месте после прославленного собрания античных предметов Эрмитажа[380].

. В такой обстановке протекала здесь жизнь Монферрана. В обычные дни он возвращался домой с работы лишь поздним вечером. Зато воскресные дни он называл «своими» днями и, окруженный десятниками и рабочими с постройки, суетливо бегал в легком архалуке по своему дому, то спускаясь во двор, то подымаясь на башню, заставляя людей то передвигать мебель с места на место, то носить тяжелые ящики с новыми приобретениями. За обеденным столом собирались друзья хозяина, главным образом иностранные художники и заезжие негоцианты, пировавшие здесь до поздней ночи. Недаром на камине, украшенном цветным мрамором из материалов строившегося собора, красовалась надпись:

Pusilla domus,
Atque taliscunque est
Die nocteque amicis patet, —

что означает — «маленький домик, двери которого днем и ночью открыты друзьям». Изысканность обедов Монферрана вызывала всеобщее восхищение. Но число приглашенных к столу никогда не превышало девяти; Монферран придерживался взгляда, что только число муз соответствует интимной беседе. Зато в дни балов монферрановский дом широко раскрывал свои двери многочисленным гостям. Летом празднества переносились в сад, благоухавший редкими цветами и померанцевыми деревьями. К концу сороковых годов летние приемы у Монферрана уже устраивались на его даче на Песочной улице.

Как сообщает А. Старчевский, Монферран еще задолго до приезда в Россию разошелся с своею женой, привезя с собою лишь ее портрет, с которым не расставался до самой смерти. Между тем в Петербург Монферран прибыл не один. Его сопровождала, по словам Вигеля, «мнимая мадам Монферран». В 30-х годах он увлекся французской актрисой Элиз Пик де Боньер (сохранились ее подписи, свидетельствующие о ее полной безграмотности). Нарушение артисткой подписанного ею с дирекцией контракта обошлось Монферрану в 40 000 руб. Вскоре «Elise» оказалась полновластной хозяйкой особняка Монферрана.

По словам одного французского литератора, Монферран жил здесь «как принц, утопая в изобилии и роскоши; его жена, бывшая наездница заезжего цирка, добродушная женщина, стремилась под маской излишней церемонности скрыть свое прошлое, что, как всегда, еще более его выдавало»[381].

Однажды дом архитектора навестила некая высокопоставленная дама, которая, за отсутствием Монферрана, была принята «Elise». Уезжая, гостья, встретив в дверях хозяина дома, поздравила его с «милой женой». Сконфуженный Монферран поспешил к настоятелю церкви Екатерины, где за щедрое приношение получил свидетельство о браке, помеченное 1829 годом. Прошло несколько дней, и министр двора Волконский запросил Монферрана — действительно ли он обвенчан с особой, представленной им в качестве жены. На следующий день архитектор с торжествующим видом предъявил министру брачную выпись из церковных книг. Н.Консидеран, познакомившийся с Монферраном в 1856 г., записал: «Это любезный старичок семидесяти лет, настолько живой и проворный, что ему можно дать тридцать. Он говорит

с такою любовью о своем соборе, что слушая его понимаешь, что это мечта его жизни»[382].

Как известно, работы по постройке собора затянулись на сорок лет и были завершены лишь в 1858 г. Вследствие этого первоначально скромный замысел художника в процессе постройки потерпел значительные изменения. К середине XIX века классицизм уже не находил поддержки среди представителей господствующего класса; ставший у власти промышленный капитал, наложив руку на творчество художников, требовал пышности и изобилия украшений, отвечавших новым вкусам. Ряд вынужденных изменений значительно исказил простоту этого монументального здания, отразившись на всем архитектурном замысле Монферрана. Но строгие линии купола настолько совершенны, что искупают некоторые, казалось бы, крупные погрешности.

«Этот памятник, как сказочная греза, и мрачная и лучезарная, воплощенная в мрамор и золото», — сказал о соборе д'Арлинкур[383].

По словам П. Усова, по Петербургу ходил слух, будто бы неким «ясновидцем» было предсказано, что строитель Исаакиевского собора должен умереть через месяц по завершении постройки[384]. Говорили, что Монферран поэтому умышленно затягивал на долгие годы окончание сооружения собора. Однако, как отмечает Вельп, скептики утверждали, что не в интересах Монферрана было спешить с окончанием постройки, приносившей ему громадные выгоды[385].

Наконец, 30 мая 1858 г. собор был торжественно освящен. Монферран получил 40 000 руб. сер. и золотую медаль с бриллиантами. А месяц спустя после открытия собора строитель его умер от карбункула. Он был счастливее Тассо, умершего, по преданию, накануне того дня,

когда его должны были увенчать на Капитолии, отметил Ф. И. Тютчев по поводу смерти Монферрана[386].

Монферран выразил желание быть погребенным в стенах собора, которому он посвятил свою жизнь. Но Александр II счел это слишком большой честью для простого смертного. Гроб Монферрана был лишь обнесен вокруг собора и поставлен в католической церкви на Невском пр., откуда был отправлен для погребения в Париж. Нежелание Александра II исполнить последнюю волю строителя Исаакиевского собора отчасти объяснялось его издавна неприязненным отношением к Монферрану. Царь однажды сделал ему резкое замечание за ношение усов — привилегию, которой пользовались только военные. «Это плюха под 80 лет», — так охарактеризовал царский выговор престарелому строителю собора художник К. Ухтомский в письме к скульптору Рамазанову.

Дом Монферрана и все ценные коллекции перешли по завещанию к его жене, пожелавшей спешно ликвидировать наследство мужа перед отъездом в Париж. Между тем по городу уже пошел слух, будто бы имущество Монферрана, приобретенное им недобросовестным путем, не может быть продано на законном основании. Множество доносов поступало на Монферрана с первых же лет постройки собора; осведомленный об этом Николай I повелел однажды произвести расследование. Но, как сообщает Старчевский, обвинения, предъявленные Монферрану, оказались якобы неосновательными. Несколько колонн розового мрамора от приделов собора, найденных в саду Монферрана, были, как выяснилось, взяты архитектором с разрешения министра двора. Тем не менее доносы продолжали поступать, но Николай I перестал обращать на них внимание, сказав будто бы: «Ну бог с ним, с этим Монферраном; пускай себе берет

сколько угодно, только бы другим не давал». Между тем молва о злоупотреблениях при постройке Исаакиевского собора все росла, проникнув даже за границу. Художник А. Иванов писал в 1843 г. своему отцу из Рима: «Я слышал, что раздача работ в Исаакиевскую церковь не без взяток» [387].

Вдова Монферрана ничего не сохранила из накопленного им имущества. Захватив с собою самые ценные вещи, она уехала в Париж. Деловые бумаги, планы, чертежи, проекты собора она оставила помощнику Монферрана архитектору А. А. Пуаро. Часть из них Пуаро, видимо, переслал в Париж, так как известный коллекционер П. Я. Дашков купил впоследствии у одного букиниста за 20 франков более 60 планов Исаакиевского собора.

Старчевскому случайно удалось отыскать в приобретенном им монферрановском доме 15 портфелей, в которых хранилось до 2 000 листов с личной подписью Монферрана.

Дом архитектора, со всеми его коллекциями, намеревался приобрести один из Ротшильдов, наезжавший иногда в Петербург. Но сделка эта не состоялась, и спешившая с ликвидацией имущества вдова архитектора продала дом литератору А. Старчевскому за 135 000 руб. Часть коллекций купил в рассрочку золотопромышленник Ушаков, имевший намерение распродать их по частям, с большой для себя выгодой. Но Ушаков разорился и, не уплатив следуемых вдове Монферрана денег, объявил себя несостоятельным. Куда девались приобретенные им вещи, осталось неизвестным. Говорили, что Ушаков имел в Павловске дачу с садом, наполненным монферрановскими статуями, но дача эта, как выяснилось, также пошла с молотка. Много лет спустя Старчевский увидел однажды на парадной лестнице до-

ма Печаткиных на углу Торговой ул. и Б. Мастерской (ныне № 12 по ул. Союза Печатников) несколько принадлежавших Монферрану статуй, в том числе и прославленного Юлия Цезаря. Но судьба большинства вещей Монферрана так и осталась неизвестной[388].

Рядом с бывшим домом Монферрана стоит под № 84 большое здание, построенное в конце шестидесятых годов архитектором Бенуа для кн. Касаткина-Ростовского. Участком этим, в первые годы XIX века, владел известный архитектор водяных строений И. Герард, автор проекта тринадцатипролетного каменного моста через Неву. Герард жил тут, по словам современников, «коммуной», вместе с двумя дочерьми и пятью сыновьями, из которых четверо были уже генералами. После смерти Герарда (1808 г.) дом этот на Мойке перешел к Виельгорскому.

В то время здесь не было еще построек, выходящих ныне на набережную Мойки и Максимилиановский переулок, тогда Глухой[389]. В начале XIX столетия посреди участка, фасадом к солнечной стороне, т. е. к Глухому переулку, стояло грандиозное, ныне не существующее здание (сохранившийся в городском архиве чертеж фасада его относится к концу тридцатых голов). Оно имело большой cour d'honneur* с переулка и сад на Мойку, отделенный от набережной оградой на каменных столбах. Она соединяла два трехэтажных флигеля, выходивших на набережную. Четвертый этаж был надстроен в конце тридцатых годов (в 1869 г. на месте флигелей архитектор Бенуа построил новое здание). Строитель дома применил здесь принцип трех измерений, подчеркнув рельеф здания двумя выступами по сторонам ворот. Фа-

* Парадный двор (*фр.*) — Ред.

II Зак.№ 125

сад расчленен в горизонтальном направлении — полуколоннами, а в вертикальном — карнизом. Здание характерно также своим ярко выраженным центром, излюбленным приемом зодчих эпохи классицизма, прибегавших к нему даже при раздробленной трактовке фасада. Этим центром являются здесь ворота в виде огромной проездной арки, объединяющие воедино два нижних этажа дома. Над воротами прорезано трехпролетное окно, захватывающее два верхних этажа.

Дом этот, весьма вероятно, был построен М. Ю. Виельгорским, так как по имеющимся документальным сведениям стоявшее тут в первые годы XIX века здание представляло собой небольшую скромную постройку. Дом Виельгорского на Мойке был широко известен в масонских кругах, где его владелец играл крупную роль, собирая у себя адептов тайных учений (масонские источники обыкновенно указывают дом Виельгорского стоящим «в Прачечном переулке», близ которого действительно и расположен был дом). «Рыцарь Белого Лебедя» с девизом «Непорочность», Виельгорский состоял «Великим Суб-Префектом, Командором, в отсутствие Великого Префекта, правящим капитулом Феникса». Его гостеприимный дом служил местом постоянных встреч «братьев». «Священный Союз таков, — говорил Виельгорский, — что, сплетясь гармонически руками и сердцами, все идут вперед. Все сильны и крепки один другим». Состоя с 1815 г. великим мастером ложи «Трех Добродетелей», он председательствовал на собраниях, где присутствовали будущие члены Тайного Общества — С. Г. Волконский, П. П. Лопухин, С. П. Трубецкой, Ф. П. Шаховский, Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, Никита Муравьев и вождь греческого восстания Ипсиланти. На одном из этих собраний вступил в число масонских братьев П. И. Пестель. «Он был принят всеми

братьями нашей мастерской со всею радостью, какую может доставить созерцание брата, который так дорог, вследствие питаемой к нему дружбы». Вступая в масонскую ложу, Пестель и его друзья, будущие декабристы, преследовали тайную цель использования масонства для революционных целей. Попытка эта, как известно, не удалась[390].

Тайные собрания на Мойке были внезапно прерваны отъездом Виельгорского из Петербурга, последовавшим по воле Александра I. Удалившись в свое курское имение, Виельгорский вскоре продал свой дом и, по возвращении в Петербург, уже в царствование Николая I, поселился на Морской ул., в доме Гагарина, откуда уже переехал на Михайловскую площадь.

Бывший дом Виельгорского перешел тогда к действительному статскому советнику Ланскому. Здесь в марте 1827 г. умер молодой поэт и философ Веневитинов, один из наиболее талантливых и образованных людей начала XIX века. Исполнившиееся столетие со дня кончины поэта прошло почти не отмеченным несколько лет назад.

Выдающийся музыкант, блестящий знаток философии, он с юных лет привлекал к себе внимание всего московского общества. Как сказал о нем декабрист А. И. Одоевский:

И музы юношей гордились
И говорили: «Он поэт...»

«Мы любили его всей душой, — записал М. П. Погодин. — Это был юноша дивный!» Сам поэт в послании к Рожалину писал:

Я молод, друг мой, в цвете лет,
Но я изведал жизни море,
И для меня уж тайны нет
Ни в пылкой радости, ни в горе.

В душе поэта нашли отклик и поэзия Байрона и высокие образцы творчества Гете. Последователь «идей просветительного века великой Франции», Веневитинов был сторонником коренных преобразований России.

Недавно опубликованы страницы неизданных записок П. Н. Лаврентьевой, устанавливающие несомненную принадлежность Веневитинова к Тайному Обществу, факт до сего времени не известный биографам поэта[391].

По выражению Герцена, весь круг друзей Веневитинова был «полон фантазии и идей 1825 г.» Когда в Москву пришла весть о внезапной смерти Александра I, юные «любомудры» решили, что настал час решительного выступления. Дни и ночи проходили в горячих спорах, «предложениям и прениям не было конца... Казалось, что для России уже наступил великий 1789 год».

Но надежды юных заговорщиков не сбылись. Трагическая развязка декабрьских событий тяжело отразилась на участи единомышленников Веневитинова. Целый ряд москвичей поплатились свободой за свою близость к Тайному Обществу. «Мы, молодежь, почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец», — записал один из друзей поэта. Судьба пощадила Веневитинова. Имя его не было никем произнесено; он остался на свободе. Но кружок «любомудров» распался, время радужных надежд миновало.

Веневитинов был переведен на службу в Петербург, в Коллегию иностранных дел. Уезжая в северную столицу, поэт, по просьбе Зинаиды Волконской, которой он увлекался, взял с собой в качестве спутника некоего Карла Воше. Это был библиотекарь гр. Лаваль, незадолго перед тем проводивший в Сибирь Е. И. Трубецкую, последовавшую туда за своим мужем. За Веневитиновым, видимо, был уже установлен надзор. Поэтому по-

ездка его в Петербург, в сопровождении только что прибывшего из Сибири иностранца, возбудила подозрение. Тотчас же по приезде в столицу Веневитинов и Воше были арестованы, тогда как третий их спутник, Ф. Хомяков, брат известного впоследствии славянофила, остался на свободе. На допросах Веневитинов держался с исключительным достоинством, давая «чересчур прямые и резкие ответы»[392].

За полным отсутствием улик Веневитинов был освобожден. Но три дня ареста, проведенные им в сыром помещении, и унизительность допроса произвели на поэта тяжелое впечатление, гибельно отразившись на его здоровье. Им овладело чувство глубокой подавленности. Воспоминания о друзьях, томящихся в ссылке, его угнетали. Поэту казалось, что он не в праве пользоваться свободой, что его место рядом с ними за решеткой. «Помню его грустные глаза, — вспоминала П. Н. Лаврентьева, — его ресницы, какие едва нашлись бы еще в мире и помню слезы, когда вспоминали о Рылееве. Он жил во флигеле у Ланских...»[393].

Эту квартиру в дворовом флигеле, «в верхнем этаже», Веневитинов назвал «пустынею». «На наше житье-бытье смешно смотреть, — писал Ф. Хомяков, сосед поэта по квартире, — мы сидим в двух комнатах, одна подле другой, с открытыми дверями, часто в одной, и в целый день иногда двух слов не промолвим, иначе как за обедом или когда придет кто-нибудь к нам в гости». Веневитинов в одном из своих писем так описал свое душевное состояние: «Тоска не покидает меня... Пишу мало... Пламя вдохновения погасло. Зажжется ли его светильник? Последнее время меня тяготит сомнение в себе. Трудно жить, когда ничего не сделал, чтобы заслужить свое место в жизни. Надо что-то сделать хорошее, высокое, а жить и не делать ничего — нельзя...

Здесь, среди холодного, пустого и бездушного общества, я — один...»

Дни его были уже сочтены. В начале марта 1827 г. хозяева дома, в котором жил поэт, устроили вечер. Пренебрегая сильным морозом, Веневитинов, возвращаясь в свою квартиру, перебежал, легко одетый, через двор. Следствием этой неосторожности была болезнь, быстро унесшая Веневитинова в могилу.

Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься!
Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

Поэт очень дорожил своим кольцом, найденным при раскопках Геркуланума. Он называл его талисманом и никогда с ним не расставался. В своих стихах он сказал, что наденет его в день свадьбы или перед смертью.

Ты был отрыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.

В своем «Завещании» поэт писал:

Внимайте: чтоб сего кольца
С руки холодной не снимали; —
Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены...

Друг Веневитинова <А.> Хомяков, живший вместе с ним, исполнил волю поэта, надев ему кольцо на холодеющую руку.

Прах его был отправлен в Москву для погребения в Симоновом монастыре. «Как знал он жизнь! Как мало жил!» — эти слова из его элегии были вырезаны на его надгробной плите.

Близкие друзья поэта хранили трогательный обычай: в день его кончины они собирались на грустный пир, и

в память усопшего один прибор за столом всегда оставался пустым. Пушкин, приходившийся дальним родственником Веневитинову, был глубоко опечален его преждевременной смертью. «Как вы дали ему умереть?» — писал он друзьям Веневитинова.

«Рядом с Пушкиным также стоит другой Ленский, — писал А. И. Герцен, — то был Веневитинов, чистая поэтическая душа, задушенная в 22 года грубыми тисками жизни... Ужасная, черная судьба выпадает у нас на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; поэта, гражданина, мыслителя неумолимый рок толкает в могилу. История нашей литературы — или мартиролог, или регистр каторги. Даже те, которых правительство пощадило, погибают, едва распустившись, спеша оставить жизнь». Новейший биограф поэта Д. Благой пишет: «Веневитинов... в лучших своих созданиях уже в середине 20-х годов писал стихом, по трагической энергии, стремительной звучности, патетической приподнятости, не уступающим лермонтовскому. Имя Лермонтова вообще как-то само собой приходит на мысль, как наиболее конгениальное имя, когда хочешь представить себе, во что бы могли развиться те исключительные возможности, которые были заложены в Веневитинове природой, жизнью и историей — возможности, которым смерть сказала свое властное и беспощадное «нет»[394].

Рано выпала из рук
Едва настроенная лира,
И не успел я в стройный звук
Излить красу и стройность мира.

Прошло несколько лет, и в доме Ланских на Мойке «Мещанское Общество» открыло свои вечера; в «СПБ. Ведомостях» объявлялось, что в «Обществе дан будет

бал. Гости платят за вход по 3 рубля»[395]. И там, где некогда умирал Веневитинов, теперь танцевали экосез и пили портер.

Описанный участок Ланских выходил на Мойку и Максимилиановский переулок. На Фонарном переулке, наискось от бывшего участка Ланских, на углу Максимилиановского, возвышается длинный серый дом № 3.

Тут Глинка писал своего «Руслана». Участок этот, тянувшийся в свое время до Офицерской ул., принадлежал когда-то каретникам Шлодгауерам, упоминавшимся (под фамилией «Шлодгав») еще в конце XVIII века. В начале XIX столетия здесь на Фонарном переулке возвышался небольшой трехэтажный дом в 9 окон. Угловое место оставалось однако еще не застроенным. В 1834 г. седельный мастер Шлодгауер построил на углу, по проекту Шауфельбергера, стоящее тут и поныне трехэтажное здание, объединив его со старым домом в одно строение.

В этом новом доме зимой 1836 г. поселился со своей молодой женой Михаил Иванович Глинка[396].

«Лицом бел; особые приметы: на левом виске небольшая бородавка и вихор на правой стороне», — таково описание наружности Глинки, взятое из его паспорта. К особенностям Глинки относилась также его привычка приподниматься на носках, чтобы казаться выше.

Жена Глинки была малоразвитая женщина. Однажды на концерте, заметив, что композитор чем-то глубоко взволнован, она осведомилась — что с ним? — «Бетховен!» — отвечал Глинка. — «Что же он тебе сделал?» — удивилась простодушная подруга жизни Глинки. Когда композитор работал над своим «Иваном Сусаниным», она непрестанно жаловалась друзьям на мужа, гратившего столько лишних денег на нотную бумагу.

Глинка недолго прожил в доме Шлодгауера. Получив место капельмейстера Певческой капеллы, он поселился на Мойке в казенной квартире. Глинка прослужил здесь лишь до декабря 1839 г.; нелады с директором капеллы А. Ф. Львовым, а также семейные неурядицы побудили его бросить службу. Вскоре он разошелся с женой, предоставив ей обстановку и половину доходов.

К этому времени его ближайшие друзья Нестор и Платон Кукольники поселились на Фонарном переулке, в доме Шлодгауера, в той квартире, которую недавно занимал Глинка. Вскоре к ним переселился и композитор, средства которого были в это время очень скудны. Весь обед Глинки состоял из неизменных кислых щей и каши, которые мастерски готовил его любимый камердинер и дядька, отставной музыкант Яков. Он был трогательно привязан к М. И. Глинке и жил только его интересами. Как рассказывает К. А. Булгаков, однажды Яков встретил его в прихожей с радостным лицом: «Поздравьте нас, — сказал он, — мы уже совсем кончили каватину и приступили к писанию хора».

Тут, на Фонарном, Глинка вел со всей кукольниковской «братией» жизнь богемы, с общим диваном, накуренными комнатами и долгими ночными «возлияниями». По словам Кукольника, все обитатели квартиры установили правило: «Не мешать друг другу и никем не стесняться в своих занятиях и времяпровождении: а часы обеда и утреннего и вечернего чая — помнить твердо, ибо семеро одного не ждут; кто же опоздал или проспал установленный час, тот не прогневайся и пекись сам о себе».

Хозяином считался Платон Кукольник, пользовавшийся отдельной комнатой. Для остальных же, сняв в одной из комнат часть перегородки, устроили «алькову». Здесь на широком диване помещалась на ночь вся

«братия», причем каждый имел свое особое место. Здесь спали Глинка, Нестор Кукольник, а также те приятели, которые, запоздав, оставались ночевать в «монастыре братии». Чаще других пользовались этим диваном художники К. Брюллов и Яненко («Пьяненко»). Раз в неделю здесь собиралось большое общество, иногда человек до пятидесяти, так что для гостей даже не хватало стульев. «Сюда сходились редакторы журналов и газет, цех литераторов и кандидатов на это звание; профессоры академии и художники, ищущие известности, актеры, книгопродавцы, издатели, типографы, словом все, что принадлежало к литературе и художествам».

«Шум, рассказы, рисование, немножко музыки, все продолжалось до двух часов, — рассказывает К. А. Булгаков. — Когда народ расходился, оставалось человек десять самых коротких (приятелей) ужинать — Брюллов, Яненко, Глинка, Степанов (карикатурист), архитектор Болотов и кое-кто еще. И тут шли веселые речи, а, главное, музыка и шампанское. Глинка, сюртук долой — сядет за фортепиано и поет, восторженный, как бог. Я помню его любимые пьесы были: «В крови горит огонь желанья» и из «Сомнамбулы» — «Voglio il ciel».

Глинка в своих письмах к матери из-за границы называл Петербург — «ненавистным». «Искусство, эта небом данная мне отрада, гибнет здесь (в Петербурге) от убийственного ко всему прекрасному равнодушия, — писал он. — Если б я не провел несколько лет за границей, я не написал бы «Жизнь за царя». Я теперь вполне убежден, что «Руслан» может быть окончен только в Германии или Франции".

Беспорядочная жизнь Глинки, несомненно, вредно отражалась на его творчестве, в то же время давая повод для неблагоприятных отзывов о нем современников. В личной жизни композитора было, действительно, мно-

го противоречивого. Чайковский в одном из своих писем, адресованном в 1888 г. к Н. фон Мекк, сказал, что Глинка «производит впечатление человека доброго и милого, но пустого, ничтожного, заурядного... Как могла совместиться такая колоссальная художественная сила с таким ничтожеством?»

Талант Глинки не нашел признания у большинства его современников.

Аристократические круги, записал Кукольник, назвали произведения Глинки «музыкой для кучеров». Присутствовавший на представлении «Руслана» Николай I, демонстративно выразив одобрение одному лишь декоратору Роллеру, уехал, не дождавшись конца.

Публика также не оценила оперы. «Были вы на первом представлении «Руслана»? — передавал Булгарин беседу петербуржцев. — Был. — «А что вы скажете?» — Декорации превосходны. — О музыке ни полслова».

Вел. кн. Михаил Павлович нашел более «хитроумный» способ для выражения своего пренебрежения к музыке Глинки. Вместо гауптвахты он посылал провинившихся офицеров в Большой театр слушать «Руслана». Однажды в Павловске великий князь спросил Листа: «Скажите, что это ваша дурная шутка — находить у Глинки гений?» — и был чрезвычайно удивлен, услышав, что таково глубокое убеждение композитора. Лист не напрасно отметил, что русскому артисту очень трудно проложить себе дорогу. «Не публике, а двору принадлежит в России право признания за артистом таланта». Между тем часто решения двора «зависят от случайности», — осторожно добавил он.

Только близкие друзья и собутыльники Глинки ценили его гений. Его ближайший друг и соратник Нестор Кукольник сразу почувствовал в нем великого художни-

ка. Познакомившись с Глинкою в декабре 1834 г., он записал в своем дневнике следующие восторженные слова: «Я совершенно очарован Глинкой; влюблен в него! Игра его превосходна, изящна, экспрессивна... Но пение прошибает до слез! Мы разговорились, подружились... Мы братия по сердцу; мы тотчас поняли друг друга... Теперь я не один на этом свете». Вот почему на карикатуре Степанова Кукольник изображен слушающим Глинку стоя, с воздетыми в безмолвном благоговении руками[397].

Окружавшая Кукольника «братия», среди которой было немало талантливых людей, преклонялась пред его литературным «гением». Тонкий музыкант, певец и композитор, а также блестящий собеседник, Нестор Кукольник поддерживал дружбу чуть ли не с половиной обитателей Петербурга. Зарабатывая большие деньги литературными трудами, дававшимися ему необыкновенно легко, Кукольник тратил их исключительно на угощение друзей. Однако аристократы-литераторы с презрением отзывались о «Клюкольнике».

Его патриотические пьесы снискали ему расположение властей. Но все герои Кукольника были напыщены и неестественны и кончали жизнь ядом или ударом кинжала. В его сочинениях редко чувствовалась подлинная поэзия, и Пушкин с полным правом сказал, что в Кукольнике жар не поэзии, а лихорадки.

Было время, пишет П. М. Ковалевский, когда в понятии русского общества поэзия, живопись и музыка воплощались в тройственном созведии Кукольника, Глинки и Брюллова. Последний, будучи связан с Глинкой тесной дружбой, тем не менее оставался холоден к таланту композитора. «Неперебродившее пиво», — таков был отзыв художника о музыке Глинки. И, бражничая с ним, он никогда не подумал написать портрет

своего приятеля. Между тем встречались они постоянно. Достаточно было известить Брюллова, что в «монастыре» будут к обеду кислые щи, макароны и красное вино, как он спешил в Фонарный. Обитатели переулка хорошо знали знаменитого художника, чья безнравственность, по словам одного современника, равнялась лишь его таланту.

Наружность Брюллова была маловнушительна. Он был небольшого роста, на коротких ногах; небольшие глаза с припухшими красными веками смотрели насмешливо.

Он носил короткую жакетку, придававшую ему комический вид; но таково было общее настроение, «что все казалось в нем прекрасным, даже величественным».

В молодости Брюллов был очень привлекателен, речь его была плавной, образной, он мастерски читал стихи. Теперь же его враги видели в нем только «пьяного сатира» с «опухшим от вина и разврата лицом». Плетнев, встретив его в мае 1841 г., писал о нем Гроту: «Видел я Карла Брюллова. Никогда не встречаюсь я с ним без горести и досады: видишь его бог знает в каком обществе и в каком туалете. Нет ни в чем и тени принадлежащего столь высокому гению. Боже мой! Как не похож был на него Пушкин!»

Угловой пустопорожний участок отделяет от Фонарного переулка стоящий по набережной Мойки небольшой красный дом № 78[398]. Его владелицей была приятельница Пушкина и Гоголя Александра Осиповна Смирнова.

В первоначальном своем виде дом представлял собою незначительную постройку в 9 окон с «мезонином». По переходе его во владение Смирновых, он был увеличен в 1839 г. пристройкой в 3 окна. Тогда же вытянули «ме-

зонин» во всю длину фасада. В 1931 г. над домом надстроили этаж.

А. О. Смирнова пользовалась большой известностью в литературном мире. Пушкин отметил ее.

Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный.

Смирнова сумела побороть даже скептицизм Белинского, сказавшего о ней: «Чудесная, превосходная женщина, я без ума от нее».

Ей же посвятил свои известные стихи М. Ю. Лермонтов:

Без вас — хочу сказать вам много,
При вас — я слушать вас хочу:
Но молча вы глядите строго,
И я, в смущении, молчу!

Скромная фрейлинская комнатка Смирновой в четвертом этаже Зимнего дворца, а потом в Аничковом Дворце, служила местом постоянных встреч представителей литературного мира. Одним из ближайших друзей Смирновой был Гоголь, назвавший ее «перлом всех русских женщин, каких ему случалось из них знать, прекрасных по душе». Пушкин также бывал частым ее гостем. Дружески расположенный к Смирновой поэт нередко читал ей свои неизданные произведения. Бывали случаи, когда Николай I получал рукописи Пушкина через руки Смирновой; тем не менее, на вопрос Бартенева: «Вы ценили Пушкина?» — Смирноза не менее прямо ответила: «О нет. Ни я не ценила его, ни он меня. Я смотрела на него слегка, он много говорил пустяков, мы жили в обществе ветреном. Я была глупа и не обращала на него особенного внимания».

Только теперь опубликованы незначительные по содержанию подлинные записки Смирновой. Как мало содержателен и бледен был светский Петербург того

времени, если Смирнова могла в нем играть роль «Северной Рекамье»[399]!

Выйдя замуж за Н. М. Смирнова, впоследствии калужского и петербургского губернатора, она поселилась на Мойке осенью 1840 г. Здесь ее навещал Плетнев, сообщавший Гроту про ее «новый прекрасный дом, подле государственного контроля», в котором она жила «с царской пышностью».

В 1842 г. Плетнев слушал тут чтение Гоголем его новой комедии «Женитьба». В числе гостей были Вяземский, Аркадий Россет и Тютчев. «Мы сидели в гостиной,— вспоминает А. О. Смирнова, — и он [Гоголь] начал читать в рукописи. Смех был постоянный: Подколесин, сваха, капитан Жевакин, Яичница — все, начиная с фамилий, возбуждали смех. Швейцару приказано было не принимать. Он пропустил князя Михаила Александровича Голицына как короткого знакомого. Тот взошел. К счастию, Гоголь не обратил внимания, <продолжал> читать и после чтения пошел в кабинет мужа и крепко уснул на диване и проснулся на вечере, потому что у мужа собрались играть в ералаш и преферанс. Он зашел ко мне и сказал: «Там занимаются делом до восьми часов утра, но там ангел-хранитель в синем мундире под сладким лицом генерала Дубельта, следовательно, до драки не дойдет». Голицын не находил слов, чтобы благодарить меня за приятные минуты, которые он провел у меня: «Я читал с восторгом «Мертвые души» и всегда желал видеть их автора. Подобных минут я не проводил в этом пошлом Петер<бурге>».

Муж Смирновой, большой любитель живописи, украсил квартиру произведениями Риберы, ван Дейка, Грёза. Здесь находилась и «Мадонна» Перуджино.

Вероятно об этой «Мадонне» писал Пушкин в 1830 г. своей невесте: «Я утешаю себя, проводя це-

лые часы перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды; я купил бы ее, если бы она не стоила 40 000 руб.» В своем известном сонете «Мадонна» поэт писал:

> Исполнились мои желания.
> Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
> Чистейшей прелести чистейший образец[400].

По этому поводу де Роберти написал старому знакомому Пушкина Федору Глинке: «Говорят, его жена красавица, и сумасброд так отзывается: «Я женился, чтобы иметь дома свою Мадонну».

Дальше по Мойке, через два дома, стоит принадлежавшее некогда Российско-Американской компании здание (дом № 72). В нем жил «Шиллер заговора» — Рылеев.

Этот дом на Мойке, выстроенный в конце XVIII века, принадлежал в свое время екатерининскому вельможе Кашталинскому, славившемуся, как сообщает Корф, «своим распутством, карточной игрой и небольшим ростом». В своем доме на Мойке Кашталинский «славно угощал своих гостей», и на его ужины, «почитавшиеся самым лакомым столом в городе», собирались «знатнейшие карточные игроки». Сам «светлейший князь Тавриды рассыпал тут пригоршнями червонцы на зеленом сукне». Состарившись и оставив службу при дворе, Кашталинский уехал в 1798 г. в свои смоленские имения. Его дом на Мойке был приобретен Александром Воронцовым, состоявшим в начале XIX века канцлером. Человек не чуждый либеральных тенденций он переписывался с Вольтером и д'Аламбером; он покровительствовал также Радищеву, назвавшему Воронцова «душесильным» человеком. Это не мешало Воронцову быть ярым противником французской революции и не-

навидеть «жакобитов». Однако «плуг худо пахал в запряжке старого быка с юным» и старику Воронцову было трудно работать с сильной «молодой» партией, окружавшей Александра I. Скоро канцлера уволили в отпуск, «на сколько ему угодно», и он уехал в свое имение, где и умер в 1805 г.

После смерти Воронцова его дом приобрела Российско-Американская Компания, учрежденная в конце XVIII века «для промысла на американских островах морских и земных зверей и торговли ими». К этому времени дом представлял собою двухэтажное строение в 13 окон, с «мезонином». 19 марта 1828 г. Компании было разрешено произвести пристройки, по 2 окна, с обеих сторон здания, и «привести в лучший вид распространением мезонина». Проект нового фасада принадлежал тит. советнику Урениусу. В 1853 г. здание было оформлено пилястрами, посреди был устроен новый подъезд и изменен установленный вверху герб.

В 60-х годах владельцем дома был небезызвестный сенатор Г. П. Митусов, внук знаменитого «кнутобойца» С. И. Шешковского, «домашнего палача кроткой Екатерины», как выразился о нем Пушкин. Митусовы недолго владели этим домом, продав его в 1875 г. Обществу заклада движимых имуществ (ломбарду). В 1909 г. здание приняло свой нынешний вид.

В 1824 г. правителем канцелярии Российско-Американской Компании был назначен К. Ф. Рылеев, поселившийся здесь в казенной квартире в нижнем этаже дома; во время наводнения 1824 г. его библиотека чрезвычайно пострадала от воды, достигшей в комнатах полутора аршин высоты.

В октябре того же года на обеде у директора Компании Прокофьева Батеньков спросил у А. Бестужева-Марлинского — где живет Рылеев? «Внизу до

времени,» — последовал многозначительный ответ. В том же этаже в квартире Сомова временно жил и сам А. Бестужев-Марлинский.

Квартира Рылеева на Мойке была широко известна. Здесь на «русских завтраках« у Рылеева собирались ежедневно его ближайшие друзья. Эти завтраки так назывались не потому, что тут неизменно угощали кислой капустой и ржаным хлебом. «Русскими» они назывались потому, что здесь собирались лучшие представители свободомыслящей России. Душой собраний был сам хозяин, с его образной вдохновенной речью. Тут бывали сотоварищи его по Тайному Обществу, а также виднейшие писатели и литераторы того времени — Гнедич, Ф. Глинка, Грибоедов. Здесь однажды Лев Сергеевич Пушкин прочел из «Евгения Онегина» разговор Татьяны с няней, вызвавший восторг слушателей. Как отмечают исследователи, на пушкинской «Полтаве» и «Вещем Олеге» отразилось, до некоторой степени, влияние произведений Рылеева. Тем не менее Пушкин был строгим критиком рылеевской музы. По этому поводу в одном из своих писем к А. Бестужеву-Марлинскому Рылеев написал:

Хоть Пушкин суд мне строгий произнес
И слабый дар, как недруг тайный взвесил,
Но от того, Бестужев, еще нос
Я недругам в угоду не повесил.
Моя душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу;
Мой друг! Недаром в юноше горит
Любовь к общественному благу!

Накануне 14 декабря тут у Рылеева состоялось историческое заседание, предрешившее выступление на Сенатской площади. «Шумно и бурливо, — рассказывал М. Бестужев, — совещание накануне 14-го. Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно-высоко-

настроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобоисполнимые предложения и распоряжения... <...> Зато как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был не хорош собою, говорил просто, но не гладко; но когда он попадал на свою любимую тему — на любовь к родине, — физиономия его оживлялась, черные как смоль глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава... Его лик, как луна бледный, но озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего различными страстями и побуждениями». Как выразился о Рылееве декабрист Штейнгель, он, «дыша свободою, рвался к ниспровержению, как он говорил, ненавистного, оскорбительного для человечества деспотизма».

При всей своей восторженности Рылеев, однако, понимал истинное положение вещей.

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

Возможность неудачи не страшила Рылеева. «Предвижу, что не будет успеха, — говорил он, — но потрясение необходимо, тактика революций заключается в одном слове: *дерзай*, и ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других».

Когда мать Рылеева, уезжая в деревню, со слезами прощалась с ним, умоляя сына беречь себя, Рылеев сказал ей: «...ныне наступил век гражданского мужества, я чувствую, что мое призвание выше, — я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастие соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного ски-

петра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству — вот будут мои дела. Если я успею, вы не можете сомневаться в награде за них: счастие россиян будет лучшим для меня отличием. Если же паду в борьбе законного права со властью, ежели современники не будут уметь понять и оценить меня — вы будете знать чистоту и святость моих намерений, может быть, потомство отдаст мне справедливость, а история запишет имя мое вместе с именами великих людей, погибших за человечество»[401].

В первую же ночь после событий к Рылееву в дом Американской Компании явился флигель-адъютант Дурново в сопровождении шести солдат л.-гв. Семеновского полка, предъявивший приказ об аресте. Рылеев наскоро оделся, обнял жену и дочь и быстро направился к выходу. Завеса истории опустилась.

Когда смертный приговор над участниками восстания был приведен в исполнение, Николай I отправился в августе 1826 г. в Москву на празднование «священного коронования». Роскошной иллюминацией встретила северная столица возвращение коронованного монарха. По вечерам весь город сиял «потешными огнями». Российско-Американская Компания, желая очистить себя от подозрений в «сочувствии мятежникам», выставила перед своим домом грандиозный плакат в виде «прозрачной картины», изображавшей Америку, «приносящую дань усердия и верноподданства Августейшей Чете». В то же время «вдова б. подпоручика Кондрата Рылеева» просила, через публикации в газете, «должников и кредиторов покойного мужа ее: первых с законными документами, а последних с платежом денег пожаловать в узакон[ен]ный срок к ней, в дом Российско-Американской компании»[402].

Как передавал А. Никитенко, в те времена окна дома были защищены железной решеткой. «Теперь дом

перестроен, но он долго был для меня предметом скорбных воспоминаний и я не мог пройти мимо без сердечного волненья. Было одно окно особенно: оно выходило из кабинета, где я познакомился ближе с хозяином, слушая, как он декламировал свою только что оконченную поэму «Войнаровский».

Рядом, на набережной Мойки, на углу проспекта Майорова, стоит любопытный небольшой дом екатерининского времени (№ 70). Здесь помещалась некогда известная книжная лавка Плавильщикова, а потом Смирдина.

Громкая известность Смирдина началась с открытием им прославленной лавки на Невском проспекте в доме Лютеранской церкви. Начал же Смирдин свою карьеру тут на Мойке приказчиком в книжной лавке Плавильщикова, которому принадлежит честь открытия здесь первой русской частной библиотеки[403]. Тщательно подобранная, она насчитывала в 1820 г. 7 000 названий. Это был, по словам современника, «тихий кабинет Муз, где собирались Ученые и Литераторы делать выправки, выписки и взаимно совещаться, а не рассказывать оскорбительные анекдоты и читать на отсутствующих эпиграммы и сатиры»[404]. Тяжело больной Плавильщиков свой «Кабинет для чтения» предоставил в полное распоряжение старшего приказчика лавки Смирдина, тогда еще молодого человека.

Белобрысый приказчик, с румянцем на щеках и «ртутной суетливостью», бойко управлял делом, которое вскоре к нему перешло[405]. Плавильщиков умер в августе 1823 г., предоставив Смирдину по духовному завещанию право приобретения книжного магазина «по той цене, которую он признает для себя выгодной». Но Смирдин устроил аукцион и приобрел лавку,

предложив высшую цену. Человек энергичный, он широко развернул дело и, считая, что торговля страдает за отдаленностью от центра, перенес в 1832 г. свой магазин и библиотеку в дом Лютеранской церкви на Невском пр. 1 апреля 1832 г. в «СПБ. Ведомостях» уже объявлялось о сдаче внаем квартиры, «в коей помещались библиотека и типография книгопродавца Смирдина»[406].

Мрачный Мариинский дворец, ныне Промышленная Академия, был выстроен архитектором Штакеншнейдером для дочери Николая I — Марии Николаевны[407]. Распоряжение о постройке дворца последовало в 1839 г. В ноябре 1844 г. дворец был уже закончен. Для сооружения его пожертвовали стоящим тут ранее громадным домом гр. Чернышева, построенным Деламотом[408].

Ряд сведений по истории чернышевского дома, купленного в конце XVIII века в казну, содержит статья П. Столпянского в № 2 «Известий Лермонтовского Музея» (1917 г.). Автор выражает сожаление, что современники не оставили описания дворца екатерининского вельможи. Между тем известный швейцарский ученый Бернулли, осматривавший дом в августе 1777 г., оставил подробное и чрезвычайно интересное описание внутреннего убранства чернышевского дворца. Что касается внешнего вида здания, то Бернулли ограничился замечанием, что дворец так разукрашен статуями, нишами и проч., что без рисунка о нем нелегко иметь представление[409]. Некоторые сведения о дворце можно найти также в записках французского путешественника Форсиа де Пиля[410].

Вскоре по вступлении на престол Павла I дом этот, с бурбонской лилией на фронтоне и надписью «Hôtel Condé», был подарен Павлом принцу Конде,

эмигрировавшему в Россию в дни французской революции[411]. Кроме того, принц получил от Павла 20 000 руб. на серебро и ежегодное содержание в размере 70 000 руб. По словам Ростопчина, Конде имел дерзость спросить у Павла, не будет ли ему еще пожаловано что-либо и не забыли ли, что он Бурбон.

Французские принцы, как известно, недолго оставались в России. По их отъезде бывший дом Чернышевых занимал последовательно целый ряд учреждений. Когда же в середине двадцатых годов военному ведомству понадобилось помещение в центре города для Школы гвардейских подпрапорщиков, ему предоставили бывший дом Чернышевых на Мойке у Синего моста.

Дом к этому времени, как показывает гравюра Колпашникова, представлял собою грандиозное здание, увенчанное аттиком, с двумя фигурами, поддерживающими герб. Коринфские колонны украшали центральную часть здания; два павильона, поставленные по сторонам, были декорированы нишами. Барочный характер здания был подчеркнут наличием множества статуй.

Военное ведомство безжалостно расправилось с этим выдающимся творением Деламота, уничтожив всю его внутреннюю отделку (воспроизведенный при настоящей работе чертеж фасада здания Школы гвардейских подпрапорщиков заимствован из «Собрания планов, фасадов и разрезов примечательных зданий С.-Петербурга». СПБ, 1826)[412]. Из здания извлечены были все мраморные украшения — камины, подоконники, ступени лестниц и т. д., которые передали Кабинету его величества. Переделка здания была закончена к осени 1825 г., после чего сюда перевели школу; пехотинцев разместили в верхнем этаже, а кавалеристов и классы для учения во втором. В первых числах ноября 1832 г.

по школе был отдан приказ: «Зачислить в Школу кандидатом и числить на лицо» — «недоросля из Дворян Михаила Лермантова».

Лермонтов прибыл в Петербург со своей бабушкой Е. А. Арсеньевой летом того же года. Частые столкновения с профессорами вынудили Лермонтова оставить Московский университет. Он решил перевестись в Петербург, но ему отказались здесь зачесть годы его студенчества. Таким образом для Лермонтова оказались потерянными два года, проведенные в Московском университете и столько же в университетском пансионе.

Чрезвычайно огорченный этим поэт, после долгих колебаний, решил избрать военную карьеру и подал заявление о приеме его в Школу подпрапорщиков. Переезд в Петербург и вынужденная перемена карьеры не легко дались Лермонтову. С чувством глубокого сожаления прощался он с родной Москвой.

Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!

Петербург произвел на него тяжелое впечатление:

Там жизнь грозна, пуста и молчалива,
Как плоский берег Финского залива.

И он горько жаловался в письме к Бахметевой:

Увы! как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..
Куда ни взглянешь, красный ворот,
Как шиш, торчит перед тобой;
Нет милых сплетен — все сурово,
Закон сидит на лбу людей?
Все удивительно и ново —
А нет не пошлых новостей!

«Всё люди, такая тоска, — заканчивал он свое письмо, — хоть бы черти для смеха попались». — «Видел я образчики здешнего общества, — писал он тогда же

Лопухиной, — дам очень любезных, молодых людей очень вежливых, — все они производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором в первый раз можно заблудиться, потому что ножницы хозяина уничтожили всякое различие между деревьями»...

Его угнетенное настроение еще усугублялось суровой дисциплиной военной школы. Один из воспитанников был посажен под арест за то, что шел по улице рядом с офицером, хотя тот, по расследовании, оказался родным братом провинившегося. Другой раз, вел. кн. Михаил Павлович, приказав одному из юнкеров раздеться, обнаружил на нем жилет, «несомненное свидетельство царившего в школе революционного духа».

Лермонтов почерпнул здесь лишь искусство фронта и шагистики. «Уланша», «Госпиталь» и «Петергофский праздник» — таков итог его творчества за два года пребывания в школе. Недаром он сам назвал их «двумя страшными годами». Между тем к моменту поступления Лермонтова в школу среди произведений его уже значились: «Кавказский пленник», «Нищий», «Ангел» и «Каллы».

Бабушка Лермонтова, Е. А. Арсеньева, горячо любившая своего внука, жила поблизости от его школы на Мойке. Когда Лермонтов повредил себе ногу на уроках верховой езды, ему было разрешено переехать к бабушке, где он и подготовлялся к экзаменам. Еще задолго до этого, в августе 1832 г., Лермонтов писал Бахметевой: «...Мы только вчера перебрались на квартеру. Прекрасный дом — и со всем тем душа моя к нему не лежит; мне кажется, что отныне я сам буду пуст, как был он, когда мы взъехали». Где же находился этот дом?

Известный биограф поэта П. А. Висковатов писал по этому поводу, что, приехав летом 1832 г. в Пе-

тербург, Е. А. Арсеньева поместилась со своим внуком в квартире на набережной Мойки у Синего моста, в доме, «который позднее принадлежал журналисту Гречу»[413]. Но, как было указано выше, летом 1831 г. типография Греча была переведена на Мойку в дом Аша, где занял квартиру и сам Греч. Поэтому едва ли Е. А. Арсеньева могла в это время найти себе барскую квартиру в небольшом доме Аша. Товарищ Лермонтова В. Н.

Поливанов («Лафа») сообщает, со своей стороны, что Лермонтов жил на Мойке, в квартире своей бабушки, между Синим и Поцелуевым мостами, в доме, где теперь помещается правление «Общества заклада движимых имуществ». Однако там в описываемое время помещалась «Российско-Американская Компания» и представляется сомнительным, чтобы здесь сдавались помещения частным лицам. Надо думать, что наиболее точным является сообщение родственника Лермонтова, известного А. П. Шан-Гирея, сообщающего в своих воспоминаниях, что «бабушка наняла квартиру в нескольких шагах от школы, на Мойке же, в доме Ланскова и я каждый почти день ходил к Мишелю с контрабандой, то есть с разными pâtés froids, pâtés de Strasbourg*, конфетами и прочим...»

Этому свидетельству Шан-Гирея тем более можно верить, что он сам жил в то время у Арсеньевой[414].

Во время наводнения осенью 1834 г. Лермонтов, глядя из окон дома Ланского на грозные волны, захлестывавшие парапет набережной Мойки, написал:

Для чего я не родился
Этой синею волной?
Как бы шумно я катился
Под серебряной луной,
О! как страстно я лобзал бы
Золотистый мой песок,

* Холодными паштетами, страсбургскими паштетами (*фр.*) — Ред.

Как надменно презирал бы
Недоверчивый челнок;
. . . .
Не искал бы я забвенья
В дальнем северном краю;
Был бы волен от рожденья
Жить и кончить жизнь мою[415]!

Приходится вдвойне пожалеть об уничтожении дома Ланского на Мойке, давшего приют Веневитинову и Лермонтову.

Оба поэта погибли в расцвете сил и таланта, по прекрасному выражению Петрарки, «задолго до наступления вечера».

Громадный участок на углу Мойки (в настоящее время № 58) и Гороховой, ныне улицы Дзержинского, в начале XIX века принадлежал известному откупщику Кусовникову. Следующий его владелец купец Таль возвел тут новые постройки, приспособив их для бань, славившихся на весь город. Богатый человек, большой знаток музыки, Таль был частым посетителем концертов Виельгорского, куда он допускался, как тонкий ценитель искусства.

В то время в глубине двора, рядом со стоящим и поныне угловым красным домом, возвышалось длинное одноэтажное здание в 14 окон. Два выступа соединялись по набережной железной решеткой, украшенной венками. Ворота вели во двор. В этом здании с 1813 г. помещался Английский клуб[416]. Когда же в 1830 г. он был переведен в дом Демидовых, — «там, где прежде был Английский клуб», механик Мейергофер из Вены стал демонстрировать «Театр мира и быстрое путешествие».

Летом 1831 г. в газетах появились публикации о сдаче в доме Таля помещения «с удобными флигелями, дворами и вновь красиво разведенным садом». А неко-

торое время спустя у ворот дома выросли молодцеватые фигуры жандармов в тяжелых касках. — Здесь поместилось III Отделение Собственной его величества канцелярии.

Рано утром сюда приезжал с Малой Морской Бенкендорф. Небольшого роста, сутулый, лысый, он окидывал рысьими глазками раболепно встречавших его подчиненных и проходил в свой кабинет. На столе, в строгом порядке, были уже разложены толстые папки с делами. Это были цензорские сообщения, вскрытые письма, похищенные документы. Рядом лежали кипы доносов, писанных то рукою полуграмотных филеров, то мастерским пером Булгарина, а подчас и витиеватым слогом какого-либо «смиренного Гавриила, епископа пензенского».

Сфера деятельности III Отделения в те времена была весьма обширна. Его начальник являлся своего рода первым министром, олицетворявшим собою «единство управления». III Отделение выполняло судебные функции, принимало под охрану частное имущество, наблюдало за иностранцами, вмешивалось в отношения между кредиторами и должниками, мужьями и женами, родителями и детьми, прихожанами и клиром. Ему надлежало также «опекать» расточителей, наблюдать за изобретениями, следить за поддержанием «нравственности» и искоренением «крамолы и разврата». Тут внимательно читали каждую печатную строку, цензуровали пьесы и «наистрожайше» воспрещали распространение иностранных газет и книг, исключенных из «числа терпимых в государстве». Наконец, отсюда старались внушить всей России, что благонамеренность и покорность являются главными достоинствами каждого русского гражданина.

В тридцатых годах здесь было не много служащих, всего около тридцати человек, но подбор их отличался особой тщательностью[417]. Дисциплина среди них была такова, что один майор, «поставив себе непременным правилом быть вполне откровенным перед начальством», доложил, что «с настоящего числа он надел парик»[418].

Количество поступающих сюда доносов было чрезвычайно велико, и, как говорили в городе, по субботам происходило их торжественное сожжение[419]. Все поступавшие сведения заносились на особые карточки. Как доложил Николаю I Бенкендорф в 1828 г. — «за все три года своего существования надзор отмечал на своих карточках всех лиц, в том или ином отношении выдвигавшихся из толпы. Так называемые либералы, приверженцы, а также и апостолы русской конституции, в большинстве случаев занесены в списки надзора. За их действиями, суждениями и связями установлено тщательное наблюдение».

Недаром Лермонтов, уезжая в последний раз на Кавказ, написал:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.
Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей[420].

Под особым надзором III Отделения состоял, как известно, и Пушкин. Со времени возвращения из ссылки вся жизнь поэта стала в полную зависимость от этого учреждения. Здесь на Мойке он вынужден был испрашивать разрешение на каждый свой выезд и даже на женитьбу. Сюда он являлся также выслушивать «критические» замечания и оценку своих произведений,

исходившие от его высоких цензоров — Николая I и Бенкендорфа.

Одним из частых посетителей III Отделения был Булгарин, являвшийся сюда со своими услужливыми доносами. Бывали, однако, случаи, когда по приказанию начальства его доставлял сюда ротмистр в голубом мундире. Это происходило в тех случаях, когда Булгарин, перед возобновлением подписки на «Северную Пчелу», позволял себе какую-либо «вольность» в виде заметки хотя бы о «непостоянстве и некоторой вредности петербургской погоды». В таких случаях Дубельт строго наставлял его: «Ты, ты у меня! Вольнодумствовать вздумал? О чем ты там нахрюкал? Климат царской резиденции бранишь? Смотри!»

«Центральная шпионская контора», как назвал Герцен III Отделение, оставалась на Мойке непродолжительное время. К сороковым годам, как об этом сказано выше, она была переведена на Фонтанку. Однако небольшой дом Таля стал так дорог жандармским сердцам, что, по выезде отсюда III Отделения, здесь поселился Алексей Орлов, назначенный, после смерти Бенкендорфа, шефом жандармов и начальником III Отделения. Владея громадным домом на Литейном проспекте, выстроенным архитектором Боссе (впоследствии Главное управление уделов), Орлов, однако, предпочел жить на старом, насиженном жандармами месте. Достойный преемник Бенкендорфа, он ревностно стремился оградить Россию от влияния революционных течений Запада. Между тем на Западе надвигались уже события 1848 г., и на Орлова была возложена царем задача «беречь Россию от потрясений». Когда возникло дело Петрашевского, сюда на Мойку привозили на допрос всех арестованных.

Дом Таля на Мойке давно не существует. На этом участке стоит здание, где до революции помещался ресторан «Контан»[421].

На той же стороне набережной Мойки, где стоял дом Таля, перейдя Невский проспект, помещалась в то время старейшая в Петербурге гостиница «Демут». Она была открыта неким Демутом в начале екатерининского царствования и просуществовала на этом месте свыше ста лет. Первые сведения о ней относятся к январю 1770 г., когда в «СПБ. Ведомостях» объявлялось, что «в стоящем подле полиции доме купца Демута отдаются с половины января 1770 г. внаем 6 покоев». Здесь же происходила торговля столовым вином[422]. Демут удачно выбрал место для гостиницы. Дом его был расположен близ Невского проспекта; другой стороной он выходил на Большую Конюшенную улицу[423]. Постояльцев в гостинице было много, и в 1796 г. Демут выстроил новое каменное здание на Конюшенную[424]. К этому времени гостиница считалась уже лучшей в городе. Номер в «демутовом трактире» стоил в те годы от 25 до 40 руб. в месяц, обед — один рубль[425].

Разбогатевший трактирщик Филипп-Якоб Демут стал вскоре «именитым гражданином», коллежским асессором и директором Государственного заемного банка[426]. Он приобрел еще громадный дом на углу Невского и Адмиралтейского проспектов, где помещалась другая известная гостиница того времени «Лондон»[427].

Демут умер в 1802 г., оставив дочь Елизавету. Она вышла замуж за Франца Тирана, адъютанта петербургского военного губернатора Палена. Этот брак открыл перед дочерью богатого трактирщика двери петербургских салонов. Имя «г-жи Тиран» было занесено в первый список членов аристократического Женского

патриотического общества, наряду в фамилиями гр. М. Д. Нессельроде, гр. Н. А. Зубовой («Суворочки») и кн. Зинаиды Волконской. Однако зять Демута, «дурак не последний», по аттестации Греча, «за неосторожные речи» был сослан при Александре I в оренбургский гарнизон. Это была расплата за участие Тирана в убийстве Павла I. Когда императора душили, был «употреблен в дело», по выражению Греча, шарф адъютанта военного губернатора. Выйдя в отставку с чином майора, Тиран жил в Париже, где Греч встречал его в 1845 г.[428].

После смерти Демута вдова его унаследовала дачу на Петергофской дороге и пять домов в Петербурге, из которых два стояли на Мойке (один у Невского проспекта, где помещалась гостиница, и другой у нынешнего Певческого моста).

В 1822 г. все это имущество перешло к ее дочери, «майорше Тиран». Последняя оставила себе лишь дом, в котором помещалась гостиница, а остальное имущество продала. Сын «майорши», Ю. Ф. Тиран, женившийся на богатой наследнице Татищевой, продал и этот дом на Мойке и переселился в свои поместья под Лугой[429].

Вдова Демута не продолжала дела мужа, передав содержание «трактира» французу Гюге, «кормившему, — по словам Булгарина, — прекрасными обедами». В 1809 г. содержателем гостиницы значится уже купчиха Шарлотта Гюге, владевшая к тому времени домом на Петербургской стороне. Очевидно, содержание гостиницы было делом доходным[430].

Отель «Демут» имел прочно установившуюся репутацию первоклассной гостиницы. Вигель еще в 1802 г. записал, что демутов трактир принадлежит «к малому числу древностей столетнего Петербурга». Он «один еще не тронут с места и не перестроен». Свобод-

ных помещений в гостинице никогда не было. При этом менее чем на неделю здесь комнат не сдавали. Известный путешественник Кэрр, посетивший Петербург в 1804 г., с трудом нашел две неудобных комнаты в этой «лучшей в городе гостинице, содержимой вежливыми немцами». Одна из комнат была отгорожена перегородкой, за которой было помещение для слуги. Это было летом, и Кэрр жаловался на «египетские муки», причиняемые множеством мух, сплошь покрывавших стены гостиницы. О страшной грязи, царившей здесь, писал и английский путешественник Рэйкс, упоминаемый Пушкиным в «Евгении Онегине»[431].

Другой английский путешественник, Грин, отметил в своем дневнике, что в лучшем отеле Петербурга, у Демута, можно получить хорошую комнату за 50-150 руб. в месяц. За содержание своего лакея и помещение для него он платил один рубль в день. Доктор Грэнвилль записал в 1827 г. в своих мемуарах, что здесь в каждом номере две комнаты, из которых одна спальня. Табльдот стоил 10-12 руб. в день, вино, отопление и услуги отдельно. Однако путешественники жаловались, что, несмотря на взимаемую «за услуги» плату и многочисленный штат прислуги, в гостинице буквально ничего нельзя добиться. «Каждый состоит при особой обязанности и всякий слуга отсылает вас к другому». За три небольшие комнатки в четвертом этаже В. П. Шереметева в октябре 1825 г. платила 65 руб. в неделю и два руб. за воду. При этом ни чашки, ни стакана без чаю или кофе не подавали[432].

Помещения тут сдавались на всякие вкусы и достатки. Были и небольшие темные комнатки, с окнами, выходившими во двор; в них останавливались небогатые иностранцы, прибывавшие в Россию в поисках заработка: немецкие портные, шведские капельмейстеры, английские конюхи. На другой половине гостиницы, в прекрасно об-

12 Зак.№ 125

ставленных апартаментах жили иностранные посланники, богатые негоцианты, знатные путешественники. Приехавший в Петербург виконт Бельгрев занимал здесь помещение в восемь комнат, с салонами, спальнями, большой столовой и будуаром[433].

Некоторые постояльцы, подолгу жившие у Демута, обставляли свои комнаты сообразно личному вкусу. Так, в тридцатых годах бельэтаж на Мойку занимал известный оригинал Алексей Салтыков, по прозванию «Индеец». Это был прославленный путешественник и коллекционер, комнаты которого были сплошь увешаны персидскими коврами и восточным оружием. Его огромное собрание старинного оружия и редких образцов восточного искусства было им составлено в Дели, Лахоре и на острове Цейлоне. Через его сына, Петра Салтыкова, эти коллекции поступили впоследствии в Эрмитаж.

Тут же у Демута поселился вызванный в Петербург Николаем I известный итальянский художник Козрое Дузи. Здесь в здании, выходящем на Конюшенную ул., временно помещалась мастерская художника[434].

В этой гостинице жил в августе 1812 г. знаменитый прусский государственный деятель фон Штейн, разрабатывавший планы борьбы с Наполеоном[435]. «Это человек античного склада, — записала о нем г-жа де Сталь, — который живет лишь одной надеждой видеть свое отечество свободным». В 1822 г. у Демута одновременно жили Сперанский и Ермолов. Здесь они часто вели долгие беседы. Ермолов о своих встречах со Сперанским рассказал Александру I. «О чем же была беседа?» — полюбопытствовал император. «Он говорил мне и о своей ссылке». «Что же?» — спросил Александр. «Говорил он много и долго, — ответил Ермолов, — но я ничего не понял». — «Ну, так я тебе расскажу». «И Александр говорил много и долго, — передавал Ермолов, — но я также ничего не понял».

У Демута жил «самый заметный и самый блистательный из всех молодых людей в Петербурге» — П. Я. Чаадаев.

Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.

Как рассказывает Вигель, эти стихи были написаны под портретом Чаадаева, висевшем в той комнате, где лично «принимал он посетителей, сидя на возвышенном месте, под двумя лавровыми деревьями в кадках; справа находился портрет Наполеона, слева — Байрона».

В 1821 г. сюда адресует Чаадаеву письмо будущий декабрист М.Бестужев-Рюмин: «Его Высокоблагородию Милостивому Государю Петру Яковлевичу Чаадаеву. В Демутовом трактире № 54-й в С.-Петербурге»[436].

Как отметил в своих записках П. В. Анненков, «в доме Чаадаева, который жил тогда в Демутовом трактире», Пушкин, считая себя «обязанным» своему старшему другу, «покидал свои дурачества». Их долгие беседы, «младые вечера», «пророческие споры», «знакомых мертвецов живые разговоры» врезались навсегда в память Пушкина.

Но все менялось, если у Чаадаева внезапно появлялись его светские знакомые. Пушкин тотчас умолкал и садился в угол на диван, «упорно чуждаясь посетителей, покушавшихся иногда обращаться к нему с видом снисходительного покровительства».

Когда Пушкин получил в 1820 г. приказание выехать на юг, он оставил Петербург, не простившись с Чаадаевым. «Мой милый, — написал он в ответ на упрек Чаадаева, — я заходил к тебе, но ты спал; стоило ли будить тебя из-за такой безделицы?»

Выйдя в отставку, Чаадаев из этой гостиницы выехал за границу. В числе отъезжающих значился «Петр Чаадаев, отставной гв. Ротмистр, спросить 1-й Адмиралтейской части, I квартала в доме майорши Тиран, под № 14». Расставаясь надолго с родиной, здесь у Демута подводил итоги прошлого тот, кто «пил из чаши жизни муку и выпил горе от ума». Пушкин, узнав о его предстоящем отъезде, писал Вяземскому: «Говорят, что Чаадаев едет за границу — давно бы так; но мне его жаль из эгоизма — любимая моя надежда была с ним путешествовать...» «Твоя дружба, — записал Пушкин в своем дневнике, — мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя».

В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой...

Живя за границей, Чаадаев с негодованием вспоминал самодержавную Россию, называя «Аракчеева злодеем, высших властей, военных и гражданских, — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве»[437]. Эти его суждения предшествовали тому гневному протесту, с которым он обратился впоследствии к крепостнической России в своих знаменитых «Философических письмах».

Одновременно с Чаадаевым у Демута жил в течение трех месяцев Батюшков. Он жил тут незадолго до начала своей болезни. «Батюшков возвратился меланхоликом, ипохондриком, мрачным и холодным, — писал Карамзин Вяземскому. — Остановился у Демута, сидит в своей комнате и не расположен часто видеться с нами».

Здесь проживал также будущий декабрист Г. С. Батеньков. Недолгое время постояльцем демутовой гостиницы был и П. И. Пестель[438]. «Это был искусный дипломат, вдохновенный оратор, непобедимый спорщик».

Посещавший впоследствии Пестеля в каземате Петропавловской крепости протоиерей Казанского собора Мысловский оставил яркую характеристику вождя заговорщиков. «Сей преступник, — записал он, — есть отличнейший в сонме заговорщиков, как по данному ему воспитанию, так и по твердости духа... Быстр, решителен, красноречив в высшей степени, математик глубокий, тактик военный превосходный... Никто из подсудимых не был спрашиван в комиссии более его, никто не выдержал столько очных ставок, как опять он же; везде и всегда был равен себе самому. Ничто не колебало твердости его. Казалось, он один готов был на раменах вынести тяжесть двух альпийских гор». Верховный уголовный суд присудил Пестеля к смертной казни «не столько за то, что он сделал, — отметил его биограф, — потому что он сделал гораздо меньше, чем мог бы при других условиях, — сколько за то, чем он был. По силе характера и силе убеждения он был, бесспорно, первым из декабристов».

Летом 1824 г. у Демута ненадолго поселился Грибоедов, приехавший в Петербург после продолжительного пребывания на Востоке. Он снова появился в Демутовом трактире 14 марта 1828 г., прибыв в Петербург вестником заключенного с Персией Туркманчайского мира. «По какому-то инстинкту, — рассказывал Булгарин, — я несколько дней сряду ходил в заездный дом Демута и ожидал моего друга. Наконец, 14 марта, около полудня, подъехала кибитка, и я принял его в мои объятия... Мы плакали, как дети... от радости!..»[439]

Весной 1836 г. в скромном номере четвертого этажа здесь проживала известная «кавалерист-девица» Дурова, которую навещал А. С. Пушкин[440]. Своей наружностью она привлекала в гостинице всеобщее внимание. Ее

рябое, землистого цвета лицо было все покрыто морщинами. Она стригла по мужски волосы и носила казакин и широкие панталоны.

В «заездном доме Демута» жил также и Пушкин. Вернувшись в Петербург после своего изгнания, он поселился у Демута, в здании по набережной Мойки, в бедном 33-м номере, состоявшем из двух комнаток. Окна номера выходили во двор, к северо-западу. Как сообщал А. Ивановский, «этих номеров давно уже нет»[441].

По словам Ксенофонта Полевого, Пушкин вел здесь «странную» жизнь. Все утро, лежа в постели, он читал и вставал лишь при приходе гостей. Тогда он усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, беседуя, полировал свои ногти, «такие длинные, что их можно назвать когтями». Случалось, что часто он сидел тут за другим столом — карточным и «резался» с раннего утра в карты. Когда Гоголь, впервые приехавший в Петербург, поспешил навестить Пушкина, он у самых дверей его комнаты до того оробел, что «убежал» в кондитерскую и выпил там «для храбрости» рюмку ликера. Снова явившись и, узнав от слуги, что Пушкин «почивает», Гоголь с участием спросил: «Верно всю ночь работал?» — «Как же, работал, — отвечал слуга, — в картишки играл».

Юность не имеет нужды в at home — говорил Пушкин. — Но его «жизнь по трактирам», карты и долгие «ночные заседания» осуждались современниками. Отсюда и злостная характеристика образа жизни Пушкина, оставленная его лицейским товарищем Корфом: «Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими»... Однако в стенах этого «трактира» ча-

сто впервые звучали стихи поэта, расходившиеся потом отсюда во множестве списков по всей России. Здесь же у Пушкина вдохновенно импровизировал Мицкевич. Вероятно, тут польский поэт поднес Пушкину сочинения Байрона с надписью: «Байрона Пушкину посвящает поклонник обоих — А. Мицкевич».

Множество посетителей, постоянно навещавших здесь Пушкина, неизбежно привлекало к нему внимание III Отделения, и за поэтом и всеми его гостями был установлен строгий надзор.

Вся петербургская холостая жизнь поэта, по возвращении из ссылки, связана с гостиницей Демута. Он жил здесь в последний раз в мае 1831 г., приехав из Москвы уже с молодой женой. Поселившись летом в Царском Селе, Пушкин только осенью нанял свою первую петербургскую квартиру в доме Брискорн на Галерной улице.

Поэт не порывал, однако, связи с Демутом, где останавливались ближайшие его друзья, а иногда и родные. В декабре 1834 г. тут временно поселились старики Пушкины в ожидании уже снятой ими квартиры на Моховой ул., в доме Кленберга. Здесь же жил в 1832 г. друг Пушкина А. И.Тургенев. Отсюда в роковые дни 1837 г. он выехал в Святогорский монастырь сопровождать тело своего друга[442]. Отец поэта, уже после смерти жены и сына, приезжая в Петербург, попрежнему останавливался у Демута.

Здесь же остановился в 1839 г. приехавший в Петербург Герцен[443].

Однако к сороковым годам гостиница не пользовалась уже прежней славой. У нее появились серьезные конкуренты; к тому же новые владельцы не сумели поддержать дело, так счастливо начатое стариком Демутом. Отзывы постояльцев о гостинице становятся все более резкими. «Мы занимали помещение очень безобразное,

грязное и вонючее, с окнами на не менее грязный двор», — записала в 1845 г. А. Ф. Тютчева.

Где же находился этот некогда знаменитый «заездный дом»?

П. Столпянский, в своей статье «Петербургские квартиры Пушкина», сообщает, что дом, где помещалась гостиница «Демут», перешел, по неизвестным причинам, к метрдотелю Рекету, а с конца 20-х или 30-х годов к купцам Калугиным, причем за гостиницей сохранилось прежнее название Демутова трактира. Впоследствии, по словам П. Столпянского, на месте старого «Демута» помещался ресторан «Донон» (№ 24 по Мойке)[444]. Но, как сказано было выше, этот дом Демута на Мойке, после смерти его первого владельца и его жены, перешел к их дочери, «майорше» Тиран. Ошибка произошла вследствие того, что у Демутов на Мойке, близ Певческого моста, был другой дом, проданный впоследствии вдовой Демута — придворному повару Рикетти и перешедший потом к Калугиным. В нем действительно помещался известный ресторан Сен-Жоржа, которого сменил Донон[445].

Демутов же трактир был расположен на Мойке, близ Невского проспекта (Мойка, № 40), через один дом от Голландской церкви[446]. Как удостоверяют документы городского архива, старая гостиница на Мойке простояла без изменений до 1832 г., когда тут построили новое каменное здание на подвалах. Судя по плану, комнаты на улицу имели по два окна, а выходящие во двор — по одному. В таком виде здание просуществовало около сорока лет. В семидесятых годах архитектор А. Парланд, строитель неудачного по своим формам храма на месте убийства Александра II, составил грандиозный проект перестройки этого здания, с добавлением четвертого эта-

жа на Мойку и новой «разделкой». Вверху фасад был украшен пышным фантастическим гербом и надписью «Гостиница Демута» — «Hotel Demouth».

Но гостиница не долго существовала в новом здании. Она вскоре закрылась, и на месте старого «Демутова трактира» открылся известный ресторан «Медведь». Интересно, что домом этим в последнее время владели вел. князья Кирилл Владимирович и Борис Владимирович. Они пришли на смену трактирщику Демуту, отделав помещение для «Медведя».

Дальше по Мойке стоит старинный темный дом (№ 14), украшенный по фасаду фигурами. Он связан с именем декабриста И. И. Пущина.

Участок этот, выходящий другой своей стороной на улицу Желябова (б. Большую Конюшенную ул.), издавна принадлежал Пущиным. Первым его владельцем был известный адмирал Петр Пущин, сыгравший большую роль в истории русского флота XVIII века[447]. После него домом владел его сын, также генерал-интендант флота. В этом же доме на Мойке прошли детские годы внука старого адмирала Ивана Ивановича Пущина.

В его детских воспоминаниях болезненно запечатлелся мрачный характер отца, психическая болезнь матери и деспотический тон старших сестер. По окончании лицея, поступив в гвардию, Пущин, под влиянием либеральных идей, демонстративно вышел в отставку, решив, в виде протеста, пойти в квартальные надзиратели. Сестрам едва удалось на коленях умолить брата отказаться от этой мысли.

Тогда он обратился к отцу с просьбой разрешить ему уехать в родовое имение управителем. Но отец нашел это «не дворянским делом», заметив, что «ниже упасть его сыну невозможно».

«В добродетельных порывах для благотворения человечеству, — писал Н. И. Греч о Пущине, — вступил он на службу безвозмездно по выборам в уголовную палату». Это дало Хомякову повод сказать, что Пущин первый честный человек, сидевший в русской казенной палате.

Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мнения
Завоевал почтение граждан.

«Благородный, милый, добрый человек, — писал о нем Греч, — истинный филантроп, покровитель бедных, гонитель неправды».

Когда Пущин примкнул к Тайному Обществу, у него здесь, на Мойке, стали собираться будущие декабристы — Никита Муравьев, Нарышкин, Бригген, Оболенский, Поджио, Митьков[448]. Пущин принимал самое деятельное участие в восстании на Сенатской площади и остался жив лишь по счастливой случайности; надетый на нем в этот день плащ его деда-адмирала был пробит множеством пуль.

На следующий день после восстания сюда, на Мойку, приехал к Пущину его лицейский товарищ — Горчаков с готовым заграничным паспортом, горячо убеждая Пущина бежать на отходившем в этот день пароходе. Но Пущин отказался от этого, считая постыдным избегнуть участи, ожидавшей его сотоварищей. Когда же к нему приехал П. А. Вяземский, Пущин отдал ему на сохранение портфель с бумагами; он сделал это не из боязни, что эти документы отягчат его участь, но из желания сохранить для потомства находившиеся там стихи Пушкина, Дельвига и Рылеева. И когда через тридцать с лишним лет Пущин возвратился из ссылки, Вяземский вернул ему портфель[449].

Арестованный в этом доме на Мойке 16 декабря[450], Пущин был предан суду и приговорен к двадцати годам каторжных работ. Пушкин, вспоминая приезд своего друга в Михайловское, писал ему в далекие рудники Сибири исполненные скорби стихи:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

С лицейской скамьи и до самой смерти поэта их соединяла тесная дружба, на которой не отразилась долгая разлука. «Как жаль, что нет теперь здесь... Пущина... — сказал умирающий поэт, — мне бы легче было умирать».

Пущин был глубоко потрясен известием о трагической смерти своего друга: «Кажется, — писал он одному товарищу, — если бы при мне должна была случиться несчастная его история... роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достояние России...»

Долгие годы провел в Сибири Пущин. Некогда в лицее он занимал комнату № 13. В письме к своему лицейскому товарищу Матюшкину он с горькой иронией подписался: «№ 13 в лицее, № 14 в Петровском» (остроге).

Одновременно с И. И. Пущиным был осужден и брат его Михаил Иванович, совершенно случайно замешанный в заговоре. Разжалованный в рядовые, он отличился на Кавказе беспримерной храбростью и энергией. Раненный в грудь навылет, он был уволен со службы,

продолжая оставаться под строжайшим тайным надзором. Добившись разрешения жить в Петербурге, М. И. Пущин вступил после смерти отца (1842 г.) в управление имуществом, начав перестройку здания, выходящего на Конюшенную улицу[451]. И. Пущин, находясь в далекой ссылке, продолжал интересоваться делами своей семьи. Когда его брат послал ему в Сибирь проекты перестройки пущинского дома, И. Пущин написал в 1845 г. Энгельгардту из Ялуторовска: «...архитек-тура оригинальна и хороша; как-то они кончили отделку этого огромного здания? Потом, каково пойдет наем и уплата процентов?» Вскоре М. И. Пущин переделал корпус по Мойке[452]. Архитектор Гейденрейх возвел над зданием фронтон и украсил фасад фигурами. Расширенные окна первого этажа, так же как и обработка верхних окон, оформление основания балкона — все это свидетельствует уже о новых веяниях в архитектуре. Часть надворных построек была возведена в 1860 г. архитектором Фонтана. Тотчас по их окончании Пущин продал участок Утину.

Этот дом на Мойке некогда оживляли юные голоса Пущина и Пушкина. Здесь же Пущин, член Тайного Общества, мечтал об освобождении своей родины. На крыльце этого дома, гордый сознанием исполненного долга, он прощался с Петербургом.

Рядом с домом Пущиных возвышается здание, отмеченное кончиной Пушкина. Здесь, по выражению Микеланджело, поэт перешел — «из бурь ужасных к сладкому покою».

Дом этот построен в екатерининское время. Однако сохранившиеся во дворе чрезвычайно любопытные аркады можно отнести к аннинской эпохе[453]. Как передает В. Курбатов, тут, по преданию, помещались ко-

нюшни Бирона и всесильный фаворит Анны Иоанновны, большой любитель лошадей, наблюдал их бег с верхней галереи[454]. А. Ростиславов, в свою очередь, сообщал в «Старых Годах» в 1908 г., что, по полученным им сведениям, подлинный дворец Бирона — это дом № 12 по Мойке, где жил Пушкин[455].

Между тем дворец Бирона стоял на набережной Невы, «соприкасаясь с Зимним дворцом», по утверждению современников. Ко дворцу же прилегал манеж временщика, как сообщал в 1740 г. английский посланник Финч. Взятый в плен в 1734 г. французский офицер Аге де Мион подробно описал в своем «Путешествии в Московию» герцогский манеж, выстроенный, по свидетельству де Миона, из дерева. По сторонам его были расположены две трибуны, а в центре две ложи для зрителей[456]. Таким образом предание о том, что аркады в доме, где умер Пушкин, являются бироновским манежем, по проверке, не подтверждается. Эти аркады являются, однако, любопытным образцом строительства Петербурга первой половины XVIII века, сохранившегося еще кое-где на Васильевском острове. Они имели в свое время исключительно значение торговых складов. Такие аркады встречаются повсюду в старинных городах Германии, Австрии и Швейцарии. В XVI-XVII веках без них не обходилась ни одна постройка купца.

В конце XVIII века на этом участке, принадлежавшем купцу Жадимировскому, был построен, фасадом к набережной Мойки, большой дом[457]. Он перешел к кн. А. Н. Волконской, как сообщает архитектор А. Платонов, между 1804 и 1809 годами[458]. Можно еще точнее подойти ко времени приобретения Волконской этого дома на Мойке.

В начале XIX века Волконская владела домом на Миллионной ул. (другой стороной он выходил на

Дворцовую набережную), принадлежавшим ранее вице-канцлеру Остерману. Когда в октябре 1807 г. в Париж прибыл чрезвычайный посол Александра I — П. А. Толстой, Наполеон подарил ему отель Телюсон. Александр I, не желая оставаться в долгу пред Наполеоном, по прибытии в Петербург в декабре того же года французского посла Коленкура. поспешил, в свою очередь, подарить ему дом. Коленкур в своем первом донесении из Петербурга от 20 декабря 1807 г. сообщал, что Александр предоставил французскому посольству самый лучший особняк Петербурга, частично великолепно омеблированный, — «бесспорно самое прекрасное здание после дворца великого князя» (Мраморного). Это был вновь отделанный особняк Волконской на Миллионной, купленный казною со всей его роскошной обстановкой за 360 000 руб. Можно предположить, что Волконская на вырученные от продажи дома деньги купила в 1808 г. дом Жадимировского на Мойке[459].

Муж Волконской, известный чудак, занимал в то время должность военного губернатора в Оренбурге. Приезжая в Петербург, он обычно останавливался на Мойке в доме жены. После смерти мужа Волконская переехала в Зимний дворец, предоставив свой дом на Мойке детям[460].

Они жили тут и раньше. Здесь, в доме матери, провел свои молодые годы Сергей Волконский, будущий декабрист. Он занимал квартиру «в нижнем этаже — при въезде в ворота от пущинского дома»[461].

Эту квартиру, «при въезде в ворота», занимал позже Пушкин. Волконский оказался впоследствии деятельным членом Союза Благоденствия и Южного Общества. Как установило следствие, Волконский был в числе лиц, согласившихся «как на введение в России республикан-

ского правления, так и на истребление всех особ императорской фамилии».

Когда по заключении Волконского в Петропавлов-скую крепость в Петербург приехала хлопотать о смягчении участи мужа его жена, Мария Николаевна Волконская, урожденная Раевская («затаенная любовь» Пушкина, по мнению некоторых исследователей), она также поселилась, как сообщает ее внук, «в той самой квартире, где одиннадцать лет позднее умирал Пушкин»[462]. Очевидно, этим помещением всегда пользовались Волконские.

Но все хлопоты Марии Николаевны о муже оказались тщетны. Он был присужден к двадцати годам каторги, сокращенным до пятнадцати. У Волконской был сын, родившийся уже в отсутствии отца. Когда Мария Николаевна, несмотря на противодействие ее родных, Раевских, решила ехать в Сибирь к мужу, ей было запрещено взять с собой малолетнего сына, и, после мучительных колебаний, она уехала к мужу, оставив сына на попечении родных. Однако маленькому Николаю Волконскому, лишенному материнского ухода, не было суждено долго жить. Он скончался в Петербурге в январе 1828 г., и Пушкин, близко знавший его родителей, написал в память его известную эпитафию:

В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Мария Николаевна Волконская была глубоко тронута участием Пушкина. «В моем положении, — написала она из Сибири, — не можешь питать уверенность, что доставишь удовольствие, напоминая о себе старым знакомым. Все-таки напомните обо мне Александру

Сергеевичу... Уметь утешить скорбь матери есть настоящее доказательство таланта и образа его чувств».

Арест декабриста и его ссылка внесли большие затруднения в имущественные дела кн. Волконских; вскоре старая княгиня принуждена была сделать «банковой долг», под залог своего дома на набережной Мойки[463]. Впоследствии в этом же доме поселилась во втором этаже сестра декабриста, Софья Григорьевна Волконская, жена известного министра двора и любимца Николая I[464]. Обладая огромным состоянием, достигавшим 22 000 крестьян, она была одета обычно настолько убого, что однажды, при осмотре за границей ее багажа, среди которого были крупные драгоценности, Волконская была задержана, как подозрительное лицо, требующее установления личности. Бывая в гостях, она прятала в карманы сахар и сухари и однажды принесла домой, под ротондой, найденное на улице полено, приказав своему старому лакею, исполнявшему при ней, из экономии, обязанности горничной, затопить им печь.

Квартира, в которой скончался Пушкин, конечно, издавна привлекала внимание современников. Достоевский в своем «Дневнике писателя» говорит, что во время путешествия в Петербург (это было два месяца спустя после смерти Пушкина) он дорогой сговорился со своим братом, «приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух». Однако ни эта квартира, ни самый дом на Мойке ничем не были отмечены и квартира Пушкина сдавалась внаем частным лицам. Дочь поэта, Наталья Александровна, впоследствии гр. Меренберг, навещала много лет спустя поселившихся здесь Демидовых. В 1874 г.

в бывшей квартире Пушкина жил гр. Клейнмихель, женатый на внучке Карамзина, Мещерской.

В 1887 г., в дни пятидесятилетия со дня смерти поэта, в бывшей квартире Пушкина жила обер-гофмейстерина Кочубей. Напуганная слухами о предстоящей 29 января демонстрации перед домом, где умер Пушкин, старая княгиня собиралась даже просить защиты у спб. обер-полицеймейстера Грессера. Рассказывая об этом, В. Н. Ламсдорф, впоследствии министр иностранных дел, добавил, что его очень удивило, что назначенный на 29 января 1887 г. придворный бал не был отменен из-за скорбной годовщины. «Это значит, — записал В. Н. Ламсдорф в своем дневнике, — весьма мало считаться с национальным трауром, а ведь мы в России».

На смену Кочубеям в бывшей квартире Пушкиных появилось Охранное отделение[465]. «Несмотря на все уважение к памяти поэта, — писал один пушкинист, — никому не улыбалось побывать в его квартире и лишь сравнительно немногие посещали ее, без видимой охоты, уступая настоятельным желаниям ее недавних хозяев».

Сохранилось несколько рассказов революционеров, посетивших «против своего желания» последнюю квартиру Пушкина. Ее хорошо запомнил молодой студент Д. Сверчков, один из знаменосцев на демонстрации 3 марта 1902 г. у Казанского собора. Он был жестоко избит городовыми и доставлен в Охранное отделение, в «дом № 12 по Мойке, в тот дом, в котором жил и скончался А. С. Пушкин». «Привезли во двор, — рассказывает в своих воспоминаниях Сверчков. — Повели куда-то вверх и ввели в небольшую комнату. У двери

13 Зак.№ 125

посадили полицейского. В комнате стоял стол и три стула. Пол был залит свежей кровью. Издали доносились чьи-то стоны». После допроса Сверчкова известным охранником Ратаевым его отвели в камеру. «До глубокой ночи справа и слева от нас слышались стоны и крики. Кого-то били, кого-то тащили, звеня шпорами, по коридору[466].

В 1910 г. в бывшем помещении Охранного отделения был открыт первый в России Музей изобретений и усовершенствований[467]. Департамент полиции, тщательно наблюдавший за «состоянием умов» в России, вскоре обнаружил во вновь открытом Музее собрания масонов. Как доносил по начальству один из агентов департамента, читавшиеся тут «тенденциозные лекции и доклады» имели целью подготовить дальнейшую «вербовку адептов масонства»[468].

В годы мировой войны в бывшей пушкинской квартире жил известный театральный антрепренер Резников. И только после революции квартиру Пушкина приняло в свое ведение Общество «Старый Петербург — Новый Ленинград», передавшее ее в 1925 г. Пушкинскому Дому при Академии Наук.

Пушкин поселился в доме Волконских осенью 1836 г., переехав сюда из дома Баташева на набережной.

За шесть лет своей жизни в Петербурге Пушкин переменил семь квартир. Бетховен, за тридцать лет своей жизни в Вене, переменил тридцать пять квартир.

Квартира Пушкина в доме Волконской состояла из одиннадцати комнат, кухни и служб; с квартирой сдавались конюшня, сарай, ледник, погреб для вина и прачечная. Парадный ход в квартиру, находившийся под воротами, вел в прекрасный вестибюль с лестницей, украшенной колоннами. Из передней был ход в большой

кабинет поэта, с тремя окнами во двор. Посередине стоял стол, заваленный бумагами и книгами. Полки с книгами занимали все стены. Стулья были простые, плетеные. В светлом, чистом кабинете не было ничего затейливого, все было просто и безысскуственно[469]. Расположенная рядом голубая гостиная выходила на Мойку. Тут стоял «круглый письменный стол на четырех внутрь вогнутых ножках, обделанный бронзой и покрытый черной клеенкой, — словом — стол такого фасона, какой можно было тогда видеть во многих старинных помещичьих домах; два дивана из красного дерева; небольшой застекленный шкаф с книгами; кой-где одного фасона со столом кресла, — обитые бронзой». В небольшой столовой, также выходившей на Мойку, стояли диван и стол. По другую сторону гостиной была спальня. Рядом с ней находились большая детская и две комнаты своячениц[470]. Как сообщают документы, «все движимое имущество, найденное на квартире покойного Пушкина, состояло из домашних весьма малоценных и повседневно в хозяйстве употребляемых вещей и платья»[471].

При этой скромной обстановке поражает многочисленность прислуги Пушкина. Две няни, кормилица, лакей, четыре горничных, три служителя, повар, прачка и полотер составляли пушкинскую дворню. В этот список не входили старые доверенные слуги — Никита Козлов и ряд других. Эти двадцать человек, обслуживавшие одну семью, ярко характеризуют крепостной быт того времени.

Так жил Пушкин в своей последней квартире. Но уже

Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Вскоре выстрел Дантеса положил конец жизни Пушкина. Умирающего поэта привезли в его квартиру на

Мойке и внесли на руках в кабинет. Любимый Пушкиным диван оказался его смертным ложем. «Только лишь разнесся слух о кончине Пушкина, — писал Н. Любимов Погодину, — все решительно, в ком есть капля русской крови, и старый и малый, все побрели в дом его поклониться и отдать последний долг великому: одна толпа сменялась другою, так что на второй же день приставлена была полиция. Замечательно, что даже купечество, мещане и тому подобный народ беспрестанно приходили к нему. Это лучшее доказательство, что слава его проникла в преисподняя земли сей»[472]. «Когда по Петербургу разнеслась весть о смерти Пушкина, — рассказывает, в свою очередь, Драшусова, — старики, дети, женщины, представители высшего класса и самые смиренные люди, — все хотели отдать ему последний долг. Много обнаруживалось тут горя, много было трогательных сцен. Между прочим, нам рассказывали об одном старике с почтенной физиономией, который пришел вечером к гробу Пушкина, долго смотрел на него и горько плакал, потом сел на диван и все продолжал плакать. Это заинтересовало бывших тут и Вяземский подошел к нему с вопросом: «Вы верно лично знали Пушкина?» — Я русский, — отвечал старик».

31 января, в 12 часов ночи, по пустынной Мойке, оцепленной полицейскими пикетами, перенесен был прах Пушкина в Конюшенную церковь. «Жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем, — писал Жуковский, — нас оцепили, и мы, так сказать, под стражей проводили тело до церкви». На следующий день Петербург прощался с прахом поэта. «И был странен тихий мир его чела», — записал в своем дневнике Никитенко.

«Россия без Пушкина, — писал Гоголь Плетневу. — Я приеду в Петербург и Пушкина нет. Я увижу вас — и Пушкина нет. Зачем вам теперь Петербург? к чему вам теперь ваши милые прежние привычки, ваша прежняя жизнь?»

«ВЛАСТЬ МЕСТА»

Прошло более полувека со времени выхода в свет книги Андрея Григорьевича Яцевича «Пушкинский Петербург». Тираж ее составил всего несколько тысяч экземпляров, и тем удивительнее ее сегодняшняя широкая известность — не только как библиографической редкости, но и единственного в своем роде повествования о памятных пушкинских местах в Ленинграде. И это при том огромном количестве разного рода изданий, появившихся на эту тему за прошедшие годы! Именно *удивительнее*, потому что (и об этом следует сказать сразу) с каждым годом книга Яцевича устаревала — ведь время приносило и постепенное освобождение от наложившего на нее свою печать диктата вульгарно-социологических постулатов, и новые открытия в биографии Пушкина и его окружения, в истории петербургской архитектуры и в городской топографии. Скажем больше — рассказ Яцевича не всегда безупречен с точки зрения точности, выверенности сведений, стилистической ровности. Но и в этих, уязвимых, казалось бы, местах не пропадает особая авторская интонация, которая завладевает читателем с первых же страниц...

В чем же секрет книги Яцевича? Только ли в широте и глубине фактической осведомленности (а научную основу издания, его ориентацию на документ наглядно раскрывает комментарий автора, включающий газеты, журналы, ме-

муары, монографии, выходившие на разных языках в Москве, Петербурге, Филадельфии, Париже...)? Или сказалось влияние идей и духа блистательной краеведческой школы 1920-х годов?

* * *

Андрей Григорьевич ЯЦЕВИЧ родился в 1887 году*. В тот год минуло полвека со дня смерти Пушкина, и, казалось бы, на долю Яцевича должно было остаться не так уж много шансов стать пионером в изучении города поэта. Однако на конец XIX столетия приходятся первые, единичные попытки поисков и изучения памятных пушкинских мест. П. Н. Столпянский в 1899 году публикует в «Новом времени» сообщение о квартирах, которые занимал поэт. И. Щеглов пытается найти могилу Арины Родионовны и тот дом, где в семье Павлищевых прошли ее последние месяцы. В 1880-х годах на страницах «Русской старины» и «Русского архива» публикуются рассказы современников Пушкина, приходивших проститься с ним в дом на Мойке. Причем тут же происходит путаница с расположением комнат, и в течение нескольких лет за кабинет поэта, его рабочую и «смертную» комнату принимают объединенное помещение буфетной и столовой. Общий свод памятных мест Пушкина и его современников в литературе исчерпывается небольшим количеством адресов. Причудливая история адресной системы столицы (принципы которой, а с ними и нумерация, менялись за два века несколько раз) оставляла «немыми» адреса, то и дело встречавшиеся в публикуемой переписке, рассказах мемуаристов и в других документах. Одним словом, пушкинский Петербург еще не имел ни своей истории, ни своего летописца.

В то же время судьба как будто и не готовила на эту вакантную роль молодого Яцевича: он получает образование и специализацию правоведа в Петербургском университете. Но, уже приступив к юридической практике, переосмысливает избранную дорогу и снова

---

* Приносим глубокую благодарность А. М. Блинову за сообщение биографических сведений о А. Г. Яцевиче и предоставление для публикации его фотографии.

оказывается на студенческой скамье, на этот раз — в Археологическом институте.

1925 год отмечен двумя вехами в биографии Андрея Григорьевича: в Нью-Йорке выходит его монография «Античные мотивы у итальянских медальеров», а сам автор становится членом общества «Старый Петербург — Новый Ленинград». Внутренняя связь этих событий очевидна: историко-культурные интересы, ориентированные на европейское искусство, находят благодатную почву в краеведении Петербурга, города, на который была возложена миссия вывода России на арену западной деятельности и культуры.

Необходимо также иметь в виду, что обращение в ту пору к краеведению высококвалифицированной гуманитарной интеллигенции было вызвано невозможностью продолжать свои профессиональные занятия. «Вытесненные в краеведение медиевисты, античники, историки церкви, востоковеды принесли в него, с одной стороны, высокий профессионализм, с другой — естественную тоску по утраченной гармонии. Русское краеведение превратилось под их влиянием в самостоятельную область исторического знания»*. 1920-е годы вошли в историю русского краеведения как его «золотое десятилетие». Расцвет оказался во многом обязан краху петербургской культуры. «Потеря столичного статуса, фактическое закрытие порта, а с ним упадок международной торговли и промышленности, уникальный по жестокости (даже для того времени) красный террор, опустошительный голод 1918—1919 годов, огромная эмиграция, массовые высылки. Все это можно сравнить лишь с 1727 г., когда двор Петра II переехал в Москву и казалось, что пророчество царицы Авдотьи «Петербургу быть пусту» сбывается. Это дало мощный всплеск ностальгии»**.

И разве не слышна тоска по утраченному в названии краеведческого общества, возникшего в 1921 году: «Общество изучения, популяризации и художественной охраны Старого Петербурга и его окрестностей»? Начало ему было положено семинарием по изуче-

---

* Лурье Л.Я., Кобак А.В. Заметки о смысле петербургского краеведения // Анциферовские чтения: Материалы и тезисы конференции (20—22 декабря 1989 г.). Л., 1989. С.74.

** Там же.

нию Павловска — экскурсионными и лекционными занятиями, проходившими весной и летом того года и собравшими в общей сложности до 12 тысяч человек. На одном из заседаний и было предложено изучать не только Павловскую усадьбу, но и другие памятники. Так родилось общество, получившее сокращенное название «Старый Петербург». Пафосом его деятельности можно назвать желание защитить город и связанную с ним двухвековую культуру, сохранить приметы Петербурга в послеоктябрьском Петрограде — Ленинграде, противостоять футуристическим утопиям о создании городов будущего, искать резервы преемственности в развитии города с традициями прошлого (этим объясняется изменение в названии общества, принятое в 1924 году: «Старый Петербург — Новый Ленинград»). В работе общества участвовали директор Эрмитажа С. Н. Тройницкий, директор Музея города архитектор Л. А. Ильин, композитор и искусствовед Б. А. Асафьев, ученый-химик и историк архитектуры В. Я. Курбатов, искусствовед П. Н. Столпянский, культуролог и краевед Н. П. Анциферов, юрист и общественный деятель А. Ф. Кони, архитектор И. А. Фомин, художники А. Н. Бенуа, Н. Е. и Е. Е. Лансере, М. В. Добужинский, А. П. Остроумова-Лебедева и многие другие, люди разных профессий — литераторы, врачи, ученые, рабочие, инженеры, студенты (численность общества колебалась от 300 до 500 человек).

В первые годы теоретическое и методическое «обеспечение» деятельности общества осуществлялась в основном Петроградским научно-исследовательским экскурсионным институтом, открытым в 1921 году, но уже в 1924-м прекратившим существование. Немногим долее продержалась другая кузница научной мысли, также питавшая корни петербургского краеведения — Институт истории искусств, разогнанный в конце 1920-х годов.

Среди главных задач уставом «Старого Петербурга» выделялись научная разработка вопросов по охране и восстановлению памятников искусства и истории, а также практическая деятельность — обмеры, зарисовки, фотофиксации, лекции, экскурсии... С конкретных дел началась и работа образовавшегося при обществе пушкинского отделения, участником которого стал Яцевич.

Осенью 1924 года к обществу обратился Пушкинский Дом. В течение нескольких лет эта организация, имевшая академический статус и почти пустой карман, безуспешно пыталась добиться расселения последней квартиры Пушкина на Мойке, 12. Когда же наконец квартира была освобождена, у Пушкинского Дома не нашлось средств ни на ремонт, ни на оборудование в ней музея. Особенно тревожная ситуация сложилась после крупнейшего осеннего наводнения 1924 года, когда пустовавшую квартиру решено было передать в фонд пострадавших. «Чтобы не потерять квартиры, из которой уже были выселены жильцы, — писал ученый хранитель Пушкинского Дома Б. Л. Модзалевский, — и не дать ей уйти вновь в частное пользование, оставался один путь: обратиться к общественной организации, подходящей по заданиям и достаточно сильной, чтобы взять это большой важности культурное дело на себя впредь до такого времени, когда обстоятельства позволили бы Пушкинскому Дому вновь принять квартиру Пушкина в состав своего музейного отделения как один из важнейших пушкинских памятников»*.

Общество «Старый Петербург» располагало членскими взносами, добровольными пожертвованиями, доходами от литературных и музейных вечеров. Это были не Бог весть какие деньги, но их хватило на то, чтобы пушкинскому отделению принять квартиру в свое ведение и начать в ней ремонт.

Фамилия Яцевича появляется в бумагах и отчетах общества в связи с восстановлением пушкинской квартиры — то как ученого секретаря, то как казначея.

Другой близкий пример деятельности Яцевича в обществе — организация работ по спасению памятника Петру I, приспособленному освобожденным от угнетения народом под катальную горку.

Так своеобразно Мойка, 12 и Медный Всадник оказались в прологе большого труда по истории пушкинского Петербурга. Началом этого труда стала вся деятельность Яцевича в обществе — как исследователя, просветителя, организатора. Подходом к книге были и его публичные выступления «Театр в старом Петербурге», «Пушкин в Петербурге», «Петербург в картинах старых художников», «Грибоедов в Петербурге»

* ЦГАОРСС Ленинград, Ф. 2555, оп. 1. 1954, л. 106.

и другие. Лекторское мастерство Яцевича и новизна многих сообщаемых им сведений привлекли на них до 600—700 слушателей.

Однако общество «Старый Петербург» было для Яцевича не только кафедрой, но и школой, где развивался концептуальный подход к историко-краеведческим исследованиям. Особенно сильным здесь было влияние Н. П. Анциферова, реализовывавшего и развивавшего в обществе идеи своего учителя И. М. Гревса. Среди них — экскурсионный метод изучения города, ставший предметом рассмотрения специального семинария.

Экскурсия создает не только определенный душевный настрой, но и, по словам Анциферова, «облегчает возможность восприятия целостного образа изучаемого явления», позволяет увидеть то или иное достопамятное место на фоне историко-культурного ландшафта города, открывает путь к постижению образа города, его «души». «Такого рода подход, — писал Анциферов, — связывает научные исследования с экскурсией. <...> Благодаря ей можно испытать на себе власть места, как источник познания»* Яцевич также относился к числу последователей идей Гревса об «Экскурсионном познании, ориентированном на власть места». Подтверждением тому стала его книга «Пушкинский Петербург» — итог не только библиотечной работы, но и многих прогулок по городу; книга, приглашающая в увлекательную прогулку своего читателя.

Работа над ней пришлась на конец 1920-х годов, когда были нанесены последние решительные удары пережиткам «буржуазного» прошлого. Началась великая «перековка», объектами которой стали не только живущие по обеим сторонам колючей проволоки, но и исторические лица, и едва ли не вся русская классика с Пушкиным во главе. Краеведение как наука начинает быстро терять набранную высоту и приобретает характер частного приложения к истории города, архитектуры или литературы.

След «могучих обстоятельств» (Пушкин) мы замечаем на той или иной странице книги Яцевича — то в споре декабриста Никиты Муравьева с Карамзиным, то в рассказе о борьбе «Арзамаса» и «Беседы», сведенной всего лишь к противостоянию идеологий.

---

* Анциферов Н. Быль и миф Петербурга. Пг., 1924. С.5.

Но все это — отражение лишь одного, официального, измерения пушкинской темы в общественном сознании 1930-х годов. Чем жестче социологизировался Пушкин, чем круче заворачивал 37-й год, тем притягательнее становился одухотворенный мир поэта и сильнее желание обозначить истинные ценности той культуры, которая называлась пушкинской.

Нерв книги Яцевича — почти трепетное, подчас опоэтизированное отношение к прошлому («любовь, связанная с пониманием», как говорили в обществе «Старый Петербург»), снимающее навязанное противопоставление дворянской и социалистической России. Жизнь людей пушкинской эпохи и читателей 1930-х годов объединены в книге вечным размышлением о жизни и смерти, любви и ненависти, надеждах, свойственных молодости, отчаянии, нередком в старости. И в новеллах о людях, населявших пушкинский Петербург, словно пунктиром обозначены автором вечные коллизии бытия: жизнь — смерть, слава — забвение. А судьба художника, в трагических ее поворотах, становится одной из тем повествования. Вот Карло Росси, величайший архитектор Петербурга, встретивший последний час в нищете, забвении, болезни. Композитор Бортнянский, умирающий в своем доме на Миллионной в окружении учеников, исполняющих его любимый концерт «Вскую прискорбна еси, душе моя»... Боровиковский, отдавший всю жизнь искусству портрета... Они и есть genius loci — гении мест Петербурга, создавшие его культуру, архитектуру, живопись, вдохнувшие в него душу.

В каждом сюжете рядом с человеком присутствует еще один тип героя — дом. Вот Коллегия иностранных дел, где служили в разное время Пушкин, Грибоедов, Веневитинов, Тютчев. Дача Аллера на Аптекарском острове, где жили Шишков, Батюшков, Гнедич. Дом Косиковского на Невском, куда в ресторан Талон приходили Пушкин и Онегин, где жили Греч, Кюхельбекер, актриса Жорж, издатель Плюшар и где была последняя петербургская квартира Грибоедова... Цепочка имен, связанная с историей здания, уводила в прошлое, в восемнадцатый век, во времена Елизаветы Петровны, или наоборот, приближала к веку двадцатому, к истории кабаре «Бродячая собака». В историко-культурном ландшафте Петербурга дом становится

координатой и места, и времени, соединяя имена, поколения, эпохи, а пушкинский век — точкой отсчета.

Но... «Тот век прошел, и люди те прошли»... Ностальгия по веку дворянской культуры — чувство далеко не безобидное в условиях наступивших перемен. Эпиграф из Лермонтова, предваривший первое издание книги в 1931 году, пришлось снять при переиздании в 1935-м. А с ним — во избежание упреков в апологии прошлого — и вступительную заметку П. Н. Столпянского, которую заменило предисловие академика Н. С. Державина, выдержанное в духе новейших вульгарно-социологических веяний. Лейтмотивом его стало оправдание Яцевича за пристальный интерес к жизни «верхов столичного феодально-крепостнического общества и теснейшим образом с ними связанного его ближайшего окружения». Недостаточная идейная зрелость автора отчасти компенсировалась его книгой «Крепостные в Петербурге», вышедшей в 1933 году и восполняющей картину жизни столицы пушкинского времени «во всем объеме ее классовой общественности».

В 1936 году, к столетию смерти поэта, Яцевич начал готовить третье издание «Пушкинского Петербурга». За ним предполагалось выпустить книгу «Раб и дворянин» (вероятно, переработанное издание «Крепостных в Петербурге»). Рукопись «Пушкинского Петербурга» поступила в типографию, но на одном из последних этапов производство книги все же было прекращено. «Тот век прошел...»

Жизнь Андрея Григорьевича оборвалась в блокадном Ленинграде 6 февраля 1942 года. В ванной комнате квартиры был обнаружен его архив. Историк культуры, он знал цену документу, а ведь среди его бумаг были материалы общества «Старый Петербург», запрещенного в 1938 году. Даже в нестерпимо холодные месяцы первой блокадной зимы он не предал их огню...

А книга его жива. И нынешнее ее издание можно сопроводить словами П. Н. Столпянского: «Эта работа будет одинаково интересна и для знатока и любителя литературы, как и для рядового обывателя. Первого эта работа избавит от необходимости производить ряд многочисленных затруднительных изысканий, давая готовые выводы; для второго эта работа оживит немые улицы и дома города, заставит их заговорить, произведет то впечатление, которое зовется власть места.

Одно дело — знать, что в таком-то и таком-то доме, на такой-то и такой-то улице произошло то или иное событие, а совершенно иное — пойти на это место и вспомнить, что здесь развертывалось, какая звучала трагедия жизни или как улыбалась эта жизнь веселой молодой улыбкой. И в этом отношении «Пушкинский Петербург» прямо неистощимый кладезь...»*

Н. Попова, В. Шубин

---

* Яцевич А. Пушкинский Петербург. Л., 1931. С.6

Примечания

Первое издание «Пушкинского Петербурга» вышло в 1931 году в двух частях. В 1935-м обе части, значительно дополненные, были объединены под одной обложкой. Книга увидела свет тиражом 5 000 экземпляров (первое издание имело тираж: первый том — 1 000, второй — 3000), и уже в начале 1936 года была предпринята попытка выпуска 3-го издания. В январе рукопись поступила в набор, но вскоре по неизвестным сегодня причинам производство было прекращено. От этого несостоявшегося издания сохранился макет верстки, который после смерти А. Г. Яцевича попал к историку архитектуры Л. А. Медерскому, а от него перешел в собрание М. С. Лесмана*.

Работая над 3-м изданием, автор вносил в рукопись изменения как стилистического, так и фактического характера. Это и определило выбор сохранившегося макета верстки в качестве источника для настоящего издания. Исключение составляет авторское предисловие, которое (как и во 2-м издании) в большей степени отражает характерный для 1930-годов диктат идеологии, чем культурно-исторические интересы автора. В этом отношении выгодно отличается предисловие Яцевича к 1-му изданию своей работы, которое и включено в настоящую книгу.

Контаминационный прием в отдельных случаях распространяется и на основную часть текста, в которой не учитывается внесенная в макет правка явно не творческого характера (так, в 3-м издании предполагалось снять упоминания Святогорского монастыря, где похоронен Пушкин, заменив нейтральным «Псковская губерния»; характерна для этого издания оказалась и правка типа: «первые годы XIX века» вместо «первые годы александровского царствования»; встречаются и случаи правки, обусловленной техническими причинами).

К сожалению, при подготовке 3-го издания Яцевичем не были устранены опечатки и неточности в приведенных сведениях (так, местом смерти декабриста Ф. Ф. Вадковского назван Омск вместо Оёк,

---

* Приносим глубокую благодарность вдове М. С. Лесмана — Н. Г. Князевой за предоставленную возможность ознакомления с макетом.

адресатом цитируемого в тексте письма Пушкина о смерти Дельвига вместо П. А. Вяземского назван П. А. Плетнев, допущена ошибка в имени слуги Гоголя — Яков вместо правильного Яким, и др.). В настоящем издании ошибки такого рода, как и неточности в цитируемых текстах, исправлены без оговорок. Цитаты из произведений и писем исторических лиц, а также из мемуарной литературы выверены по современным текстологическим авторитетным изданиям.

Необходимые дополнения и уточнения, связанные в первую очередь с позднейшими краеведческими исследованиями, включены в настоящий раздел и от комментаторского текста Яцевича отделяются знаком *. Весь библиографический аппарат примечаний проверен заново, что позволило устранить в нем многие неточности. В случаях, когда указанный Яцевичем источник не удалось выявить или не удалось найти в нем сообщаемых сведений, в конце библиографического примечания после номера страницы ставится знак **.

Названия государственных учреждений и городских объектов, сведения о мемориальных досках даны по состоянию на декабрь 1990 года

Н. Попова, В. Шубин

Список сокращений:

Аллер 1822 — Аллер С. Указатель жилищ и зданий в С.-Петербурге. СПб., 1822.

Аллер 1824 — Аллер С. Руководство к отыскиванию жилищ по С.-Петербургу. СПб., 1824 (фамилии в алфавитном порядке).

ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей и редких книг.

Декабристы — Декабристы: Биографический справочник. М., 1988 (фамилии в алфавитном порядке).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, отдел рукописей.

Нистрем 1837 — Нистрем К. Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год. СПб., 1837.

Нистрем 1844 — Нистрем К. Адрес-календарь санкт-петербургских жителей. В 3-х т. СПб., 1844.

Памятники — Памятники истории и культуры Ленинграда, состоящие под государственной охраной: Справочник. Л., 1985.

ПВС — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1985.

П-Д ВС — Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1980.

Реймерс — Реймерс С. С.- Петербургская адресная книга на 1809. В 2-х т. СПб., 1809.

СПбВ — Приложение к «Санкт-Петербургским ведомостям».

Фокин 1962 — Фокин Н. Н. О памятных местах пушкинского Петербурга // Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1.

Фокин, рук. — Фокин Н. Н. Петербург пушкинского времени: Описание, план, указатель памятных и примечательных мест. Рукопись (хранится в ИРЛИ).

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

Черейский — Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1988. (Фамилии в алфавитном порядке).

Шубин, Файбисович — Шубин В. Ф., Файбисович В. М. К литературной жизни пушкинского Петербурга // Русская литература. 1982. № 3.

[1] Вяземский П. П. Собр. соч. 1876—1887. СПб., 1893. С. 490. См. также: Аллер 1822. * Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1985. С. 63, 64; ПВС, т. 2. С. 296; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 118.

[2] Щеголев П. Е. Пушкин и мужики: По неизданным материалам. М., 1928. С. 160. * Роман Пушкина с О. Калашниковой относится ко времени Михайловской ссылки (1824—1826 гг.). Сын Павел родился у Калашниковой 1 июня 1826 г. и прожил два с половиной месяца (Щеголев П. Е. Пушкин и мужики. С. 9—57; Черейский).

[3] * Пушкина провожал не лицеист М. Яковлев, а его брат Павел, литератор и приятель Дельвига (Черейский).

[4] Путеводитель по С.-Петербургу и его окрестностям Ивана Пушкарева. СПб., 1843. С. 74.

[5] Однако в объявлении 1839 г. о сдаче в этом доме бельэтажа квартира показана состоящей из 5 комнат (СПбВ, 1839. № 244. 25 октября **, № 255. 7 ноября **).

[6] Московские ведомости. 1855. № 145. 5 декабря. * Современные краеведы склоняются к мнению, что Пушкины занимали верхний этаж — второй, если считать нижний полуподвалом, или третий, по терминологии Яцевича (Зажурило В. К., Кузьмина Л. И., Назарова Г. И. «Люблю тебя, Петра творенье...» Пушкинские места Ленинграда. Л., 1989. С. 51).

[7] Общий морской список. СПб., 1890. Ч. 4. С. 88—90.

[8] * Теперь это уч-к д. 16 по ул. Жуковского, здание не сохранилось. А. И. Тургенев жил здесь в 1800-х и в середине 1820-х гг. В 1809 г. здесь у него останавливался В. А. Жуковский, имя которого позднее получила улица (Аллер 1822, С. 92; Иезуитова Р. В.

Жуковский в Петербурге. Л., 1976. С. 46; Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. СПб., 1899. Т. 3. С. 84; Реймерс, Т. 1. С. 134).

9 * «Старики» Пушкины (Сергею Львовичу было 44 года, Надежде Осиповне — 39) поселились в Петербурге осенью 1814 г.

10 Нистрем 1844, Т. 2. С. 40. «Росси, Карл Иван., кол. сов. «показан проживающим «по Фонтанке, III Адм. ч. 4 кв. близ Калинкина моста дом Трофимова № 160».

11 К. Росси родился в Неаполе 18 декабря 1775 г. (Subov V. Carlo di Giovanni Rossi. Ein Beitrag zur Geschichte der Auflösung des petersburger Empire. St. Petersburg, 1913. S. 7).

12 * В 1937 г. на здании была открыта мемориальная доска, посвященная Пушкину.

13 Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 693. (* То же: П В С, Т. 2. С. 296). Модзалевский Б. Л. Пушкин. [Л.], 1929. С. 341.

14 Наша старина. 1917. Вып. 1. С. 32-38; Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. [Л.], 1929. С. 86—93.

15 В 1806 г. здесь стояло двухэтажное здание, в 1927 г. над ним надстроили третий этаж.

16 Е. А. Зуровой принадлежал также в это время небольшой дом в конце Б. Морской, в которой жил одно время известный гр. Киселев. * В настоящее время на уч-ке № 197 по наб. Фонтанки возводится новое здание.

17 Курбатов В. Петербург. СПб., 1913. С. 542. Автор, однако, ошибочно указывает там №№ 99, 101 и 103.

18 Записки Дмитрия Борисовича Мертваго. 1760—1824. М., 1867. С. 296; Русский вестник. 1857. С. 130.

19 П. Н. Полевому остался в точности неизвестен дом Оленина в Петербурге. В «Истории русской словесности» (СПб., 1900. Т. 2. С. 531) под видом «оленинского дома на Фонтанке неправильно помещен снимок с д. 85 по Фонтанке. * До недавнего времени сведения об адресах Олениных в различных изданиях приводились неточные и неполные. Впервые вопрос этот был научно исследован В. М. Файбисовичем (Шубин, Файбисович, С. 155—156). Как выяснилось, д. 101, построенный в 1790—1793 гг., Оленины занимали до 1813 г. В это время в д. 97 жили братья Е. М. Олениной — Алексей и Александр Полторацкие. С 1813 г. и этот дом стал собственностью Олениных и местом их жительства вплоть до 1819 г. Здесь, а не в д. 101, бывал у них Пушкин после окончания Лицея.

20 * По существующей версии, в основе этой эпиграммы лежит юношеский экспромт Лермонтова, переадресованный позднее его недоброжелателями М. А. Щербатовой (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 168, 533).

21 Сочинения К. Н. Батюшкова. СПб., 1886. Т. 3. С. 294. * То же: Батюшков К. Н. Соч. : В 2 т. М., 1989. Т. 2, С. 304.

[22] * В 1987 г. Ленгорисполком принял решение об открытии на фасаде д. 25 по наб. Фонтанки мемориальной доски, посвященной Батюшкову (Бюллетень исполкома Ленгорсовета. 1987. № 21. С. 15.) Однако решение это до сих пор не выполнено. В 1975 г. здесь была установлена мемориальная доска Никите и Александру Муравьевым (в ее тексте допущена неточность: Муравьевы жили здесь не «в 1820-х годах», а «в 1810—1820-х»).

[23] С П б В, 1815. № 103. 24 декабря; 1816. № 34. 28 апреля. Известный портрет Пушкина исполнен Кипренским, по преданию, в доме Шереметева, стоящем тут же на Фонтанке, по другую сторону реки (* наб. Фонтанки, 34).

[24] * Дом Баженова находился на месте д. 11 по ул. Каляева; снесен до 1842 г. (Старина и искусство. Л., 1928. Вып. 1. С. 72; Н и с т р е м 1 8 4 4, Т. 1. С. 105; Ц Г И А Л, Ф. 513, оп. 102, № 4030).

[25] Д р у ж и н и н Н. Декабрист Никита Муравьев, М., 1933. С. 100.

[26] С П б В, 1827. № 19. 8 марта. Дальнейшую историю дома Муравьевых см. в моей статье «Дом Муравьевых на Фонтанке» в сборнике «Старина и искусство», изданном Обществом «Старый Петербург — Новый Ленинград» (Л., 1928. Вып. 1. С. 68—75).

[27] Б е л я е в А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850. СПб., 1882. С. 204. (* То же: П-Д В С, Т. 2. С. 229. Этому свидетельству противоречит датировка данного стихотворения 1825-м годом в тетради произведений А. И. Одоевского, принадлежавшей декабристу П. А. Муханову). Сочинения князя А. И. Одоевского. СПб., 1893. С. 3, 70.

[28] Исторический вестник. 1911, Кн. 11. С. 570 **.

[29] Красный архив. 1933. Т. 5 (60). С. 116.

[30] История уделов за столетие их существования. СПб., 1902. Т. 3. С. 6.

[31] Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933. С. 55. * См. также: Г и л л е л ь с о н М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974.

[32] * Сохранился и другой вариант этого фрагмента:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

(П у ш к и н. Полн. собр. соч.: В 16 т. Л., 1937. Т. 6. С. 524, 526).

[33] * Согласно разысканиям Н. Н. Фокина, И. Б. Пестель в действительности жил в д. 26, о котором Яцевич пишет на следующих страницах (Ф о к и н 1 9 6 2, С. 551, 552).

[34] Фасад этого дома совершенно справедливо был помещен в «Сборнике планов, фасадов и разрезов примечательных зданий Санкт-

петербурга» (1826. Л. 79). В 1841 г. дом Мижуева был приобретен у его наследников спб. Управой Благочиния (Северная пчела. 1841. № 175. 18 августа; Обзор действий Санктпетербургской городской общей думы в первое трехлетие (1847, 1848 и 1849 гг.). СПб., С. 13.

35 В этом доме жил в 1880 г. поэт Я. Полонский. В письме к Ф. М. Достоевскому от 7 февраля 1880 г. он указывает свой адрес: «У Самсоновскаго моста. По Фонтанке д. № 24. Кв. 17» (Из архива Достоевского: Письма русских писателей. М. Пг., 1923. С. 78. Тут только неправильно прочтено название моста — не «Самсоновского», а «Симеоновского». * Теперь мост Белинского).

36 Фасад мижуевского дома на Моховой ул. переделан в 1864 г.

37 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 363.

38 Щукинский сборник. М., 1907. Вып. 7. С. 283 **.

39 * В Таврическом находился зимний сад, воздух которого был рекомендован Карамзину до отъезда на лечение.

40 * Творчеству, личности, политическим взглядам Н. М. Карамзина, его взаимоотношениям с современниками посвящены многие работы современных ученых. См.: Вацуро В. Э. «Подвиг честного человека»// Прометей. М., 1968. Т. 5. С. 8—51; Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987; Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983.

41 * Знакомство с Пушкиным, по-видимому, произошло 25 марта 1816 г., когда Вяземский побывал в Лицее. Предположения о более ранних встречах у Карамзиных в Москве (см., напр.: Черейский), не подтверждаются документально и противоречат свидетельству самого Вяземского: «...не помню Сергея Львовича (Пушкина — Н. П., В. Ш.) в Москве ни у Карамзиных, ни у себя» (П В С, Т. 1. С. 138).

42 * Вяземский, сводный брат жены историографа, останавливался у Карамзиных в Петербурге. У них же, в доме Мижуева, он поселился в 1828 г., когда решил переехать в Петербург. Однако, не считая этот шаг окончательным, он до 1832 г. жил один, не решаясь перевозить из Москвы семью.

43 * Это указание Яцевича не находит документального подтверждения. На Моховой Вяземский жил позднее (в 1837 г.) в доме Быченской — д. 32; сохранился в перестроенном виде (Нистрем 1837, С. 52).

44 * Глубокий анализ взаимоотношений двух поэтов, личности и творческого пути Вяземского содержится в монографии: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969.

45 * Стихотворение «Циклоп» предназначалось для костюмированного бала в Аничковом дворце 4 января 1830 г., на котором Е. Ф. Тизенгаузен представляла циклопа.

46 Journal de Saint-Pétersbourg. 1839. № 155 **.

47 Покупка дома обошлась в 54 тыс. руб. (сообщено П. Н. Столпянским).

[48] Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1880. Т. 27. С. 349. Но это совсем не указываемый там со ссылкой на «Описание Петербурга» Георги Воронцовский дворец. Тот стоял на противоположной стороне Моховой ул.

[49] Соч. и письма Хемницера по подлинным его рукописям... СПб., 1873. С. 69.

[50] * Вероятно, эти сведения носят предположительный характер. Словарь Л. А. Черейского (Черейский) не фиксирует знакомства поэта с И. А. Мальцовым.

[51] Строитель. 1897. № 19-20. С. 740—746; Зодчий. 1913. № 44. С. 458—460; Ежегодник Общества архитекторов-художников. Л., 1927. Вып. 12. С. 4. В доме Мальцова в 1835—1836 гг. производил работы архитектор Абрам Мельников, в 1844—1845 гг. проф. Черник (Художественная газета. 1836. № 4. 2-е прибавл. С. 13; Отчет Императорской Академии художеств за 1844—1845 академический год. СПб., 1845. С. 19).

[52] В 1844 г. «чиновник 5-го класса Сергей Львович Пушкин» показан проживающим в доме Шмыкина 1-го квартала 3-й Адмиралтейской части (Нистрем 1844, Т. 2, С. 409). * В доме Устинова (наб. Фонтанки, 92) родители поэта жили в 1833 г., в Свечном пер. (д. 5) — в 1830-м (Фокин, рук.; Пушкин и его современники. 1903. Вып. 1. С. 142).

[53] Исторический вестник. 1888. № 11. С. 313. Относящаяся к тому же январю 1835 г. запись П. А. Осиповой в месяцеслове гласит: «*Пушкины* — на Моховой, в доме Кленберха» (Пушкин и его современники. 1903. Вып. 1. С. 144). Где стоял в точности дом Кленберга — неизвестно. (* Как установил Н. Н. Фокин, речь идет о купце Кельберге, которому принадлежал д. 30 по Моховой ул. — Фокин 1962, С. 542). Также остается неустановленным точное местоположение дома Марии Алексеевны Ганнибал в Преображенском полку, как и ее квартиры в Измайловском полку, где в последние годы XVIII века жил в Петербурге, у своей тещи, вскоре после женитьбы на Надежде Осиповне Сергей Львович Пушкин (Москвитянин. 1852. Отд. 4. С. 23).

[54] Шляпкин И. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903. С. 203; Письма А. С. Пушкина к Наталье Николаевне Пушкиной от 8 и 21 октября 1833 г. (* Пушкин А. С. Письма к жене. Л., 1986. С. 45—47); Исторический вестник. 1888. № 10. С. 40.

[55] П. Зет [Столпянский П. Н.] Квартиры А. С. Пушкина // Новое время. 1912. № 12889. 19 января.

[56] А. Грен в «Воспоминании о Пушкине» сообщает, что он жил тогда у Летнего сада, в доме г-жи Оливей (Современник. 1838. Т. 11. № 3. С. 36. * То же: Цявловский М. А. Книга воспоминаний о Пушкине. М., 1931. С. 41—48); П. Анненков указывает местожительством Пушкина в 1834 г. дом Оливиера у Летнего сада (Анненков П. В. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина // Соч. Пушкина. СПб., 1855. Т. 1. С. 321. * То же: М., 1985. факс. изд.).

[57] Список генералам, штаб и обер-офицерам всей Российской армии... СПб., 1831. С. 325; Месяцеслов и Общий штат Российской империи на 1833 г. СПб., 1833, Ч. 1. С. 237.

[58] Петербургский некрополь. СПб., 1912. Т. 3. С. 305. * Черейский называет женой домовладельца Марию Петровну Оливье (Черейский; Ср.: Петербургский некрополь, там же).

[59] СПбВ, 1832. № 102. 3 мая; см. также: Там же, 1831. № 210. 8 сентября.

[60] Пушкин и его современники. 1910. Вып. 9—10. С. 156, 157.

[61] * Имеется в виду д. 20 по Садовой ул., где жили сотрудники Публичной библиотеки: Н. И. Гнедич в период 1810-х (не ранее 1812) — 1831 гг.; И. А. Крылов — 1816—1841 гг. (И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 220; Северная пчела. 1857. № 159).

[62] * Послание Рылеева написано в 1821 г., т. е. значительно раньше выхода в свет «Илиады» и явилось откликом на речь Гнедича «О назначении поэта» в Вольном обществе любителей российской словесности.

[63] Северная пчела. 1857. № 159. 23 июня.

[64] Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1931. С. 146.

[65] Красная нива. 1929. № 24. С. 7—9.

[66] * Шутливым описанием своих прогулок по Летнему саду Пушкин отвечал на ревнивый упрек жены после того, как около 5 мая писал ей: «Летний сад полон. Все гуляют». 11 июня поэту пришлось оправдываться: «Нашла за что браниться!.. за Летний сад... Да ведь Летний сад мой огород. Я вставши от сна иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома» (Пушкин А. С. Письма к жене. Л., 1986. С. 56, 61).

[67] Объявление об отъезде из баташевского дома В. Ф. Вяземской с детьми помещено в «СПб ведомостях» 5 августа 1834 г. (№ 181), а о П. Вяземском — от 14-го того же августа (№ 188). В середине 30-х годов в доме Баташева на набережной жил известный Николай Иванович Кривцов. * Кривцов — приятель Пушкина и поэтов арзамасского круга (Черейский).

[68] * Современный адрес — наб. Кутузова, 32. Здание отмечено мемориальной доской.

[69] Белоконский И. П. Деревенские впечатления. СПб., 1900. С. 149, 150.

[70] СПбВ, 1823. № 71. 4 сентября.

[71] Русский архив. 1872. С. 201.

[72] * Здание находилось на месте Дома писателя им. В. В. Маяковского — ул. Воинова, 18. Самборгскому пер. в 1952 г. дано название Кричевский.

[73] * В 1952 г. Гагаринская ул. получила название ул. Фурманова. Рыночная ул. была переименована в 1950 г. в Гангутскую.

74 Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания — Дневник. М., 1928. С. 70—73.

75 * Н. И. Гнедич, умерший в 1833 г., упомянут здесь ошибочно.

76 Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 164, 647.

77 * Теперь Лиговский проспект.

78 * В литературной жизни Петербурга Измайлов играл видную роль и как президент Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (1816—1825).

79 Дело. 1874. № 4. С. 160—165. В июньской книжке «Благонамеренного» за 1818 г. указывалось, что издатель его живет в 5-й Рождественской (* ныне 5-й Советской) ул., в доме сенатского секретаря Щукина, № 124. * Указание на дом Щукина и вообще адрес издателя при просмотре июньского номера журнала не обнаружены. Однако в мартовском номере того же года сообщается, что А. Е. Измайлов живет в доме Модена. Тот же адрес содержится в более ранних (1815 г.) и более поздних (1820-е гг.) источниках (Аллер 1822, С. 384; Аллер 1824; ИРЛИ, альбом Измайловой, № 4929; Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века. М. ; Л., 1930. С. 101).

80 * В 1826 г. Измайлов получил место вице-губернатора Твери.

81 * Бронницкая ул.; (Аллер 1822, С. 74, 309; ЦГИАЛ, Ф. 1133, оп. 1, № 1678; Там же, Ф. 781, оп. 4, № 81, л. 6 об.; Там же, Ф. 513, оп. 102, № 4634).

82 В доме Хвостова в 1840 г. жила Е. А. Арсеньева, бабушка Лермонтова. * Современный адрес Яцевичем указан неверно. Хвостов жил в д. 20. Под этим номером значатся два здания; Хвостову принадлежало ближнее к Литейному (Шубин, Файбисович, С. 155).

83 В числе отъезжающих за границу в 1800 г. значится «Петр Абрамович Ганнибал, генерал-майор, живет в Сергиевской ул., в собственном доме» — СПбВ, 1800. № 7. 14 января.

84 [Корф М. А.] Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 1. С. 275, 276.

85 * Находился на месте Дома офицеров Советской Армии им. С. М. Кирова — Литейный пр., 20. Кирочная — ныне ул. Салтыкова-Щедрина.

86 Алымова умерла в холерную эпидемию 1831 г. (Петербургский некрополь. СПб., 1912. Т. 1. С. 45), и дом ее перешел к детям — «наследникам тит. советн. Алымовой». Их было 9 человек, и один из них, путей сообщения корпуса инженеров поручик Алымов оставил хранящийся в городском архиве план участка 1832 г.

87 СПбВ, 1823. № 57. 17 июля; Там же, № 65. 14 августа; Там же. 1828. № 62. 3 августа.

88 На дворе алымовского дома долгое время хранилась статуя Екатерины II, привезенная из имения Гончаровых. * Чертеж лицевого фа-

сада дома Алымовой, как и другие чертежи, помещенные в книге Яцевича 1935 года, в данном издании не воспроизводится.

89 Журнал «Зодчий», издавая в 1978 г. чертежи нового здания (лл. 14—17), сообщал, что «это один из первых, если не единственный каменный дом, фасад коего скомпонован в русском стиле». Поклонник творчества Богомолова В. В. Стасов горячо расхвалил этот дом в некрологе архитектора, помещенном в «Вестнике изящных искусств» за 1887 г. (Т. 5. Вып. 1. С. 82, где воспроизведен снимок здания). См. также: Вестник Европы. 1883. № 6. С. 451.

90 * А. С. Шишков занимал пост министра народного просвещения и главы цензурного ведомства с 1824 г. На протяжении длительного времени (1813—1841 гг.) он возглавлял Российскую академию.

91 * На Почтамтской ул. Шишков занимал одно из зданий почтового ведомства. Как установлено Н. Н. Фокиным, — д. 5, сохранившийся в перестроенном виде (Фокин, рук.)

92 Сушкова Е. [Хвостова Е. А.]. Записки. 1812—1841 гг. Л., 1928. С. 180. * То же: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 109.

93 * С 1921 г. — ул. Короленко.

94 СПбВ, 1815. № 103. 24 декабря. Некоторые переделки булатовского дома относятся к 1846—1847 годам.

95 Стоящий близ церкви надгробный памятник Булатову, уже реставрированный в 1886 г., ныне снова значительно наклонился и угрожает падением. Это чуть ли не единственный, уцелевший до нашего времени, надгробный памятник декабристу в Ленинграде. * Могила А. М. Булатова на Московской дорожке (у церкви) находится в настоящее время под государственной охраной (Памятники, С. 69).

96 * Название проспекта — Литейный — восстановлено в 1944 г. Имеется в виду д. 36.

97 * Эти сведения заимствованы из рассказа начальника кронверка Петропавловской крепости В. И. Беркопфа (записан с его слов художником Н. А. Рамазановым) и использованы Яцевичем не совсем точно. Ср.: «...Они расцеловались друг с другом, как братья; но когда последним вышел из ворот Каховский, ему никто не протянул даже руки. По уверению Беркопфа, причиною этого было убийство графа Милорадовича, учиненное Каховским, чего никто из преступников не мог простить ему и перед смертью» (П-Д В С, Т. 1. С. 255).

98 К 1829 г. дом Кувшинникова перешел во владение спб. городского головы, первостатейного купца Алферовского.

99 Дела III отделения собственной е. и. в. канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. СПб., 1906. С. 42.

100 Фонтон Ф. П. Воспоминания. Лейпциг, 1862. С. 25.

101 * Стихотворение написано на следующий день после свадьбы Дельвига (Баратынский Е. А. Полн. собр. стих. Л., 1989. С. 129).

102 Русская поэзия XIX века. Л., 1929. С. 109.

[103] Когда Дельвиг с женой уехал на некоторое время в Харьков, А. Керн с отцом и сестрою переехала на их квартиру. По отъезде своих родных Керн поселилась в небольшой квартире в том же доме Кувшинникова, во дворе (М а й к о в Л. Пушкин. СПб., 1899. С. 253; Пушкин и его современники. 1907. Вып. 5. С. 142. * См. также: К е р н А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989. С., 45).

[104] Полвека русской жизни. Воспоминания А. И. Дельвига. 1820—1870. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 98—101.

[105] * Посещения Н. В. Гоголем литературной гостиной А. А. Дельвига маловероятны, т. к. в конце 1830 г., когда через В. А. Жуковского и П. А. Плетнева началось сближение Гоголя с пушкинским кругом писателей, Дельвиг, которому оставались считанные недели жизни, по свидетельству А. И. Дельвига, «впал в апатию, не хотел никого видеть, кроме самых близких».

[106] * П. А. Вяземский деятельно сотрудничал в «Литературной газете», однако издателем ее не был. Подробнее о дельвиговском кружке и изданиях пушкинского круга писателей см.: В а ц у р о В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Пушкина — Дельвига. М., 1978.

[107] Зодчий. 1917. № 19—20. С. 143. * Угроза уничтожения нависла над этим домом и в 1986 г. в связи со строительством станции метро. Защитниками историко-культурного памятника пушкинской поры (в 1984 г. здание было отмечено мемориальной доской) стала молодежь, предотвратившая акт вандализма.

[108] * Как установлено позднее, дом Ежевского (Гижевского) находился не на ул. Пятой роты (теперь Рузовская ул.), а на Госпитальной (теперь Бронницкая ул., уч-к д. 15/24; здание снесено в 1909 г.) В доме Ежевского Баратынский жил со своим сослуживцем А. Шляхтинским. По-видимому, осенью 1819 г. он поселился с А. А. Дельвигом в «домике низком» на ул. Пятой роты, где к настоящему времени старая жилая застройка (тогда деревянная) не сохранилась (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 150, 151).

[109] * До этого Баратынский вынужден был служить рядовым из-за проступка, совершенного в юности в Пажеском корпусе.

[110] * Поэт умер в Неаполе в 1844 г.

[111] S a i n t - M a u r e D. d e. Petersbourg, Moscou et les provinces... Paris, Vol. 2. P. 43; Русский архив. 1866. С. 131; Русский архив. 1876. Кн. 1. С. 482; Федор Яковлевич Миркович. 1789—1866: Его жизнеописание... СПб., 1889. [Т. 1]. С. 14; Исторический вестник. 1896. Кн. 6. С. 478 **; Пушкин, его лицейские товарищи и наставники: Статьи и материалы Я. Грота. СПб., 1899. С. 91,92.

[112] Биограф Ж.-П. Марата Шевремон в жизнеописании Марата сообщает, что его младший брат Анри Мара, родившийся в 1745 г., сделал в России блестящую карьеру под именем «господина де Будри», достигнув звания профессора императорской военной школы с чином полковника» (C h e v r e m o n t F. Jean-Paul Marat. Paris, 1880. Vol. 1. P. 2).

[113] Щ е г л о в И. Новое о Пушкине. СПб., 1902. С. 92. По сообщению В. В. Малкочи, первый этаж в этом доме был каменный, второй — деревянный.

[114] * Приведенные сведения об адресе Павлищевых и месте захоронения Арины Родионовны были опровергнуты позднейшими исследованиями. В 1940 г. А. И. Ульянский опубликовал выписки из церковных документов, свидетельствующие, что Арина Родионовна была погребена на Смоленском православном кладбище (У л ь я н с к и й А. И. Няня Пушкина. М.; Л., 1940. С. 57—67). В 1976 г. при входе на кладбище установлена мемориальная доска. Адрес дома, в котором в семье Павлищевых прошли последние месяцы жизни няни поэта, недавно установлен В. П. Старком — Кузнечный пер., 12 (Ленинградская правда. 1989. 3 мая).

[115] * Ныне соответственно — Исаакиевская пл. и Почтамтская ул.

[116] Золотое руно. 1906. № 11—12. С. 35. * Нет однозначного мнения по этому вопросу и в современной литературе. См., напр.: П а м я т н и к и, С. 119 (где указано: «автор не установлен»); Ленинград: Путеводитель. Л., 1988. С. 97 (автором предположительно назван А. Ринальди). В 1920—1930-х гг. в этом доме работало общество «Старый Петербург — Новый Ленинград», в деятельности которого активное участие принимал Яцевич.

[117] * При подготовке 3-го издания автором из этой части текста был исключен следующий фрагмент: «Рядом с мятлевским домом возвышается громадное здание германского посольства, построенное немецким архитектором Беренсом[1]. Дальше следуют по ул. Герцена два рядом стоящие дома: здание итальянского посольства (№ 43) и дом, принадлежавший Гагариной (№ 45). Это редкое наследие архитектора Монферрана, так как кроме собственного дома на Мойке, домов Лобанова-Ростовского и дачи Зиновьевых на Неве он не оставил других частных построек[2]. Оба эти здания были выстроены Монферраном для известного богача Демидова. Центральная часть фасада в доме посольства с его богатой внутренней отделкой и прекрасным малахитовым залом задумана чрезвычайно удачно. Ворота, балкон, фонтаны, амуры гармонично сочетаются в единое целое[3]. Как передает актер Лаферрьер, в Петербурге говорили, что этот дом обошелся Демидову в два миллиона руб. серебром[4]. Стоящая рядом другая постройка Монферрана, с пышным аттиком, по своим достоинствам не уступает дому посольства.

Тут, на Морской, Демидов устраивал грандиозные приемы, на которых бывала вся столица. Жена Демидова Аврора, сестра воспетой Лермонтовым Эмилии Шернваль, была одной из самых замечательных женщин своего времени. Образованная, одаренная тонким умом, Аврора Шернваль, обладала исключительной красотой. Боратынский, находясь в изгнании в Финляндии, посвятил ей стихи, начинавшиеся словами:

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари.

Вильегорский в честь ее сочинил «Мазурку Авроры».

Но судьба, так щедро одарившая молодую женщину, сулила ей ряд испытаний. Ее первый жених умер вскоре после того, как она стала невестой. Второй жених также умер до свадьбы. Выйдя замуж за известного богача и мецената П. Н. Демидова, она овдовела через четыре года. В 1846 г. она вторично вышла замуж за чрезвычайно образованного человека — Андрея Карамзина, старшего сына историка. Полковник Карамзин погиб в Каракальском деле в 1854 г. Башибузуки, захватив его в плен, сорвали с него одежду. Когда же какой-то турок схватил висевший на его груди золотой медальон с портретом Авроры, пленник, вырвав у него саблю, убил его. Карамзина изрубили в куски. Вдова его была безутешна в своем горе и провела остаток своей жизни в уединении. Ей суждено еще было пережить смерть сына». (1. Рассмотрению творчества П. Беренса посвящена обстоятельная статья в № 2 «L'architecture d'aujourd'hui» за 1934 г. 2. Как сообщает в своих воспоминаниях художник Павел Соколов, Монферраном выстроена была на Выборгской стороне, вблизи Пороховых, великолепная барская дача, впоследствии принадлежавшая художнику Александру Алексеевичу Козлову, товарищу Соколова по Академии. Этот дом, как отметил Соколов, был выстроен из материалов Исаакиевского собора, «по рассеянности» строителя попавших на Выборгскую сторону (Исторический вестник. 1910. № 12. С. 910.) Сохранились ли до настоящего времени следы этого дома? 3. Внутренний вид здания см. в «Столице и усадьбе» за 1914 г., № 7. Недавно посольство выломало малахитовые колонны парадного зала и вывезло их в Италию. 4. Memoires de Laferriére. Paris, 1876. P. 11) * Упоминаемые д. 43 и 45 по ул. Герцена были возведены в XVIII в. Монферрану принадлежит проект их перестройки в 1830-х гг. (Памятники, С. 117.)

118 * Сейчас в здании находится вновь созданный Всероссийский институт искусствознания. Отметим попутно соседний дом — Исаакиевская пл., 3, в котором на рубеже 1810-х — 1820 гг. жил поэт И. И. Козлов, а в 1825—1829 гг. — Н. И. Греч (Шубин, Файбисович, С. 158).

119 Нащокины владели этим участком еще в первые годы царствования Екатерины II (С П б В, 1763. № 82. 14 октября).

120 Новый мир. 1927. Кн. 1. С. 195, 196; Красный архив. 1930. Т. 1. (38). С. 119.

121 * Во 2-м издании далее следовал фрагмент, опущенный Яцевичем при подготовке 3-го издания: «Когда в дверях появлялся мажордом, торжественно возвещавший, что «кушанье поставлено», Закревский мерным шагом, как на параде, открывал шествие в столовую залу, ведя под руку какую-либо кавалерственную даму. Гостей своих Закревский кормил роскошными ужинами. Молодой итальянец гр. Паллавичини был поражен богатством стола, изобиловавшего всем, „что весна, лето и осень приносят у нас редкого"».

122 * Цитируются строки стихотворений «Наперсник» и «Счастлив, кто избран своенравно...» (1828). Закревской посвящено также стихо-

творение Пушкина «Портрет» (1828). Существует предположение, что она явилась прототипом Вольской в незавершенной повести «Гости съезжались на дачу» (1828). Лит. см.: Черейский.

123 СПбВ, 1794. б/№. 29 декабря; Сенатский атлас 1798 г.

124 СПбВ, 1837. № 73. 1 апреля.

125 Декабристы и их время. М., [1928]. Т. 1. С. 212—215. * То же: Декабристы: Антология в 2 т. Л., 1975. Т. 1. С. 360.

126 Восстание декабристов: Материалы. М.; Л., 1926. Т. 2. С. 258.

127 Записки кн. С. П. Трубецкого. СПб., 1906. С. 39. * То же: Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983. Т. 1. С. 251. О том же рассказывал и другой современник (П-Д В С, Т. 2. С. 227).

128 * Теперь пос. Лазаревское (Сочи). Приведенная цитата — из воспоминаний Н. П. Огарева (П-Д В С, Т. 2. С. 266).

129 * Вот что об этом писал декабрист Е. А. Розен: «...Касательно могилы его есть разногласные мнения: одни уверяют, что весною 1840 года горцы овладели фортами, построенными на восточном черноморском берегу, где эпидемия значительно уменьшила личный состав гарнизона. Неприятель не только перерезал в фортах весь гарнизон, но и вырыл из земли мертвые тела и бросил их на съедение шакалам. Другое предание гласит, что между этими дикими горцами был начальником офицер, бывший прежде в русской службе, знавший лично Одоевского, и его могилу удержал от неистовых врагов, почтивших ее, когда услышали, чей прах в ней покоится» (П-Д В С, Т. 2. С. 278).

130 * Квартира Одоевского и прежде становилась пристанищем его друзей. В январе 1825 г. в ней жил А. С. Грибоедов (Фомичев С. А. Грибоедов в Петербурге. Л., 1982. С. 105—109; П-Д В С, Т. 2. С. 228), а в августе — сентябре А. А. Бестужев (Восстание декабристов: Материалы. М.; Л., 1926. Т. 2. С. 250). В 1824—1825 гг. у Одоевского бывал Е. А. Баратынский, в 1840 г. он останавливался в этом же доме в короткий приезд из Москвы (Шубин, Файбисович, С. 151).

131 * Имеется в виду роман «Кюхля» (1925). Тынянову принадлежит также заслуга глубокого научного изучения творчества В. К. Кюхельбекера, прояснившего значение поэта и критика в литературе его времени.

132 * Известной оперной певицей была младшая сестра Семеновой — Нимфодора.

133 * Напротив дома Гагарина располагался первый батальон л.-гв. Преображенского полка (ул. Халтурина, уч-к д. 33), где в 1810-х гг. и в 1827-м жил писатель, критик, декабрист П. А. Катенин (П-Д В С, Т. 1. С. 296, 300). В 1825—1827 гг. Катенин, вернувшийся в Петербург после ссылки, жил также на Миллионной, в доме Паульсона — ул. Халтурина, 8; здание перестроено в 1903 г. В том же доме, со стороны Мойки (наб. Мойки, 7) в конце 1820-х — начале 1830-х гг. жил писатель и журналист, сотрудник «Литературной газеты» О. М. Сомов (Шубин, Файбисович, С. 154).

134 * Этот эпизод относится к более позднему времени, когда Пушкин находился уже в ссылке. 8 мая 1825 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Вчера слушал у княгини А. И. Голицыной (Измайловой) комедию Грибоедова. Всем вам досталось. Много остроты в некоторых стихах, особливо в негодовании Чацкого, но пьеса нехороша и интрига подлая. Есть сатирические черты и верные портреты московских оригиналов, но нет комедии. Княгиня бесила меня вздорными замечаниями своими на пьесу и на стихи, коих не понимала. Небесная физика совсем исказила ум ее и даже небесное ее личико» (цит. по: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 361).

135 Пушкин под тайным надзором: Очерк Б. Л. Модзалевского. [Л.], 1925. С. 79.

136 Recueil des dessins de differen<t>s batimen<t>s construits a Saint-Petersbourg... par Louis Rusca... St-Pétersbourg, 1810. I. Pl. XXVI.

137 Сборник Пушкинского Дома на 1923 год... Пг., 1922. С. 89. * То же: Дельвиг А. А. Соч. Л., 1986. С. 304.

138 Модзалевский Б. Л. Пушкин, Дельвиг и их петербургские друзья в письмах С. М. Дельвиг // Модзалевский Б. Л. Пушкин. [Л.], 1929. С. 179, 198.

139 * Современный адрес — Мошков пер. (в 1952—1989 гг. назывался Запорожским), д. 1 — установлен Н. Н. Фокиным (Фокин 1962, С. 544, 545).

140 Гофмаршал С. С. Ланской был двоюродным братом известного екатерининского фаворита. Петр Петрович Ланской, женатый впоследствии на Наталии Николаевне Пушкиной, приходился ему племянником.

141 * Чествованине Глинки после премьеры оперы «Жизнь за царя» происходило 13 декабря 1836 г. не у В. Ф. Одоевского, а в квартире А. В. Всеволожского (Лит. см.: Черейский). Приведенная строфа (с пропущенной второй строчкой «Вышла новая новинка» и др. неточностями) сочинена Мих. Ю. Виельгорским. Пушкину принадлежит заключительная часть: «Слушая сию новинку,/ Зависть, злобой омрачась,/ Пусть скрежещет, но уж Глинку/ Затоптать не может в грязь».

142 Воспоминания Юрия Арнольда. М., 1892. Вып. 2. С. 197; Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. СПб., 1811. Т. 4. С. 409 * В позднейшей литературе стал фигурировать ошибочный адрес дома Долгорукова — наб. Фонтанки, 35. Как установлено Л. И. Бройтман, Долгорукову принадлежал несохранившийся д. № 37. Современный адрес следующей квартиры Одоевского — Литейный пр., 36. Позднее, в 1846 — 1861 гг., он жил в здании Румянцевского музеума (наб. Красного Флота, 44), директором которого являлся. (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 834).

143 * Приводим фрагмент, опущенный автором при подготовке 3-го издания: «На ул. Халтурина до нашего времени сохранился небольшой четырехэтажный дом № 9 с великолепными старинными решетками балконов.

В течение четверти столетия, с конца XVIII века, домом этим владел известный композитор Бортнянский, директор придворной капеллы, занимавший весь бельэтаж. Свое образование Бортнянский получил в Италии, где впервые проявился его талант.

Обладая художественным вкусом, он собрал у себя в доме великолепную картинную галерею. О музыкальных произведениях Бортнянского, проникнутых стремлением к «совершенному», знаменитая певица Анжелика Каталани говорила, что прекраснее она ничего не слышала. Композитор был чрезвычайно любим своими певчими, «почитавшими его отцом». Почувствовав в один из последних дней сентября 1825 г. приближение смерти, Бортнянский вызвал певчих в свой дом на Миллионной. Окружив постель умирающего, ученики исполнили написанный Бортнянским его любимый концерт «Вскую прискорбна еси, душе моя». И с последними звуками концерта сердце его перестало биться. (После смерти Бортнянского вдова его продавала этот дом на Миллионной, дачу в Павловске и «работы лучших мастеров картины и эстампы»). * Попутно отметим, что недалеко от указанного дома, в здании департамента уделов (ул. Халтурина, 19; перестроено в 1857—1861 гг.) занимал в последние годы жизни служебную квартиру писатель В. Т. Нарежный (А л л е р 1 8 2 4).

144 Это здание перестраивалось в 1850 и 1900-х гг.

145 * См. также: А л е к с е е в а Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже 18—19 веков. М., 1975. С. 317—327.

146 С т о л п я н с к и й П. Н. Город Санкт-Питер-Бурх ныне Ленинград: Путеводитель. Л., 1927. С. 159.

147 Vite deipittori, scultori e architetti bergamaschi scritte dal conte Francesco Maria Tassi. Bergamo, 1793. Vol. 2. P. 151. В числе других работ Кваренги у Тасси отмечены, между прочим: дом барона Фитингофа (впоследствии градоначальство) против Адмиралтейства, дом Юсуповых на Фонтанке и колокольня церкви св. Владимира. * Современные адреса этих построек соответственно: Адмиралтейский пр., 6; наб. Фонтанки, 115; Владимирский пр., 20. Список работ Дж. Кваренги см.: П и л я в с к и й В. И. Джакомо Кваренги: Архитектор. Художник. Л., 1981. С. 204—207.

148 * Так до 1944 г. официально называлась Дворцовая наб.

149 * Дворцовая наб., 2. В 1791—1794 гг. здесь жил молодой И. А. Крылов, в ту пору — сатирик и журналист (И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 69, 74, 216, 382).

150 Mémoires du pr. Pierre Dolgoroukow. Geneve, 1867. Vol. 1. P. 279.

151 Н и с т р е м 1 8 3 7, С. 207; Описание Санктпетербурга и уездных городов С.-Петербургской губернии Ивана Пушкарева. СПб., 1839. Т. 1. С. 398. Австрийское посольство продолжало занимать салтыковский дом и по отъезде Фикельмонов из Петербурга (S c h e n k e n b e r g K. Die kaiserlich-russische Haupt- und Residenzstadt St. Petersburg und deren Umgegenden. St. Petersburg, 1840. S. 17 **). * См. также: Р а е в с к и й Н. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1974. С. 292 и др.

[152] * Этот и следующий абзацы печатаются по рукописной вставке макета 3-го издания (см. преамбулу к настоящему разделу). Утраченная часть текста воспроизводится гипотетически (заключена в прямые скобки). Приведенный далее рассказ «об одной любовной истории Пушкина» значительно сокращен Яцевичем для 3-го издания. Об этом эпизоде биографии Пушкина см. также: Раевский Н. А. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1974. С. 277—288.

[153] * Вызов Дантесу был послан Пушкиным за двенадцать дней до описываемых событий. Столкновение у Фикельмонов не носило решающего значения и было лишь следствием установившихся к тому времени отношений. Подробнее см.: Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году. Л., 1984. С. 53—140.

[154] * На следующий день в связи с объявлением помолвки Екатерины Гончаровой и Дантеса (этим объясняется ее присутствие на рауте в белом платье) Пушкин снял свой вызов.

[155] * Этот разговор с Соллогубом состоялся за несколько часов до раута Фикельмонов — на обеде у Карамзиных (П В С, Т. 2. С. 341—342; Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году. Л., 1984. С. 132—133).

[156] * С 1918 г. — Красная ул.

[157] С П б В, 1830. № 222. 16 сентября, № 224. 18 сентября, № 226. 20 сентября; Там же. 1831. № 230. 1 октября; Там же. 1832. № 86. 15 апреля.

[158] Петров П. Н. История Санкт-Петербурга... СПб., 1885. С. 232, раздел примечаний; Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1880. Т. 28. С. 120, Там же. Юрьев, 1898. Т. 104. С. 254 **.

[159] Zeichnungen eines Gemahldes von Russland. Entworfen aus einer Reise durch das Russische Reich. Moskau und St. Petersburg, 1798. S. 295.

[160] В журнале «Архитектура СССР» за 1934 г. (№ 3. С. 62—65) С. М. Земцовым опубликован текст автобиографии Кваренги, хранящийся в Ленинграде в Музее города. Знакомство с биографией Кваренги, впервые переведенной на русский язык, имеет очень большое значение для всех изучающих историю русской архитектуры. Нельзя, однако, тут не отметить, что эта автобиография архитектора («публикуемая здесь впервые», — как отмечает С. М. Земцов) уже известна научному миру. Она опубликована в упомянутой выше книге Ф. М. Тасси «Vite dei pittori, scultori e architetti bergamaschi». Ссылки на эту автобиографию встречаются в ряде работ. См. напр.: Hautecoeur L. L'architecture classique a Saint-Pétersbourg a la fin du XVIII[e] siecle. Paris, 1912. Ср. также: Colombo B. G. Giacomo Quarenghi bergamasco architetto alla Corte Imperiale di Pietroburgo. Torino, 1879. P. 28.

[161] * Современный адрес — Дворцовая пл., 6.

[162] К сожалению, в архиве утеряны все планы этого участка 1844, 1858, 1859, 1862, 1873 и 1886 гг. Дом этот значительно пострадал от пожара в 1868 г.

163 * Участие А. Н. Воронихина в перестройке этого дома, возведенного в XVIII в., относят к 1791-1793 гг., в то время как работы по проекту Ж. Тома де Томона осуществлялись в 1806—1809 гг. (Памятники, С. 119).

164 Joseph de Maistre et Blacas. Leur correspondance inédite... Paris, 1908. P. 160,161.

165 Memoires secrets de 1770 à 1830 par M. le comte d'Allonville. Paris, 1841. № 5. P. 91—94. Архив князя Воронцова. М., 1880. Кн. 18. С. 335; Там же. 1881. Кн. 19. С. 190; F. Christin et la princesse Tourkestanow. M., 1882. P. 672; Русский архив. 1893. № 3. С. 315, 316; Русский библиофил. 1914. № 2. С. 99 * См. также: Вайнштейн А. Л., Павлова В. П. Декабристы и салон Лаваль // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 165 (здесь, в частности, содержатся некоторые уточнения к приведенным сведениям: Лаваль приехал в Петербург впервые в 1783 г. капитаном французской службы в составе посольства, переехал в Россию в 1790-х гг., эпизод со ссудой Людовику XVIII относится к 1815 г.).

166 Saint-Julien Ch. de. Voyage pittoresque en Russie. Paris, 1851. P. 29, 30. * Автор книги был секретарем и библиотекарем Лаваля.

167 Memoirs of John Quincy Adams. Philadelphia, 1874. Vol. 2. P. 129, 340, 408.

168 * Декабрьские события, которым предшествовало самоубийство 22-летнего сына Лавалей Владимира, были большим ударом для семьи. Светская жизнь дома возобновилась в 1828 г. (Вайнштейн А. Л., Павлова В. П. Декабристы и салон Лаваль // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 184.

169 Иллюстрация. 1845. № 2. С. 29.

170 Фасад и план фермы сохранились в Италии, в Бигоньо (Старые годы. 1909. Апрель. С. 188. * См.: Грибанов В. И., Лурье Л. Я. Аптекарский остров. Л., 1988. С. 26—30). О даче Лаваль см. также: С П б В, 1827. № 1. 4 января **; Отчет Императорской Академии художеств за 1847—1848 академический год. СПб., 1848. С. 27; Божерянов Н., Никольский В. Петербургская старина: Очерки и рассказы. СПб., [1891]. С. 43; Врангель Н. Помещичья Россия. СПб., С. 76 **; Либрович С. Ф. На книжном посту: Воспоминания. Записки. Документы. Пг.; М., 1916. С. 93,94; Столпянский П. Н. Санкт-Питер-Бурх ныне Ленинград: Путеводитель. Л., 1927. С. 146.

171 Pallavicini A. Lettres d'un petit fils à sa grand-mère. <без вых. данных> P. 93.

172 * С вечерами Лавалей на их даче связывают пушкинские наброски «Гости съезжались на дачу...» (1828) и «Мы проводили вечер на даче...» (1835) (Вайнштейн А. Л., Павлова В. П. К истории повести Пушкина «Гости съезжались на дачу...» // Временник Пушкинской комиссии. 1966. Л., 1969. С. 36—43; Гиллельсон М. И. Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикельмон // Временник Пушкинской комиссии. 1967—1968. Л., 1970. С. 17, 18).

[173] * Теперь — Центральный государственный исторический архив СССР.

[174] По сообщению П. Столпянского (Старые годы. 1914. Январь. С. 67), принадлежавший Левицкому дом стоит в настоящее время на Кадетской линии под № 48. Однако, как свидетельствует ряд планов и указателей города, художнику в действительности принадлежал нынешний дом № 23 по той же линии, ныне Съездовской. * В 1990 г. здание отмечено мемориальной доской.

[175] Материалы по русскому искусству. Л., 1928. Т. 1. С. 211—214. * О Левицком см. также современную монографию: М о л е в а Н. М. Дмитрий Григорьевич Левицкий. М., 1980.

[176] * Прежнее название — Большой проспект — восстановлено в 1944 г.

[177] * Недалеко отсюда прошли детские годы братьев Бестужевых. На 5-й линии (сейчас уч-к д. 40) их семье принадлежал небольшой деревянный дом с садом (Р е й м е р с, Т. 2. С. 372; П-Д В С , Т. 2. С. 120; Ц Г И А Л, Ф. 513, оп. 102, № 1582).

[178] * Имеются в виду сроки каторжных работ, определенные братьям Бестужевым 22 августа 1826 г. Ранее судом А. Бестужев (Марлинский) был приговорен к смертной казни «отсечением головы», а его братья — к вечной каторге. В 1827 г. приговор А. Бестужеву был вновь смягчен — минуя каторгу, он был отправлен на поселение (Д е к а б р и с т ы).

[179] * См. прим. 88.

[180] Н и с т р е м 1 8 3 7, С. 90. Впоследствии А. П. Керн оставила Васильевский остров, переехав на Петербургскую сторону. До нас дошел рисунок, изображающий ее скромную, низкую комнату на Дворянской улице (* воспр. в изд: К е р н (М а р к о в а-В и н о г р а д с к а я А. П.) Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989. Вклейка).

[181] * Несколько иные сведения приводятся в книге М. и С. Руденских «С лицейского порога» (Л., 1984. С. 227): датой приобретения участка назван 1816 год, современный адрес указан — Малый пр., 30/56. Здесь говорится, что в том же доме жил после окончания Лицея А. И. Мартынов.

[182] * По уточненным данным, современный адрес участка Белобородова — 16-я линия, 23. Есть, однако, основания предполагать, что Рылеев жил в доме Мазуркевич — 16-я линия, уч-к д. 13. Адресная книга С. Аллера дает сведения еще об одном адресе Рылеева на Васильевском острове — 12-я линия, уч-к д. 49. Во всех случаях дома были деревянными и не сохранились до наших дней (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 153—154).

[183] Литературные листки. 1823. № 2. С. 19.

[184] Иллюстрация. 1847. Т. 5. С. 117—120; Красная нива. 1929. № 24. С. 8.

[185] Библиотека для чтения. 1849. Т. 96. Отд. 3. С. 89.

14 Зак.№ 125

[186] Новое время. 1895. № 6928. 14 июня; Беседа. 1903. № 6. С. 266**.

[187] * Строгановская наб., носившая позднее название наб. Адмирала Ушакова, в 1979 г. включена в Выборгскую наб. Строгановская ул. с 1952 г. называется ул. Академика Крылова.

[188] * Теперь Белоостровская ул.

[189] Bagréeff-Speranski E. de. Les iles de la Néva. Bruxelles; Paris, 1858. P. 80, 81.

[190] * Современная топография этой территории не совпадает с описанием Яцевича. По-видимому, месту миллеровских дач соответствует уч-к д. 49—51 по наб. Черной речки.

[191] Journal intime du chevalier de Corberon. Paris, 1901. Vol. 2. P. 134. * Подробнее о Каменном острове см.: Витязева В. А. Невские острова: Елагин. Крестовский. Каменный. Л., 1986.

[192] Saint-Maure D. de. Petersbourg, Moscou et les provinces... Paris, 1830. Vol. 1. P. 77.

[193] Л. де Веймерс (* Лёве-Веймар) называет владельцем дачи Бровольского (Brovolsky) (Сочинения А. С. Пушкина под ред. П. А. Ефремова. Т. VIII. С. 213 **. * См.: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 616). Однако такого дачевладельца в то время на Каменном острове не было, а был дачевладелец Добровольский.

[194] * Район пересечения Большой аллеи и наб. Большой Невки.

[195] * Существует предположение, что поэт мог иметь в виду Карповское кладбище (Грибанов В. И., Лурье Л. Я. Аптекарский остров. Л., 1988. С. 82.)

[196] Биографические сведения о А. Н. Воронихине см. в моей книге «Крепостные в Петербурге» (Л., 1933, С. 63, 94).

[197] В годы постройки Казанского собора Воронихин жил на Невском пр., на углу Екатерининского кан., в д. Глазунова (ныне № 27 по пр. 25 Октября). Следует обратить внимание биографов архитектора на одну любопытную публикацию, помещенную в 1815 г., после смерти зодчего в «СПб Ведомостях»: «У столярного мастера Ивана Гербера» продавалась «весьма искусственно сделанная модель для построения церкви, с особенною колокольнею и с потребными для сего планами, заказанная для некоторой знатной особы покойным архитектором Воронихиным, по смерти коего осталась оная у мастера, делавшего и другие хорошие модели» (С П б В, 1815. № 15. 19 февраля.). О каком проекте Воронихина тут идет речь? Во всяком случае это не голицинская церковь в Городне, так как эта усадьба была построена Воронихиным в 90-х годах XVIII века. Гербером была исполнена известная модель Казанского собора (Казанский собор: Историческое исследование о соборе и его описание / Составил архитектор собора Андрей Аплаксин. [СПб.], 1911. С. 22).

[198] * Дача А. Н. Воронихина, занимавшая уч-к 62-а по Кировскому пр., несколько лет назад была разобрана для последующего восстановления.

[199] * Эти события относятся к лету 1823 г. С окончанием дачного сезона Батюшков поселился в доме Имзена на Екатерининском кан. (кан. Грибоедова, 15; здание перестроено). Отсюда в мае 1824 г. он уехал на лечение и навсегда оставил Петербург (об этом и других адресах Батюшкова см.: Шубин В. Здесь жил Батюшков // Вечерний Ленинград. 1988. 12 мая).

[200] * Ныне ул. Степана Разина (в 1923—1939 гг. — ул. Стеньки Разина).

[201] * В ряду позднейших исследований о Лунине см. монографии: Окунь С. Б. Декабрист М. С. Лунин. Л., 1985. (2-е изд., испр. и доп.); Эйдельман Н. Я. Лунин. М., 1970.

[202] Домом этим владело впоследствии Человеколюбивое общество, надстроившее тут один этаж.

[203] Mémoires d'Auger. (1810—1859). Paris, 1891. P. 96.

[204] * Проводы Батюшкова состоялись 19 ноября 1818 г. (Кошелев В. А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. М., 1987. С. 266, 267).

[205] * В современной литературе сведения об этом портрете, почерпнутые автором из статьи С. Гессена «Лунин и Пушкин» (Каторга и ссылка. 1929. № 6 (55). С. 89), не приводятся.

[206] * В Сибири Лунин содержался сначала в Читинском остроге, затем в Петровском заводе, откуда в 1835 г. был обращен на поселение в с. Урик Иркутского округа. В Акатуевскую тюрьму при Нерчинских горных заводах Лунин попал после нового ареста, в 1841 г. (Декабристы).

[207] * Литературно-публицистическое наследие М. С. Лунина исчерпывающе представлено в изд.: Лунин М. С. Письма из Сибири. М., 1987.

[208] Гессен С. Я., Коган М. С. Декабрист Лунин и его время. Л., 1926. С. 9.

[209] Северная пчела. 1832. № 45. 26 февраля.

[210] * Фрагмент повести «Портрет» цитируется автором по ее первой редакции.

[211] * Имеется в виду Козье болото — теперь сквер между Дровяным пер. и ул. Володи Ермака (Подробный план столичного города Санкт-Петербурга, снятый по масштабу 1:4200 под начальством генерал-майора Шуберта. СПб., 1828).

[212] * С 1939 г. — пр. Римского-Корсакова.

[213] * Теперь уч-к д. 23 по Лиговскому пр.

[214] * С именами Белинского и Добролюбова и связывают в основном название «Литераторские мостки» (Нетунахина Г. Д., Удимова Н. И. Музей городской скульптуры: Краткий путеводитель. Л., 1972. С. 142). Попутно отметим, что на Волковом кладбище был похоронен А. А. Дель-

виг; в 1930-х гг. его могила перенесена в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.

215 * Исследования Н. Н. Фокина убедительно показали, что Рогинскому принадлежал нынешний дом 55 (а не 51) по пр. Римского-Корсакова (Фокин 1962, С. 550, 551). Поблизости находились и казармы Гвардейского экипажа — пр. Римского-Корсакова, 22, где служили упоминаемые далее автором декабристы-моряки (14 декабря 1990 г. на здании открыта мемориальная доска). В доме Рогинского была последняя петербургская квартира А. А. Шаховского, уехавшего в 1837 г. в Москву (Шубин, Файбисович, С. 154, 155).

216 Восстание декабристов: Материалы. М.; Л., 1927. Т. 3. С. 263.

217 Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850. СПб., 1882. С. 233.

218 Згура В. В. Проблемы и памятники, связанные с В. И. Баженовым. М., 1928.

219 * Речь идет о церкви Рождества св. Иоанна Предтечи (1770-е гг.) на Каменном острове (Каменноостровский пр., 7). Предположительное авторство Ю. М. Фельтена указывается и в краеведческих изданиях 1930-х гг. (см., напр.: Ленинград: Путеводитель. М.; Л., 1931. С. 274). В настоящее время оно не подвергается сомнениям (Коршунова М. Ф. Юрий Фельтен. Л., 1988. С. 94, 95).

220 Северная пчела. 1883. № 288. 15 декабря.

221 Петров П. Н. История Санкт-Петербурга... СПб., 1885. С. 237, раздел примечаний. Сообщаемые табелями и указателями города первой четверти XIX века сведения о владельцах этого участка не вполне точны.

222 С П б В, 1805. № 6. 20 января, № 41. 23 мая.

223 Отчет Императорской Академии художеств за 1844—1845 академический год. СПб., 1845. С. 23. Надворные постройки подверглись изменению в 1889 г. по проекту архитектора Нагеля (Неделя строителя. 1889. № 3).

224 С П б В, 1823. № 99. 11 декабря. * Согласно разысканиям Н. Н. Фокина (Фокин 1962, С. 545, 546), В. А. Всеволожский жил в другом доме (пр. Римского-Корсакова, 35), приобретенном на имя его гражданской жены Е. М. Хованской.

225 * К 1818 г., когда В. А. Всеволожский поселился с Е. М. Хованской в Петербурге в только что приобретенном доме у Никольского собора, его сын Никита уже жил в столице и, как свидетельствуют его письма и анализ сложившихся семейных отношений, он воздержался от переезда к отцу. Квартира Никиты Всеволожского находилась поблизости — Театральная пл., дом Паульсона (теперь д. 8). Трехэтажное в те времена, это здание значительно перестроено в 1902 г. (Шубин В. Где же собиралась «Зеленая лампа»? // Лит. Россия. 1984. 1 июня. С. 24; Аллер 1822, С. 81; Ц Г И А Л, Ф. 513, оп. 102, № 3276). В 1989 г. сюда перенесена мемориальная доска, посвященная Пушкину и кружку «Зеленая лампа», находившаяся прежде на

фасаде д. 35 по пр. Римского-Корсакова, а до разысканий Н. Н. Фокина (см. прим. 224) на фасаде указанного Яцевичем д. 39.

226 * Деятельность «Зеленой лампы» относят к 1819—1820 гг., когда Грибоедова в Петербурге не было. Упомянутый Я. Н. Толстой, председатель «Зеленой лампы», был известен, скорее, как театральный критик, поэт и переводчик, чем «философ и политик».

227 * Сохранилась купчая на приобретение этого дома в августе 1799 г. у «архитектора Тромбара супруги» Иваном Вальхом, который в действительности был «столярного немецкого цеха мастер» (Ц Г И А Л, Ф. 754, оп. 5. № 28, л. 1—1 об; см. также: Ф. 781. оп. 4, № 81, л. 10; Р е й м е р с, Т. 1. С. 25, список владельцев домов).

228 Бегичев по приезде в Петербург действительно жил вместе с Грибоедовым (Русский вестник. 1892. № 8. С. 311. * То же: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 25).

229 Дом в конце концов не выдержал новых надстроек и дал трещины. Летом 1928 г. тут пришлось спешно снести два верхних этажа. В 1933 г. под дом подвели новый фундамент и заменили в двух нижних этажах кладку.

230 * См. прим. 88.

231 Автор «Записок русской артистки» (А. Е. Асенкова — см.: Литературное наследство. М., 1934. Т. 16—18. С. 646) сообщает, что Грибоедов, «написавший уже свою неподражаемую комедию... жил на одной лестнице с князем А. А. Шаховским и потому бывал у него чаще других» (Картины прошедшего: Записки русской артистки // Театральный и музыкальный вестник. 1857. № 51. С. 723). Однако других сведений, подтверждающих проживание Грибоедова и Шаховского в одном доме, не имеется. Не относится ли это известие к первому периоду пребывания Грибоедова в Петербурге, когда он действительно жил, так же как и Шаховской, на Средней Подьяческой (*см. прим. 242), отделенный от князя всего лишь несколькими домами? (* К этой версии склоняется и современный биограф, имея, однако, в виду, что в середине 1810-х гг. А. А. Шаховской жил в не сохранившемся до нашего времени доме Лефебра на Офицерской ул., нынешней ул. Декабристов. См.: Ф о м и ч е в С. А. Грибоедов в Петербурге. Л., 1982. С. 12) В 1826 г., выпущенный из-под ареста после следствия по делу «14 декабря», Грибоедов жил одно время на даче у Булгарина на Выборгской стороне на берегу Малой Невки, в деревянном доме, «почти супротив аптекарского сада» (Современник. 1925. № 1. С. 135). * Дача Ф. В. Булгарина, где бывали также К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев, находилась на уч-ке д. 49 по пр. Карла Маркса (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 151).

232 * Здесь жил сенатор А. А. Столыпин, кандитатуру которого декабристы рассматривали в планах формирования Временного правительства. На одном из обедов Столыпина Грибоедов читал «Горе от ума» (Ф о м и ч е в С. А. Грибоедов в Петербурге. Л., 1982. С. 66, 82).

233 * Одоевский отбывал каторгу в Читинском остроге и Петровском заводе (Декабристы).

[234] Р о з е н А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907. С. 243.

[235] Исторический вестник. 1882. № 3. С. 122—124 **. Долго не удавалось разыскать этот дом Н. В. Арсеньева, стоявший, по рассказу Лонгинова, в Коломне, за Никольским мостом. Найти его мне помогла помещенная в «СПБ Ведомостях» от 11 октября 1832 г. (№ 240) публикация вновь открытой тогда больницы для умалишенных на Петергофской дороге, сообщавшей, что «желающие поместить больных в больницу должны обращаться к попечителю ее, генерал-майору Никите Васильевичу Арсеньеву, жительствующему в собственном доме 4-й Адмиралтейской части, 1 квартал, № 18». Н. В. Арсеньев владел в то же время на Екатерининском канале на углу Гороховой ул., у Каменного моста другим большим домом.

[236] * Московский пр., 17. Здесь в первой половине 1820-х гг. преподавал и жил на служебной квартире П. А. Плетнев, на литературных «субботах» которого бывали А. А. Дельвиг, Ф. Н. Глинка, Е. А. Баратынский, К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев и др. (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 158).

[237] Ежегодник Общества архитекторов-художников. [СПб.], 1913. Вып. 8. С. 81.

[238] Дом несколько переделан в 1850 г. До перестройки оба дома между улицей Глинки и Крюковым каналом являли собою как бы одно здание, украшенное тремя фронтонами. Корпус на Крюков канал, где долгое время жил И. И. Сосницкий, устоял до нашего времени без перемен. * Современный адрес дома Анненковой — Театральная пл., 16. Соседний дом, Театральная пл., 18 — единственная постройка на площади, сохранившая внешний облик с той поры. В 1818—1822 гг. здесь жил Ф. Н. Глинка (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 152—153).

[239] * Последние годы жизни А. И. Истоминой прошли в собственном доме на Итальянской ул. (ул. Ракова, 15). После ее смерти в 1848 г. домом владел ее муж, драматический актер П. Экунин (который, вопреки утверждению Яцевича, был моложе ее всего на несколько лет). В 1879 г. дом значительно перестроен (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 152).

[240] Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. Пб., 1924. С. 128. * Захарьевская ул., на которой жил Дубельт, в 1923 г. переименована в ул. Каляева.

[241] Голос минувшего. 1913. № 3. С. 128, 129.

[242] * Как установил позднее Н. Н. Фокин, дом Клеопина, в котором квартировал А. А. Шаховской, находился на Малой (а не на Средней) Подьяческой. Теперь это д. 12 (Ф о к и н 1 9 6 2, С. 543, 544). Обращение к архивным материалам подтвердило расчеты Н. Н. Фокина и позволило уточнить местоположение квартиры — 2-й этаж (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 154).

[243] * Дом Кусовниковой (пл. Декабристов, уч-к д. 3) снесен в 1830 г. в связи со строительством на его месте здания Синода. В том же доме в середине 1820-х гг. жил И. М. Муравьев-Апостол, писатель и дипломат, отец троих братьев декабристов (Э й д е л ь м а н Н. Я.

К биографии С. И. Муравьева-Апостола // Исторические записки. М., 1975. Т. 96. С. 269).

244 * Каторгу Щепин-Ростовский отбывал в Читинском остроге и Петровском заводе (Декабристы).

245 Пьесы художественного репертуара и постановки их на сцене. СПб., 1905. Вып. 2. С. 155; Красная нива. 1929. № 7. С. 12.

246 * Теперь ул. Декабристов.

247 Благонамеренный. 1822. Ч. 20. С. 29.

248 * Дом варварски переделан в 1870 и 1880 гг., не сохранив никаких следов первоначальной отделки.

249 * Теперь пер. носит имя И. А. Крылова, работавшего поблизости в Публичной библиотеке и жившего в одном из соседних домов (Садовая ул., 20 — см. прим. 61).

250 Русский альманах на 1832 и 1833 годы. СПб., 1832. С. 293.

251 Русский архив. 1905. № 10. С. 255; Щукинский сборник. М., 1905. Вып. 4. С. 268.

252 В 1855 г. на лицевом корпусе надстроили по проекту архитектора Ланге три этажа, превратив небольшое строение в многоэтажный доходный дом.

253 * Теперь пр. Майорова.

254 * Судя по отчеству жены Греча (Варвара Даниловна), она не могла доводиться дочерью Александру Мюссару (Черейский).

255 Восстание декабристов: Материалы. М.; Л., 1925. Т. 1. С. 339.

256 Утренники. 1922. Кн. 2. С. 71.

257 [П. А. Кулиш]. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя... СПб., 1856. Т. 1. С. 67 * Поблизости от гостиницы «Неаполь» находилась Вознесенская церковь (снесена в 1936 г., занимала уч-к д. 34-а по пр. Майорова). В этой церкви был крещен декабрист Н. Муравьев, родившийся 9 сентября 1795 г., по-видимому, в доме своего деда, сенатора Ф. М. Колокольцова — пр. Майорова, 36. Дом Колокольцовых изменен позднейшими перестройками (Дружинин Н. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. С. 292; Шубин В. Ф. О датах рождения декабристов Н. М. Муравьева и С. И. Муравьева-Апостола // Сов. архивы. 1986. № 4. С. 72—73; ЦГИАЛ, Ф. 513, оп. 102, № 9660).

258 * С 1952 г. — пер. Бринько.

259 * Ул. Коммунаров, 4.

260 О Теппере см. СПбВ, 1824. № 35. 29 апреля; Отечественные записки. Т. 24. С. 470 **; Общий обзор деятельности... С.-Петербургского филармонического общества Составил Евгений Альбрехт. СПб., 1884. С. 65; Переписка Я. К. Грота с Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 693, 694; Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1896. Т. 98. С. 47; Пушкин, его лицейские товарищи и наставники: Статьи и материалы Я. Грота. СПб., 1899. С. 233; Голос минувшего. 1913. № 4. С. 130; Пущин И. И. За-

писки о Пушкине и письма. М., Л., 1927. С. 73 * То же: П у щ и н И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988. С. 55. О новоселье типографии Воейкова см: П а н а е в И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 107—110.

261 Северная пчела. 1833. № 92. 27 апреля. * Спасский пер. — теперь ул. Петра Алексеева.

262 * Название проспекта — Невский — было восстановлено в 1944 г.

263 «Это шедевр архитектуры,» — писал об этом здании Христиан Мюллер (Tableau de Pétersbourg, ou lettres sur la Russie, écrites en 1810, 1811 et 1812 par D. Chretien Muller. Paris, 1814. P. 13; Coup d'oeil sur St-Pétersbourg. Par M. J. C. Paris, 1821. P. 31). Любопытные сведения о иезуитском доме сохранились в переписке де Местра (M a i s t r e J. de. Oeuvres Complètes. Lyon, 1886. XIII **. См. также: Memoirs of John Quincy Adams. Philadelphia, 1874. Vol. 2. P. 159, 239, 269). Старожилы этого дома передают о существовании и поныне подземного хода, соединяющего б. иезуитский дом с расположенной по соседству католической церковью на пр. 25 Октября.

264 Полное собрание законов Российской империи. 1815—1816. СПб., 1830. Т. 33. С. 855 (№ 26284).

265 L u t t e r o t h H. [Н. Тургенев]. La Russie et les jésuites. Paris, 1845. P. 63; T o l s t o y D. Le catholicisme romain en Russie. Paris, 1864. Vol. 2. P. 203.

266 Новейший путеводитель по Санктпетербургу... Изданный Ф. Шредером. СПб., 1820 С. 167—168.

267 Н и с т р е м 1 8 3 7, С. 1258.

268 * После революции переименованы в пл. и ул. Лассаля, с 1940 г. — пл. Искусств и ул. Бродского.

269 Небезынтересное описание дворца помещено в «Отечественных записках» за 1825 г. (Ч. 24. С. 144—148). * В гостиной великой княгини Елены Павловны (жены Михаила Павловича) бывал Пушкин (лит. см.: Ч е р е й с к и й).

270 В. П. Шереметева в своем дневнике записала, что все в этом дворце сделано в России (Дневник Варвары Петровны Шереметевой, урожденной Алмазовой. 1825—1826 гг. М., 1916. С. 47).

271 S c h e n k e n b e r g K. Die kaizerlich-russische Haupt- und Residenzstadt St. Petersburg und deren Umgegenden. St. Petersburg, 1840. S. 207.

272 * Теперь Театр оперы и балета им. М. Мусоргского, пл. Искусств, 1.

273 Thieme U. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Leipzig, 1914. Bd. 10.

274 Северная пчела. 1834. № 173. 2 августа.

275 С П б В, 1830. № 165. 11 июля; С П б В, 1832. № 123. 27 мая. Сведения, помещенные в «Русском архиве» за 1901 г. (№ 2. С. 435 **), не совсем точны.

[276] Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 245—275. * К адресу Виельгорских в доме Яковлева см.: Нистрем 1837, С. 46; Нистрем 1844, Т. 2. С. 2; Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 600. О «Бродячей собаке» см.: Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры: Новые открытия. 1983. Л., 1985. С. 160—257; Перц В. Г. Прибежище талантов // Нева. 1983. № 3. С. 192—196; Перц В., Пирютко Ю. Клуб художников, артистов и поэтов // Декоративное искусство СССР. 1983. № 11. С. 29—34.

[277] Travels in Norway, Sweden, Finland, Russia and Turkey. By George Matthew Jones. London, 1827. Vol. 1. P. 466; Северная пчела. 1829. N 151; Granville A. B. Guide to St. Petersburg. London, 1835. Vol. 2. P. 164). * В доме Жербина Свиньин поселился не позже второй половины 1820-х гг. В 1828 г. ему адресовались сюда письма (Г П Б, Ф. 679, № 61). До этого, согласно адресным книгам, он занимал квартиру в доме Алекина — ул. Толмачева, 16 (Аллер 1822, С. 402; Ц Г И А Л, Ф. 513, оп. 102, № 9782) и в доме Фролова — ул. Толмачева, 18 (Аллер 1824; Ц Г И А Л, Ф. 513, оп. 102, № 9783). Оба здания перестроены.

[278] * В 1830-х гг. здесь же снимали квартиры П. А. Вяземский (осень 1835 — осень 1836 гг.) и И. И. Козлов (не позже 1833 г.) (Фокин, рук.).

[279] Проект нового здания Санктпетербургской городской думы на Михайловской площади. СПб., 1910; Зодчий. 1915. № 4. С. 33—38; № 5. С. 49—55; Архитектурно-художественный еженедельник. 1915. № 34. С. 399; Ежегодник Общества архитекторов-художников. Л., 1927. Вып. 12. С. 4.

[280] * Осуществлена в 1938 г. по проекту архитектора Н. Троцкого.

[281] * В 1944 г. улице возвращено название Садовая.

[282] Зодчий. 1885. № 1—2. С. 1, 2; Отечественные записки. 1827. Ч. 32. № 90. С. 133.

[283] Как указывает В. Мушников (Мушников В. Ф. Из литературного прошлого: Материал для экскурсий по Ленинграду. М.; Л., 1927. С. 44), Лермонтов написал также здесь свое известное стихотворение «Журналист, читатель и писатель». Но черновой автограф этого стихотворения носит пометку поэта: «С. Петербург. 21 марта 1840 г. под арестом на Арсенальной гауптвахте». Оно, следовательно, написано уже после перевода Лермонтова 17 марта 1840 г. из ордонанс-гауза на Арсенальную гауптвахту (потом спб. гильзовый завод) на Литейном проспекте.

[284] Другая подпись на проекте гласит: «На подлинном написано: 1831 г. Арх. Болотов». Не возводил ли самое здание, в таком случае, Андрей Михайлович Болотов (1801—1854), еще в середине двадцатых годов определенный в комиссию по постройке (тут же по соседству) нового здания спб. ордонанс-гауза?

[285] Виельгорские владели домами в Петербурге еще в 1797 г. (Старина и новизна. 1913. Кн. 16. С. 52, Дневник Сестренцевича). По-

том им принадлежал дом на Мойке, связанный с именами Д. Веневитинова и Лермонтова (* см. главу двенадцатую наст. изд.). На 17 версте Петергофской дороги Виельгорским в описываемое время принадлежала дача «Павлино», построенная арх. Кудиновым.

286 Mémoires de Hector Berlioz. Paris, 1887. Vol. 2. P. 272.

287 Следует отметить, что кондитерская Кочкурова на Михайловской площади, всегда переполненная посетителями, служила удобным местом встреч революционеров. Когда было решено убить шефа жандармов и начальника III Отделения Мезенцова, одного из главных виновников преследований и издевательств над политическими преступниками, террористический акт был совершен 4 августа 1878 г. у кондитерской Кочкурова. Нанесший Мезенцову смертельный удар кинжалом Кравчинский-Степняк, вместе с товарищем его Баранниковым, выстрелившим в сделавшего попытку их задержать полковника Макарова, выскочили в запряженные вороным рысаком дрожки и скрылись по Садовой улице. Умчавший их рысак был знаменитый «Варвар», участвовавший также в известном бегстве Кропоткина.

288 * В следственных документах по делу декабристов упоминается дом Лазарева в 3-й Адмиралтейской части, № 28, как адрес А. О. Корниловича (П у ш к и н Б. Арест декабристов // Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. С. 394). Однако на территории 3-й Адмиралтейской части Лазареву принадлежал дом № 38 (А л л е р 1 8 2 2, С. 19), о котором пишет Яцевич. Судя по всему, в нем и жил известный литератор и историк.

289 * В 1946 г. на площади был перепланирован сквер, а в 1957-м установлен памятник А. С. Пушкину (скульптор М. Аникушин, архитектор В. Петров).

290 * Название Казанская было восстановлено в 1944 г.

291 * В доме Трута (кан. Грибоедова, 72; перестроен в 1907 г.) Гоголь, по-видимому, прожил лишь несколько дней, перебравшись в дом Галибина на Гороховой ул. (ул. Дзержинского, 46; перестроен). Оттуда не позже апреля 1829 г. он переехал в дом Иохима (Г о г о л ь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1940. Т. 10. С. 137, 145, 417; Ф о к и н, р у к.).

292 Новейший путеводитель по Санктпетербургу... изданный Ф. Шредером. СПб., 1820. С. 33.

293 В списке отъезжающих за границу значится «Николай Гоголь-Яновский, дворянин, Российский подданный; спросить 2 Адмиралтейской части в доме каретного фабриканта Иохима» (С П б В, 1829. № 159. 5 июля, № 162. 9 июля № 165. 12 июля). В 1851 г. дом этот еще принадлежал каретному мастеру Иохиму (очевидно, сыну основателя фирмы, так как Иоганн Альберт Иохим умер в 1834 г., 72 лет). В 1854 г. домом владели уже «наследники И.-А. Иохима».

294 * Три последних абзаца содержат ряд неточностей. Службу в департаменте Гоголь начал в ноябре 1829 г. после неудачной попытки поступить в труппу Александринского театра. В доме Иохима он

прожил несколько месяцев, а не лет. Мицкевич же поселился в этом доме не в 1829 г., а в 1828-м (см. также прим. 295), о чем напоминает и мемориальная доска, установленная в 1955 г.

295 Mickiewicz W. Zywot Adama Mickiewicza. Poznań, 1890. Т. 1. S. 297. * В первый приезд в Петербург (ноябрь 1824 — январь 1825 гг.) Мицкевич некоторое время, по-видимому, жил в гостинице «Лондон», находившейся на месте д. 1 по Невскому пр. (Ципринус [Пшецлавский (Пржецлавский) О. А.] Калейдоскоп воспоминаний. М., 1874. Вып. 1. С. 7). В последний приезд (1828-1829 гг.) он поселился в доме Иохима — ул. Плеханова, 39 (Беккер И. Мицкевич в Петербурге. Л., 1955. С. 40; Ципринус. Калейдоскоп воспоминаний, С. 5).

296 Погодин А. Л. Адам Мицкевич: Его жизнь и творчество. М., 1912. Т. 2. С. 76.

297 СПбВ, 1829. № 99. 26 апреля, № 102. 30 апреля, № 105. 3 мая.

298 Искусство в южной России. Киев, 1913. № 1. С. 1—30. * О Тропинине см. также современную монографию: Амшинская А. М. В. А. Тропинин. М., 1976.

299 * См. прим. 258.

300 Щеголев П. Е. Алексеевский равелин: Книга о падении и величии человека. М., 1929. С. 25—28.

301 * См. прим. 88.

302 СПбВ, 1833. № 223. 23 сентября.

303 * Щеголев П. Е. Квартирная тяжба Пушкина // Красная нива. 1929. № 24. С. 7—9.

304 Старые годы. 1910. Кн. 7—9. С. 154; Столица и усадьба. 1916. № 52. С. 12—13; Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. [Л.], С. 147.

305 Memoirs of John Quincy Adams. Philadelphia, 1874. Vol. 2. P. 141.

306 * О топографических реалиях «Пиковой дамы» см.: Виленчик Б. Я. Путешествие с «Пиковой дамой» // Нева. 1987. № 6. С. 192—195.

307 Красный архив. 1930. Т. 1 (38). С. 129.

308 Отчет Императорской Академии художеств за 1839—1840 академический год. [СПб., 1840.] С. 18. См. также статью «Дом для военного министра» в «Художественной газете» (1841. № 5—6).

309 * Литейный пр., 42.

310 [Peltchinsky W.] Systeme de legislation, d'administration et de politique de la Russie. Paris, 1845. P. 129.

311 Souvenirs du baron de Barante. Paris, 1895. Vol. 5. P. 354.

312 Северная пчела. 1833. № 58. 14 марта; Там же, 1857. № 265. 2 декабря.

313 W e l p T. Petersburger Skizzen. Leipzig, 1842. Bd. 1. S. 59; J u l i e n St. Guide du voyageur à St-Petersbourg. St-Pétersbourg, 1840. P. 84; Mémoires d'Auger. Paris, 1891. P. 538.

314 А м м о с о в А. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. СПб., 1863. С. 5. (* То же: П В С, Т. 2. С. 364); Русский архив. 1865. С. 751; Русская старина. 1880. Т. 28. С. 90.

315 * Дополнительные сведения удалось найти при обращении к архивам. Выяснилось, что чиновник Густав Брунс владел д. 153 по Офицерской ул. , теперь — д. 4 по ул. Декабристов (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 149, 150; Ш у б и н Вл. «Квартира моя... в доме Брунста» // Нева. 1982. № 12. С. 192—194).

316 По сообщению М. Пыляева (П ы л я е в М. Старый Петербург. [СПб., 1903] С. 282. * см. репринт. изд.: М., 1990), дом этот построен в 1830 г. На самом деле он закончен был в 1827 г. (С П б В, 1827. № 12. 11 февраля, № 47. 14 июня). Здание это сразу обратило на себя внимание. «Сей дом должен почесться огромнейшим из всех частных домов», — сообщали «Отечественные Записки» в 1826 г.

317 * Столярный пер. с 1950 г. называется ул. Пржевальского.

318 * Современное название Нового пер. — пер. Антоненко. Хозяином дома был знаменитый скульптор В. И. Демут-Малиновский (ЦГИАЛ, Ф. 781, оп. 4, № 77, л. 50).

319 Исторический вестник. 1910. Т. 120. Апрель. Раздел 25. С. 399, 400; Красная вечерняя газета. 1927. 2 декабря; М у ш н и к о в В. Ф. Из литературного прошлого: Материалы для экскурсий по Ленинграду. М.; Л., 1927. С. 45.

320 * В тексте мемориальной доски, заново установленной в 1963 г., эта ошибка исправлена.

321 Со слов товарищей Гоголя Данилевского и художника Мокрицкого в литературе встречаются указания на дом Модераха на Малой Морской ул., как на место проживания в Петербурге Гоголя. Однако ни в одном указателе Петербурга за время с 1823 по 1849 гг. среди петербургских домовладельцев не встречается имя Модераха.

322 История Императорского Вольно-экономического общества с 1765 до 1865 года / Составлена... А. И. Ходневым. СПб., 1865. С. 512— 524; Зодчий. 1903. № 50. С. 589, 1904. № 6. С. 63—66, № 7. С. 73—76. Эта работа Деламота не отмечена И. Грабарем в его «Истории русского искусства» при перечислении петербургских построек французского архитектора. Не упоминает имени строителя здания и П. Столпянский в своем «Адмиралтейском острове» (полн. назв. см. прим. 335), где автор подробно сообщает бытовую историю дома.

323 * О деятельности этой ложи и ее месте в движении декабристов см.: Б а з а н о в В. Г. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949. С. 77—100.

324 С П б В, 1815. № 5. 15 января.

325 C a u t i e r P. Madame de Staël et Napoleon. Paris, 1903. P. 1.

326 С П б В, 1812. № 65. 13 августа; № 66. 16 августа; № 67. 20 августа.

327 Memoris of John Quincy Adams. Philadelphia, 1874. Vol. 2. P. 399.

328 Зодчий. 1910. № 46. С. 455; Аполлон. 1912. № 5. С. 72 **. * Современные авторы указывают на авторство Ван-дер-Гюхта (см., напр.: Ленинград: Путеводитель. Л., 1988. С. 113; Ч е с н о к о в а А. Н. Невский проспект. Л., 1985. С. 58).

329 * До 1985 г. воспоминания Ф. Глинки печатались по первой публикации (Русский архив. 1866. № 6. С. 917—922) с купюрами и искажениями. В соответствии с принципами настоящего издания (см. преамбулу к наст. разделу) цитируемый фрагмент исправлен по: П В С, Т. 1 С. 212—213.

330 Для исследователей русских частных галерей начала XIX века небезынтересно описание обстановки Милорадовича в современной публикации (С П б В, 1830. № 270. 11 ноября; № 291. 5 декабря). * На Морской (ныне ул. Герцена) Милорадович поселился в д. 38 (по современной нумерации). Об истории этого здания см.: Б р о й т м а н Л. И. Жизнь в трех столетиях // Ленинградская панорама. 1986. № 2. С. 36—38.

331 C r o l l a l a n z a G. B. Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobile e notabile italiane. Risa, 1886. P. 200.

332 H u g o V. Histoire d'un crime. Paris, 1877. P. 305 **.

333 В и н о г р а д о в А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928. С. 83, 126.

334 Литературные листки. 1824. № 6. С. 217; Северная пчела. 1833. № 276—278. 4 декабря; G r a n v i l l e A. B. Guide to St. Petersburgh. London, 1835. Vol. 2. P. 420.

335 Journal intime du chevalier de Corberon. Paris, 1901. Vol. 1. P. 201.

Однако, по сообщению П. Столпянского, покои в. кн. Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны выходили на Невский пр. (С т о л п я н с к и й П. Н. Старый Петербург. Адмиралтейский остров. Сад трудящихся: Историко-художественный очерк. М.; Пг., 1923. С. 92—95).

336 Д е р ж а в и н Г. Р. Соч. : В 9 т. СПб., 1871. Т. 6. С. 428.

337 Каторга и ссылка. 1926. Т. 4 (25). С. 98.

338 В «Записках о моей жизни» Н. Греча, изданных «Academia» в 1930 г., совершенно неверно указано в примечаниях (С. 593), что дом Косиковского — это здание под № 70 на Загородном пр., на углу Бронницкой ул. * О проживании Н. И. Греча в доме Косиковского на углу Невского пр. и Большой Морской ул. свидетельствуют и адресные книги (А л л е р 1 8 2 2, С. 380; А л л е р 1 8 2 4). До переезда в дом Косиковского Греч жил поблизости, в доме купца Антонова на Большой Морской — ул. Герцена, 13; здание перестроено в конце XIX века (Г р е ч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 774; Ц Г И А Л, ф. 513, оп. 102, № 99).

[339] С П б В, 1812. № 103. 24 декабря, № 104. 27 декабря, № 105. 31 декабря.

[340] Курбатов В. О красоте городов (Петроград в XVIII и XIX веках) // Виды Петрограда и его окрестностей: Каталог выставки. [Пг.], 1919. С. 21.

[341] Столпянский П. Н. Город Санкт-Питер-Бурх ныне Ленинград: Путеводитель. Л., 1927. С. 160. * Позднее было установлено имя архитектора этого здания — В. П. Стасов, уточнены и годы его постройки — 1814—1817 (Памятники, С. 92).

[342] * В 1945 г., когда отмечалось 150-летие со дня рождения драматурга, на фасаде д. 14 по ул. Герцена была открыта мемориальная доска.

[343] * Лоджии воссозданы при недавнем капитальном ремонте (1978—1981 гг.). Автором проекта, по которому была осуществлена перестройка этого старинного здания в 1812—1816 гг., считается В. П. Стасов (Памятники, С. 92).

[344] * В военных действиях 1806-1807 гг. Булгарин, выпускник Первого кадетского корпуса (1806 г.), участвовал на стороне русских войск. После увольнения со службы в 1811 г. он бежал в Варшаву и определился в польскую армию Наполеона, в составе которой участвовал в походах в Испанию и Россию. Дослужился до капитана и получил орден Почетного легиона. С 1819 г. жил вновь в Петербурге (Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.: По подлинным документам Третьего отделения... СПб., 1908. С. 232; Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 347—351). В доме Котомина Булгарин поселился не позже 1822 г. (Благонамеренный. 1822. № 43. С. 154) и оставался до конца 1824 г., когда перебрался на Офицерскую ул., в дом Струговщикова, ныне ул. Декабристов, 3 (Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 46).

[345] Литературные листки. 1824. № 6 С. 255.

[346] Russlands inneres Leben. Braunschweig, 1846. Bd. 2. S. 172.

[347] Welp T. Petersburger Skizzen. Leipzig, 1842. Bd. 3. S. 184.

[348] Иллюстрация. 1847. № 48 (Т. 5. № 132). С. 380.

[349] Красный архив. 1931. Т. 1. (45). С. 137. 9 января 1905 г. выбежавшие из двора бывшего котоминского дома солдаты л.-гв. Егерского полка открыли стрельбу по толпе демонстрантов, собравшихся у Полицейского моста (Каторга и ссылка. 1932. № 1 (86). С. 158). * В настоящее время в помещении бывшей кондитерской работает кафе «Литературное», часть 1-го этажа занимает антикварно-букинистический магазин. Попутно отметим находившиеся поблизости дома: Невский пр., 17 — салон Строгановых, где бывали многие выдающиеся деятели искусства; здание школы № 222 за Лютеранской церковью (Невский пр. 22—24) — Училище св. Петра, в котором преподавали И. М. Борн, В. В. Попугаев, воспитывались К. И. Росси, поэт В. И. Туманский, декабристы А. Ф. Бриггеи, А. А. Крюков, М. А. Фонвизин и др.

350 Г е л ь б и г Г. фон. Русские избранники. Берлин. 1900. С. 359—360.

351 Зодчий. 1885. № 1—2. С. 1,2; Историческая выставка архитектуры. СПб., 1911. С. 58; К у р б а т о в В. Петербург. СПб., 1913. С. 393.

352 Литературные прибавления к Русскому инвалиду. 1836. № 21. 11 марта. * Современники упоминали и о завтраках литераторов у Сленина. Двоюродный брат А. А. Дельвига вспоминал: «Дельвиг... и я... бывали в лавке Сленина каждый день и иногда у него завтракали» (П В С, Т. 2. С. 133). Представление о меню можно получить из письма А. Е. Измайлова, сообщавшего в августе 1825 г. своему племяннику: «С Дельвигом виделся в среду в лавке Сленина; пили вместе пенник и закусили ржаным пирогом с луком» (Д е л ь в и г А. А. Полн. собр. стих. Л., 1934. С. 61).

353 Северная пчела. 1857. № 218. 7 октября. * В современной литературе адрес лавки Сленина после переезда из дома Энгельгардта (Невский пр., 27) указывается неверно. Дом Имзена в действительности находился на месте Дома книги — Невский пр., 28 (А л л е р 1 8 2 2, С. 657; Н и с т р е м 1 8 4 4, Т. 1. С. 14, 23; Ф о к и н, р у к.).

354 В 1845 г. в дом Энгельгардта была переведена книжная лавка Смирдина, о чем известила своих читателей «Иллюстрация», поместившая рисунок, изображающий Смирдина за продажею книг (Иллюстрация. 1845. С. 47). Рисунок этот остался неизвестен авторам обильно иллюстрированной интересной книги «Словесность и коммерция» (М., 1929), посвященной книгоиздательской деятельности Смирдина.

355 S t o r c h H. Gemahlde von St. Petersburg. Riga, 1794. Bd. 2. S. 341; Zeichnungen eines Gemahldes von Russland. Moskau und St. Petersburg, 1798. S. 215; M e e r m a n n J. Reise durch den Norden und Nordosten... Weimar, 1810. S. 175; Д м и т р и е в И. Соч. СПб., 1893. Т. 1. С. 159 (* То же: Д м и т р и е в И. И. Соч. М., 1986. С. 45,46).

356 Русская старина. 1874. Т. 11. С. 469; Северная пчела. 1833. № 57. 13 марта **, 1834. № 269. 26 ноября **. * См.: Прибавления к «Северной пчеле». 1834. № 7. 25 ноября.

357 * На одном из концертов в доме Энгельгардта И. С. Тургенев, тогда студент университета, видел Пушкина — «за несколько дней до его смерти» (Т у р г е н е в И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. М.; Л., 1967. Т. 14. С. 13). В 1838 г. здесь отмечалось 50-летие литературной деятельности И. А. Крылова (И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 292).

358 * Иные даты строительства сообщает современная литература: церковь — 1771—1780, д. 42 — 1771—1775, д. 40 — 1790-е гг. (П а м я т н и к и, С. 94).

359 * Дом Неплюева находился на углу наб. Фонтанки и Сергиевской ул. (теперь ул. Чайковского, 1). В 1835 г. он был объединен общим фасадом с соседним домом (современный адрес — наб. Фонтанки, 6). Сперанский поселился здесь в 1821 г. Летом и осенью 1822 г. в его

квартире жил Г. С. Батеньков (А л л е р 1 8 2 2, С. 85, 404; Восстание декабристов: Документы. [М.], 1976, Т. 14. С. 141, 142).

[360] * С точки зрения современного исследователя, Сперанский, сочувствуя декабризму, проявлял крайнюю осторожность — «следил за происходившим, умел в нужной форме сообщить декабристам необходимые им сведения и... выжидал» (С е м е н о в а А. В. Временное правительство в планах декабристов. М., 1982. С. 17—60).

[361] * В 1830-х гг. (не раньше 1836-го) Сперанский и его дочь переехали в дом Лыткина на Фонтанке — теперь д. 51—53, сохранившийся в надстроенном виде (Н и с т р е м 1 8 3 7, С. 167, 184; Ц Г И А Л, Ф. 513, оп. 102, № 9933).

[362] Н и с т р е м 1 8 3 7, С. 209. * Здесь указан адрес Геккерена до переезда в дом Влодеков: Невский пр., 63, д. Голицыной. Теперь это д. 60 по Невскому пр.

[363] С П б В, 1837. № 69. 27 марта, № 71. 30 марта, № 73. 1 апреля, № 75. 3 апреля.

[364] Эти же сведения сообщал П. А. Вяземский в письме к Э. К. Мусиной-Пушкиной (Старина и новизна. 1900. Кн. 3. С. 345). Мне, однако, не пришлось встретить в объявлениях того времени следов публикаций Геккерена о продаже с аукционного торга принадлежавшего ему имущества.

[365] * Теперь Малая Садовая ул.

[366] Надлежит здесь отметить одну газетную публикацию, устанавливающую петербургский адрес И. С. Тургенева, неизвестный, насколько я знаю, его биографам. В числе отъезжающих за границу в 1822 г. значится «Сергей Николаевич Тургенев, отставной Полковник, с супругою Варварою Петровною, малолетними сыновьями: Николаем и Иваном, с отставным штаб-ротмистром Николаем Николаевичем Тургеневым и дворянином Иваном Богдановичем фон-Барановым, дерптским уроженцем; при них крепостные люди... спросить по Фурштадтской улице в доме Эльтекова под № 619» (С П б В, 1822. № 40, 19 мая). Дом купца Эльтекова стоял в конце Фурштадтской ул. (ныне ул. Петра Лаврова), по левую сторону, за Воскресенским пр. * Об этом приезде семьи Тургеневых в Петербург см.: Б я л ы й Г. А., М у р а т о в А. Б. Тургенев в Петербурге. Л., 1970. С. 12. Попутно отметим несколько адресов вблизи д. 54 по Невскому пр.: Малая Садовая, 4 — здесь в конце 1820-х гг. жил И. И. Козлов (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 158); Невский пр., 60 — домом владел литератор и дипломат С. П. Румянцев (А л л е р 1 8 2 2, С. 19, 294; А л л е р 1 8 2 4; лит. о Румянцеве см.: Ч е р е й с к и й), в 1844—1845 гг., когда дом находился во владении В. С. Голицыной, в нем жил П. А. Вяземский (Памятники культуры: Новые открытия. 1979. Л., 1980. С. 47; И Р Л И, Ф. 324, оп. 1, № 95). Оба здания перестроены (ЦГИАД, Ф. 513, оп. 102, № 9714 и № 9817).

[367] * С 1919 г. — ул. Толмачева.

[368] * Из дома Меншикова в 1826 г. Жуковский, воспитатель наследника престола, переехал не в Аничков, а в Зимний дворец. Его

квартира находилась в Шепелевском доме, снесенном в 1840-х гг. при строительстве здания Нового Эрмитажа — ул. Халтурина, 35 (Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л., 1976. С. 215—221). Об адресах Жуковского см. также: Шубин В. Ф. О памятных местах Жуковского в Ленинграде // Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 484—486.

369 * Письмо Тургеневу было написано по горячим следам событий 14 декабря. Однако по мере того, как вырисовывалась картина заговора, Жуковский с большей взвешенностью оценивал происшедшее. Известны и его попытки заступничества за осужденных (Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л., 1976. С. 205—211).

370 * Дом, который занимал О. И. Сенковский, действительно, был последним по нынешней нечетной стороне Почтамтской ул. Однако за ним находился небольшой сад, на месте которого в 1840-х гг. и было построено здание, сгоревшее в Февральскую революцию. Сенковский же арендовал сохранившийся до наших дней д. 21 (Шубин, Файбисович, С. 159).

371 * Значительная часть беллетристических произведений О. И. Сенковского, в основном не переиздававшаяся с середины XIX в., опубликована в изд.: Сенковский О. И. Соч. Барона Брамбеуса. М., 1989.

372 * Здание снесено в послевоенные годы.

373 * Юсуповский дворец был возведен в середине XVIII в. по проекту неустановленного архитектора (в старой литературе встречается указание на авторство Дж. Кваренги). В 1860-х гг. перестраивался по проекту Ж.-Б. Валлен-Деламота, в 1830—1838 гг. — по проекту А. А. Михайлова 2-го (Памятники, С. 120).

374 * Современный адрес последней квартиры Греча — ул. Дзержинского, 18 (Бурнашев В. П. Из воспоминаний петербургского старожила: Четверги у Греча // Заря. 1871. Апрель. С. 5; Всеобщая адресная книга Санкт-Петербурга. СПб., 1867—1868. С. 130).

375 Имеются сведения, что Монферран родился в Париже. См. Lance A. Dictionnaire des architectes francais. Paris, 1872. Vol. 2. P. 148.

376 Курбатов В. Петербург. СПб., 1913, С. 395.

377 Наблюдатель. 1855. № 10. С. 90—91. * Ср.: Ротач А. Л., Чеканова О. А. Монферран. Л., 1979. С. 5.

378 Щедрин С. Письма из Италии. М.; Л., 1932. С. 130.

379 Отчет Императорской Академии художеств за истекший 1846—1847 академический год. СПб., 1847. С. 32. О В. А. Шрейбере см.: Неделя строителя. 1900. № 7.

380 Kohne B. de. Musee de sculpture antique de M. de Montferrand // Memoires de la Societe d'archeologie. 1852. Vol. 2. P. 97. Ср.: A. M. Jules César statue antique en bronze faisant partie de la collection de M. de Montferrand. St-Petersbourg, 1849; Medée groupe moderne. Apollon Citharede, ouvrage grec. Ce groupe et cette statue font partie de la collection de M. de Montferrand. St-Pétersbourg, 1850; Apercu

sur l'art ceramique italien. Collection de majolica de M. A. de Montferrand. St-Petersbourg, 1854.

381 Memoires d'Auger. Paris, 1891. P. 512.

382 Considerant N. La Russie en 1856: Souvenirs de vojage. Bruxelles; Leipzig, 1857. Vol. 1. P. 68.

383 L'étoile polaire par le vicomte d'Arlincourt. Paris, 1843. Vol. 1. P. 123.

384 Новое время. 1833. № 2603. 29 мая.

385 Welp T. Petersburger Skizzen. Leipzig, 1842. Bd. 1. S. 56.

386 Старина и новизна. 1915. Кн. 19. С. 262.

387 Александр Андреевич Иванов: Его жизнь и переписка. 1806—1858 / Издал М. Боткин. СПб., 1880. С. 162.

388 Дом Монферрана принадлежал недолгое время А. В. Старчевскому. Издатель «Сына Отечества» скоро разорился, и его дом перешел в середине 60-х годов к Мятлевым, изменившим, по словам П. Усова, фасад и внутренний вид дома. В 1912—1913 гг. здание заново отделал, для Ратьковых-Рожновых, И. А. Фомин (Ежегодник Общества архитекторов-художников. СПб., 1913. Вып. 8. С. 191—195). В. Курбатов на стр. 395 своего художественно-исторического очерка «Петербург» (СПб., 1913) сообщает, что стоящий рядом с монферрановской постройкой дом на углу Мойки и Прачечного пер., № 88, также сооружен Монферраном. Однако мне не пришлось нигде найти документальных подтверждений этого сообщения.

389 * С 1952 г. пер. Пирогова.

390 Соколовская Т. Капитул Феникса: Высшее тайное масонское правление в России (1778—1882 гг.). Пг., 1916. С. 60; Музей Революции СССР. Второй сборник статей. М., 1929. С. 19.

391 * П. Н. Лаврентьева сообщила об этом со слов декабриста И. А. Анненкова (Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. С. 403—405). Однако это свидетельство не получило документального подтверждения (см., напр.: Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 413—415).

392 * Внимание властей в первую очередь было приковано к К. Воше, которого предполагалось задержать еще на пути из Сибири в Москву. Подробнее см.: Вайнштейн А. Л., Павлова В. П. Декабристы и салон Лаваль // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 177—179.

393 Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. С. 405.

394 Благой Д. Три века: Из истории русской поэзии XVIII, XIX и XX вв. М., 1933. С. 170.

395 С П б В, 1837 № 47. 26 февраля. Указание племянника Д. Веневитинова М. Пятковского (Русский архив. 1885. № 1. С. 126) о том, что дом Ланского стоял на набережной Мойки на нынешнем участке № 82, не точно.

396 Воспоминания Юрия Арнольда. М., 1892. Вып. 2. С. 136. * См. также: Глинка М. И. Записки. М.; Л., 1930. С. 185. В «Записках»

Глинки и др. источниках фигурирует фамилия следующего хозяина этого дома: Мерц.

397 * «Дневниковые» записи Кукольника в действительности имеют позднейшее происхождение. Составляя в старости «дневник», Кукольник стремился подчеркнуть свою близость к Глинке и свое влияние на него (Ш т е й н п р е с с Б. С. «Дневник» Кукольника как источник биографии Глинки // М. И. Глинка: Исследования и материалы, Л.; М., 1950. С. 88—119).

398 * Представляет интерес и соседний дом — 82, в котором в 1824—1826 гг. у А. А. Жандра бывал А. С. Грибоедов (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 151).

399 * Яцевич имеет в виду вышедшие в 1929 и 1931 гг. «Записки А. О. Смирновой» и ее «Автобиографию», в основе которых лежали подлинные тексты мемуаристки (до тех пор в печати был известен фальсифицированный вариант «Записок» Смирновой). Однако в изданиях 1929 и 1931 гг. не были в полной мере решены текстологические проблемы, что препятствовало формированию объективных оценок мировоззрения мемуаристки и значения самих мемуаров. Возможности для этого открывает изд.: С м и р н о в а - Р о с с е т А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. Другие адреса Смирновой-Россет см.: Ф о к и н 1 9 6 2. С. 545.

400 * В 1830 г. Пушкин не мог бывать у Н. И. Смирнова (тогда еще не женатого на А. О. Россет), т. к. тот находился за границей. Историю этого стихотворения связывают со старинной копией «Бриджуотерской мадонны» Рафаэля, выставленной в то время в лавке И. Сленина (Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л., 1967. С. 38—43).

401 Воспоминания Бестужевых. М., 1931. С. 67. * То же: П-Д В С, Т. 2. С. 65.

402 С П б В, 1826. № 77. 24 сентября.

403 С П б В, 1815. № 87. 29 октября.

404 Литературные листки. 1823. № 3. С. 38.

405 Древняя и новая Россия. 1880. Август. С. 608.

406 С П б В, 1832. № 78. 1 апреля.

407 Проект Росси (1838 г.) был отклонен (Старые годы. 1913. Июль-сентябрь. С. 181). Также не были осуществлены в свое время два других проекта Росси. Первый о постройке на этом месте здания Кабинета его величества (1817 г.) (Историческая выставка архитектуры. СПб., 1911. С. 64); второй — о сооружении здесь Михайловского дворца (1819 г.) (S u b o v V. Carlo di Giovanni Rossi. Ein Beitrag zur Geschichte der Auflosung des petersburger Empire. St. Petersburg, 1913. S. 32).

408 Недавно в архивах был обнаружен интересный проект дома Чернышева работы зодчего Ринальди (Архитектура. М., 1923. № 3—5. С. 22—27). В Путеводителе выставки Гос. Исторического музея в Москве значится «Проект разбивки сада при доме графа И. Чернышева в С.-Петербурге». Чертеж, исполненный пером с акварелью в Вене, в

1762 г. (Из эпохи крепостного хозяйства XVIII и XIX вв.: Статьи и путеводитель по выставке. М., 1926. С. 58) По сообщению П. Н. Столпянского, планы дома Чернышева и Мариинского дворца хранились в общем архиве министерства двора. Архитектор Монигетти, производивший в семидесятых годах ремонт дворца, затребовал эти планы из архива. Когда после смерти Монигетти от вдовы его потребовали возвращения планов, она сообщила, что муж ее в припадке умопомешательства сжег их.

409 Johann Bernoulli's... Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und Pohlen in den Jahren 1777 und 1778. Leipzig, 1780. Bd. 5 S. 165—169. Некоторые выдержки из описания Петербурга Бернулли помещены в «Русском Архиве» за 1902 г., кн. 1.

410 [F o r t i a d e P i l e s.] Voyage de deux Français en Allemagne, Danemark, Suede, Russie et Pologne, fait en 1790—1792. Paris, 1796. Vol. 3. P. 45.

411 C r é t i n e a u - J o l y J. Histoire des trois derniers princes de la maison de Conde. Paris, 1867. Vol. 1. P. 187; Сенатский архив. СПб., 1888. Т. 1. (Именные указы императора Павла I). С. 414; Записки графа Е. Ф. Комаровского. СПб., 1914. С. 76.

412 * См. прим. 88.

413 В и с к о в а т ы й (В и с к о в а т о в) П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество. М., 1891. С. 135. * То же: В и с к о в а т о в... М., 1987. С. 136.

414 Русское обозрение. 1890. Август. С. 733. * То же: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 40). С именем Лермонтова связаны еще два дома в Петербурге. Первый — это дом № 61 по улице 3-го Июля (против пожарной части; * ныне ул. Садовая), где Лермонтов жил в 1837 г. (Н и с т р е м 1 8 3 7, С. 859; В и с к о в а т ы й (В и с к о в а т о в) П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество. М., 1891. С. 247. * То же: В и с к о в а т о в... М., 1987. С. 227). Здесь в доме Шаховской поэтом были написаны его известные стихи на смерть Пушкина. Дом в те времена был трехэтажный с небольшим фронтоном. В 1875 г. тут надстроили четвертый этаж, в 1903 г. — пятый. Другой дом, в котором жил Лермонтов — это дом Венецкой «У Пантелеймоновского моста, на Фонтанке, против Летнего Сада», как сообщал поэт своей постоянной корреспондентке М. А. Лопухиной 15 февраля 1838 г. (Л е р м о н т о в М. Ю. Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1911. Т. 4. С. 331; см. также: Русский архив. 1863. № 5—6. С. 430). В настоящее время это второй участок по набережной Фонтанки за ул. Пестеля к Симеоновскому мосту. (* наб. Фонтанки, уч-к д. 14). Стоявшее тут здание совершенно перестроено в 1900-х годах. * О памятных местах Лермонтова в Ленинграде см.: М а н у й л о в В. А., К а з а р о в а Л. Н. Лермонтов в Петербурге. Л., 1984; Б р о й т м а н Л. И. Новые сведения о последнем приезде Лермонтова в Петербург в 1841 году // Русская литература. 1987. № 3. С. 140—145.

415 * Стихотворение относится не к 1834 г., а к 1832-му (Л е р м о н т о в М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. М. ; Л., 1962. Т. 4. С. 545—550).

416 Столетие С.-Петербургского Английского собрания. 1770—1870. СПб., 1870. С. 8,9.

417 Министерство внутренних дел. 1802—1902: Исторический очерк. СПб., 1902. Т. 1. С. 98—99.

418 Вестник Европы. 1872. Кн. 3. С. 246.

419 Т р о ц к и й И. М. Третье отделение при Николае I. М., 1930. С. 116.

420 * Автограф стихотворения не сохранился. Яцевичем приведен один из вариантов (Л е р м о н т о в М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1961. Т. 1. С. 524, 705).

421 * Вблизи дома Таля «у Красного моста, на Мойке», в 1825 г. жил А. Якубович (П-Д В С, Т. 1. С. 63, 225). В 1819—1827 гг. поблизости, в доме Северина (наб. Мойки, 67; здание перестроено в 1857 г.) жила семья Олениных (Ш у б и н, Ф а й б и с о в и ч, С. 157).

422 С П б В, 1770. № 1. 1 января **, 1771. № 92. 18 ноября.

423 * Теперь ул. Желябова.

424 Новое время. 1912. № 12889. 29 января.

425 [F o r t i a d e P i l e s.] Voyage de deux Francais en Allemagne, Danemark, Suède, Russie et Pologne, fait en 1790—1792. Paris, 1796. Vol. 3. P. 6; Mémoires de feu le prince Pierre Dolgoroukow. Bale et Geneve, 1871. Vol. 2. P. 87; Д о л г о р у к о в И. М. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни... Пг., 1916. С. 258.

426 Фамилия Демут упоминается в Петербурге впервые в 1760 г., когда купор Демут продавал на Морской ул. в погребе купца Нагеля различные вина, а также «аглинское пиво Эль называемое» (С П б В, 1760. № 22. 17 марта **, № 42. 26 мая **). Через десять лет, в 1771 г., этот Демут является уже владельцем погреба на Кадетской линии Васильевского острова, где он торговал «изрядным аглинским пивом» (С П б В, 1771. № 75. 20 сентября). Но это, очевидно, не упомянутый выше Филипп Яков Демут, так как, судя по его надгробию, он родился в Страсбурге в 1750 г. (Петербургский некрополь. СПб., 1912. Т. 2. С. 33034). Вероятно, это был его отец, так как в 1778 г. владельцем гостиницы указывается «вдова Демутова» (С П б В, 1778. № 85. 23 октября **).

427 При расчете с надворным советником Гейденрейхом за приобретенный у него участок на Невском проспекте у Демута возникли с ним крупные недоразумения, потребовавшие вмешательства самого Павла I (Сенатский Архив. СПб., 1888. Т. 1 (Именные указы императора Павла I). С. 399). Демуту вообще не везло при Павле — его жена была однажды посажена в общую тюрьму за то, что недостаточно быстро вышла из экипажа при встрече с Павлом (Memoires secrets sur la Russie... Paris, 1800. Vol. 2. P. 236; Une annee mémorable de la vie d'Auguste de Kotzebue. Berlin, 1802. Bd. 2. P. 136.)

428 С П б В, 1829. № 15. 18 января **. Souvenirs du baron de Barante. Paris, 1890. Vol. 1. P. 80; Г р е ч Н. И. Записки о моей жизни. М. ; Л., 1930. С. 196.

[429] Русская старина. 1909. Июль, С. 130. Его брат, А. Ф. Тиран, кончил с Лермонтовым школу гвардейских подпрапорщиков и служил вместе с ним в л.-гв. гусарском полку. Его перу, вероятно, принадлежат, по мнению В. А. Мануйлова, вновь найденные в одном из архивов мемуары о Лермонтове. * Воспоминания А. Ф. Тирана, впервые опубликованные в 1936 г., вошли в изд.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989.

[430] * Содержательницей «Демутова трактира» в 1820-х гг. была дочь купца 2-й гильдии Елена Бергистрем (А л л е р 1 8 2 2 , С. 621; А л л е р 1 8 2 4).

[431] R a i k e s T. A. Visit to St. Petersburg in the Winter of 1829—30. London, 1838. P. 34. Автор этих воспоминаний Томас Рэйкс увековечен Пушкиным в восьмой главе «Евгения Онегина»:

И путешественник залётный,
Перекрахмаленный нахал,
В гостях улыбку возбуждал
Своей осанкою заботной,
И молча обмененный взор
Ему был общий приговор.

В вып. XXXI—XXXII издания «Пушкин и его современники» (Л., 1927. С. 110) отмечено отсутствие в английских энциклопедиях сведений о Томасе Рэйксе, на что ссылается Н. Бродский в новейшем «Комментарии» к «Евгению Онегину» (Б р о д с к и й Н. Л. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». М., 1932. С. 169. * Комментарий Ю. М. Лотмана не упоминает Томаса Рэйкса — см.: Л о т м а н Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1983. С. 359). Ввиду этого считаю необходимым сообщить краткие сведения об авторе этих мемуаров. Томас Рэйкс был сыном крупного английского коммерсанта, управлявшего Английским банком, личного друга Вильяма Питта Младшего. По окончании аристократической итонской школы Рэйкс был послан отцом в 1796 г. в Берлин и Дрезден для изучения коммерческих дел и языка. Но он посещал там не торговую контору своего отца, а модные клубы. Впоследствии он много путешествовал, подолгу жил в Гааге и Париже и в 1829—30-х гг. был в России. В 1838 г. он совершил путешествие в Венецию и в следующем году в Неаполь и Рим. Однако все его попытки выступить при помощи влиятельных друзей, в особенности герц. Веллингтона, на политическом поприще не увенчались успехом и он умер в 1848 г. 71 года от роду, не оставив следов в политической истории Англии. По описанию современников, это был человек высокого роста, полный, с лицом необычайно изуродованным оспой. Это не мешало ему усиленно заниматься своей внешностью и считаться одним из первых «модников» своего времени. Его претенциозная наружность дала повод к насмешливой кличке «Аполлон». В своем неизменном наряде — «сюртуке, застегнутом на все три пуговицы, клетчатых брюках и черном галстухе» — он был зарисован Дайтоном в одной из его известных карикатур, как лондонский «Rakes» (По-английски Rakes означает «рас-

путник»). Помимо описания поездки в Россию Рэйкс издал в 1841 г. другую книгу «Франция в 1830 г.». Гораздо большее значение имеют изданные уже после его смерти «Дневник Томаса Рэйкса» и его переписка с рядом выдающихся современников — герц. Йоркским, Талейраном, Бруммелем и др., ярко характеризующие общественные настроения английских правящих кругов первой половины XIX века.

432 Carr J. A Northern Summer or Travels Round the Baltik... Philadelphia, 1805. P. 134; Green G. An Original Journal from London to St. Petersburgh... London, 1831. P. 3; Holman J. Travels through Russia, Siberia... Undertaken During the Years 1822, 1823 and 1824... London, 1825. Vol. 1. P. 106; Granville A. B. Guide to St. Petersburgh. London, 1835. Vol. 1. P. 448; Bremner R. Excursions in the Interior of Russia. London, 1839. Vol. 1. P. 267; Дневник Варвары Петровны Шереметевой, урожденной Алмазовой: 1825—1826 гг. М., 1916. С. 18.

433 Diary of a Tour in Sweden, Norway and Russia in 1827... By the marchioness of Westminster. London, 1879. P. 138.

434 Литературная газета. 1840. № 34. 27 апреля.

435 Pertz G. Das Leben des Ministers Freiberrn von Stein. Berlin, 1851. Bd. 3. S. 171.

436 Декабристы и их время. М., [1928]. Т. 1. С. 210.

437 Записки Дмитрия Николаевича Свербеева. 1799—1826. М., 1899. Т. 2. С. 237.

438 Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. Киев. 1906. Вып. 1. С. 153; Былое. 1906. № 4. С. 268. О московских домах, связанных с именем Пестеля, см. статьи Н. Чулкова в «Московском краеведе» (1928. Вып. 6) и сборнике «Декабристы и их время» (М., 1932. Т. 2).

439 Сын отечества. 1830. № 1. С. 26. * То же: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1929. С. 33.

440 Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения. Сочинение Александрова [Н. Дуровой]. СПб., 1838. С. 27.

441 Русская старина. 1873. № 1. С. 396 **; Сын отечества. 1847. № 6. Отд. «Русская словесность» С. 12. (* То же: П В С, Т. 2. С. 312). Пушкин не всегда занимал, однако, в гостинице этот номер. Он так отметил однажды свой адрес в письме к А. П. Керн: «Ее превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут, № 10» (Майков Л. Пушкин. СПб., 1899. С. 251. * То же: Керн (Маркова-Виноградская) А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989. С. 42).

442 С П б В, 1832. № 102. 3 мая **; Модзалевский Б. Л. Поездка в село Тригорское в 1902 году. СПб., 1903. С. 57; Московский пушкинист. М., 1927. Вып. 1. С. 26.

443 В 1876 г. в гостинице «Демут» И. С. Тургенев написал в мучительную бессонную летнюю ночь свое известное стихотворение «Крокет». В имеющем столь большое биографическое значение рассказе

Тургенева «Первая любовь» в «трактире Демута» умирает Зинаида Дольская, урожденная княжна Засекина.

444 Новое время. 1912. № 12889. 29 января.

445 Неточные сведения о местонахождении гостиницы «Демут» содержатся также в известной работе П. Петрова «История С.-Петербурга...» (СПб., 1885. С. 186). Неверный адрес Демута (дом № 24 по Мойке, бывший «Донон») указан в «Путеводителе по Пушкину», приложенном к полному собранию сочинений А. С. Пушкина (1931. Т. 6. С. 121—122).

446 Согласно указу Петра I от 24 апреля 1723 г. на этом месте было приказано «зделать деревянный камедианской дом» трудами «катаржных невольников». Театр открылся в этом же году и просуществовал до 1773 г., когда Анна Иоанновна «указала имеющийся камедианский двор с Мьею речкою по берегу той речки за ветхостью сломать...» (Старые годы. 1910. № 2. С. 5). См. также: Сборник русского исторического общества. СПб., 1873. Т. 11. С. 516. «Петрбургский старожил» (Бурнашев), сохранивший в своих рассказах ряд любопытных черт старого города, также сообщал в свое время о стоявшем ранее на этом месте театре (Северная пчела. 1858. № 21. 27 января).

447 Павел I подарил адмиралу Пущину казенный каменный дом на Новоисаакиевской ул. «со всеми к оному принадлежностями» (Кронштадтский вестник. 1867. № 110. 22 сентября). Где стоял этот дом? По планам и табелям 1798 и 1804 гг. на Новоисаакиевской ул. не значится дома Пущина.

448 Восстание декабристов: Материалы. М. ; Л., 1927. Т. 3. С. 196, 197.

449 * В действительности П. А. Вяземского не было в Петербурге в декабре 1825 г. Портфель был оставлен другому лицу (возможно, Е. А. Энгельгардту), у которого в 1841 г. был получен братом Пущина Михаилом и передан на хранение Вяземскому (Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы: Из истории взимоотношений. М., 1979. С. 172—175).

450 Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. С. 402.

451 Кто был проживавший на Большой Конюшенной в доме Пущиных «Луиджи Русска архитектор, из Швейцарии», отъезжавший в 1831 г. заграницу (С П б В, 1831. № 195. 21 августа)? Принято считать, что известный архитектор Луиджи Руска скончался в 1822 г. * В 1820-х гг. в доме Пущиных снимал квартиру управляющий азиатским департаментом Министерства иностранных дел К. К. Родофиникин (Аллер 1822, С. 401; Аллер 1824).

452 План перестройки, как пишет в своих воспоминаниях М. Пущин, был составлен архитектором Гейденрейхом; для наблюдения за этим искусным, но малоопытным мастером приглашен был архитектор Рунко (Русский архив. 1908. № 12. С. 571). Очевидно, это вкравшийся корректурный недосмотр. В городском архиве в деле дома № 14 по Мойке сохранилось указание, что перестройка происходит «под нодзором архитектора Русско» (Франц Руска).

453 * Строительство дома относится к 1740-м гг., когда его владельцем был кабинет-секретарь Елизаветы Петровны барон И. А. Черкасов (1692—1759). Здание в виде замкнутого четырехугольника с центральным флигелем в три этажа, двумя боковыми двухэтажными флигелями, соединенными конюшнями, было возведено «из чистого голландского кирпича». Чертеж фасада см.: Абрамович С. Л., Голлер Н. И. 250 лет жизни дома на Мойке // Памятники культуры. Новые открытия. 1977. М., 1977. С. 349.

454 Курбатов В. Я. Петербург. СПб., 1913. С. 54. * Герцог Курляндский Бирон жил в доме на Мойке у своего зятя барона А. И. Черкасова по возвращении из своей двадцатилетней ссылки в 1762 г. (Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1876. Т. 18. С. 266). Это недолгое пребывание Бирона неправомерно прикрепило его имя к дому на Мойке как к месту его постоянного жительства в Петербурге.

455 Старые годы. 1908. Апрель. С. 210.

456 Peter von Havens. Reise in Russland. Cop., 1744. S. 127; La revue hebdomadaire. Paris, 1899. № 21. P. 483 **; Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1893. Т. 85. С. 369 **, 385.

457 А. П. Жадимировским был приобретен дом на этом участке в августе 1802 г. и через четыре года продан княгине А. Н. Волконской. При Жадимировском здание перестраивалось: центральная часть была объединена с боковыми флигелями в целостный объем (Абрамович С. Л., Голлер Н. И. 250 лет жизни дома на Мойке // Памятники культуры. Новые открытия. 1977. М., 1977. С. 348).

458 Платонов А. Последняя квартира Пушкина. Л., 1927. С. 3.

459 Memoires de duc la Rovigo. Paris, 1829. Vol. 3. P. 201; Mémoires posthumes du comte de Stedingk. Paris, 1845. Vol. 2. P. 409. Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1892. Т. 83. С. 88, 254, 348 **; Дипломатические сношения России и Франции. СПб., 1905. С. 1, 124. Сохранилась акварель Патерсона «Дом французского посольства в начале XIX века», воспроизведенная в жизнеописании Александра I (* Шильдер Н. Император Александр I: Его жизнь и царствование. СПб., 1898. Т. 3. С. 197). Изображение фасадов здания помещено также в «Собрании планов, фасадов и разрезов примечательных зданий СПб» (СПб., 1826. Л. 79). Не этот ли дом Волконской отделывал Луиджи Руска? — См.: Recueil des dessins de différen<t>s bâtimen<t>s construits à Saint-Petersbourg... par Louis Rusca... St-Pétersbourg, 1810.

460 Волконский С. О декабристах: По семейным преданиям. Пг., 1922. С. 20.

461 Записки С. Г. Волконского. СПб., 1902. С. 134.

462 Архив декабриста С. Г. Волконского. Пг., 1918. Т. 1. (До Сибири). С. XXIII.

463 Памяти декабристов: Сборник материалов. Л., 1926. Т. 2. С. 230.

464 В доме Волконской в 1824 г. жил декабрист Д. И. Завалишин (З а в а л и ш и н Д. Записки декабриста. СПб., 1906. С. 93). В 1820 г. тут же жили члены Союза благоденствия Колошин и Тучков (Русский архив. 1888. Кн. 1. № 4. С. 642 **).

465 * В 1890-х гг., после отъезда кн. Е. П. Кочубей, в квартире нижнего этажа размещались Дворянский земельный банк, затем Канцелярия контроля Николаевской железной дороги. Охранное отделение занимало дом с 1901 по 1907 г.

466 С в е р ч к о в Д. На заре революции. Л., 1926. С. 50, 51.

467 * После отъезда Охранного отделения художники круга «Мир искусств» в 1908 г. провели в доме выставку своих работ с попыткой музейного обозначения «смертной комнаты» Пушкина (П о п о в а Н. И. Последняя квартира Пушкина // Панорама искусств. М., 1988. Вып. 11). Приводимое в книге П. Е. Щеголева «Охранники и авантюристы» (см. прим. 468) упоминание о расположении в 1911 году на Мойке, 12, «Музея изобретений и усовершенствований» не нашло пока документального подтверждения.

468 Щ е г о л е в П. Охранники и авантюристы. М., 1930. С. 72.

469 Северная пчела. 1864. № 49. 19 февраля.

470 Впоследствии квартира Пушкина была значительно переделана. Особенно пострадала она в 1910 г., когда ее совершенно перепланировали. Тогда же уничтожили парадную лестницу, прекрасный образец отделки екатерининской эпохи. Под новую парадную лестницу были отведены бывшие службы и комнаты своячениц Пушкина. * Квартира Пушкина была восстановлена в ее историческом объеме в 1987 г.

471 Искусство. 1929. № 3-4. С. 41, 42.

472 Памяти П. Н. Сакулина: Сборник статей. М., 1931. С. 312.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава третья

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Яцевич А. Г.
Я74 Пушкинский Петербург Послесловие, прим. Н. Поповой, В. Шубина. — СПб.: Петрополь, 1993. — 431 с., ил.

ISBN 5-88569-066-X

Книга А. Г. Яцевича, вышедшая дважды в 1930-х годах, несмотря на ограниченный тираж, получила широкую известность среди тех, кто интересуется пушкинской порой и историей Петербурга.

В настоящем издании учтены авторские поправки, сделанные при подготовке 3-го издания (1936 г., не вышло), а также пересмотрен и значительно дополнен современными сведениями раздел примечаний.

я $\frac{4603020101}{N—15(03)—92}$ X—93

ISBN 5-88569-066-X

А. ЯЦЕВИЧ

ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Художник *Л. А. Яценко*
Редактор *А. А. Белякова*
Технический редактор *И. В. Буздалева*
Корректор *А. А. Тимофеев*

Подписано в печать 07.12.92. Печать офсетная. Заказ № 125
Формат 70×100 1/32. Тираж 15 000. Отпечатано с готовых диапозитивов на фабрике «Детская книга» № 2 Министерства печати и массовой информации России.
193036, Санкт-Петербург, 2-я Советская, 7

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ



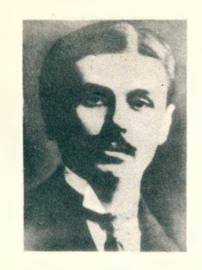
А. Яцевич
ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ



А. Яцевич

ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ





ЯЦЕВИЧ А.Г. (1887-1942)

Он умер в блокаду. В городе, который бесконечно любил и знал. Андрей Яцевич рассказывал о Петербурге увлекательно и живо, будто сам жил во времена Петра, или в блестящую пушкинскую эпоху.

«Пушкинский Петербург», лучшая из его книг, не переиздавалась с 1935 года. Она – подарок читателям к предстоящим большим юбилеям 200-летию поэта и 300-летию города.